

Александр
Покровский

рассказы



проза
ИНАПРЕСС

Александр Покровский

**«... РАССТРЕЛЯТЬ!»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
И ПРОЧИЕ ЧАСТИ**

**Рассказы
и
повести**



**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИЗДА ПРЕСС
2000**

ББК 84.Р7

П 48

Редактор Н. Кононов
Художник М. Покшишевская

**О СЛУЖБЕ
В ДВУХ СЛОВАХ**

О СЛУЖБЕ В ДВУХ СЛОВАХ

Даже не знаю, что из всего этого получится, ведь о службе в двух словах сказать трудно. Служба — это нескончаемая поэма. Каждый день можно писать по толстешному тому, причем ни разу не повториться. Вот, например, вахта.

Что такое вахта?

Вахта — это игра такая военная. Если вы посмотрите в устав, то увидите там, что вахту нужно нести непрерывно. Ну, раз непрерывно, то лучше всего при этом лежать. Вахту я лично нес все время лежа: ложился — и ноги в зенит. Давно установлено, что если ты на вахте бегаешь, как в «живете» ужаленный, суестьешься, служишь, как пудель, все подмечаешь, то в конце службы тебя же и снимут, причем за всякую ерунду. Так что я, заступив на вахту, с вечера еще кротко вздыхал, расстегивал крючки на кителе, чтоб они в яблочко не вгрызались, потом медленно, чтоб не потревожить себе ничего внутри, ложился, закрывал глаза, говорил себе: «Спи, Саня, и ни о чем не думай, Господь с тобой» — и отлично высыпался, а служба шла своим чередом. Зато уж если сняли тебя в конце вахты, то хоть есть за что.

А иногда словно полоса какая-то:

— Тарантасов, я вас снимаю! Тарантасов, я вас снимаю!

Только и слышишь. Правда, я Телегин, а не Тарантасов, но начальству не объяснишь. Да и какая разница?

Некоторые интересуются: а что будет, если снимут с вахты? Да ничего не будет, просто в тот же день снова заступишь.

Следующий вопрос

Каким на службе нужно быть?

Следующий ответ: на службе нужно быть исполнительным.

— Брось все, иди сюда!

Бросил.

— Встань здесь и следи, чтоб никто не входил!

Встал, смотришь.

— Чего уставился, тебе что, заняться нечем?

— Есть!

— Что у вас здесь творится?

Приблизился, посмотрел, что творится.

— Немедленно убрать!

Взял и убрал.

— А это что?

Смотришь, что «это».

— Что за гадюшник вы здесь развели?

Подошел, заглянул в гадюшник.

А каким не надо быть?

Не надо быть идиотом! Это вам любой старпом скажет. И главное, ничему не удивляться и всегда угол падения поддерживать равным углу отражения. Отскакивать должно, как от бронированного.

«Виноват!»

Есть еще такое хорошее слово: «Виноват!» Произносить его надо быстро, лихо, браво, с блеском, со звоном шпор. Все это врожденное, конечно, и прочим нелегко дается, и с годами оно только оттачивается, но главное — без передышки:

— Что это?

— Виноват!

— А это?!

— Виноват!

— А спички?

— Устраним!

— А окурки?

— Подберем!

— А мусор?

— Виноват!

Одного моего кореша в институт перевели. А там капразы ручные как голуби, с руки едят. Вызывает его начальник и говорит:

— Почему вы до сих пор не в отпуске?

А тот с порога:

— Виноват!!!

И у начальника сразу разрывается причинно-следственная связь, и он замирает.

И еще о вахте и о воспитании чувств

Чувство вахты в себе нужно воспитывать.

Воспитание чувства вахты на конкретных примерах.

Вахта — это особый вид дежурства, доведенный до искусства быть незамеченным. В идеале ты должен уметь таять в воздухе.

Вот стоял я, будучи уже каптри, дежурным по камбузу. (Там, правда, максимум капля нужно было поставить, но никого не нашли и поставили меня. Мы тогда на ПКЗ питались.) Уж смена близится, а сменищика все нет. И стою я на верхней палубе и жду, и тут начпо наш появляется. Пришел камбуз проверять. А я уже без белого халата, все с себя снял и к смене приготовился. Начпо меня спрашивает:

— Дежурного не видели?

— Нет, — говорю я ему, — не видел, но он где-то здесь шляется.

— Черт знает что, — говорит начпо, — где же он?

— Да здесь где-нибудь ходит, наверное, — говорю я, — хотите вместе поищем?

Прошлись мы с ним вместе, поискали по всем помещениям, он впереди, я сзади, — ни одной живой заразы. Я старую вахту отпустил, а новая еще не подошла.

— Черт знает что, — сказал начпо.

И я с ним согласился. Действительно, черт знает что.

— Ну ладно, — сказал пачпо и ушел, и тут я смотрю: смена моя не спеша колдубасит.

— Эй, многопожжа, — говорю я ей, — семени присосками, а то меня сейчас спимут, и смеяться не успею.

Что в службе главное?

Главное — доложить вовремя. Думать при этом совершенно не обязательно. Слова должны сами выстраиваться в одну шеренгу и косить налево, а ты следишь только, чтоб без запишки и чтоб равнение было в затылочек и по диагонали. Причем мозг от этого дела нужно отключить. Мозг на службе должен отдыхать.

А есть и интимные случаи.

Каким правилом в этом случае пользуются? Правилom правой руки: ладонь ко лбу — увидел, торцом к уху — услышал, ко рту приложил — доложил.

Чего на службе не надо считать?

Не надо считать, что от твоего появления на этом свете что-то изменится, пагубное влияние какое-нибудь рассеется, разрушится что-нибудь или что-нибудь образуется, повернется вспять. На первых порах точно, какая-то возня наблюдается, а потом все затянется, разгладится, как круги по воде.

И потом я заметил, если ты ничего не делаешь или, наоборот, пыхтишь изо всех сил, то временная разница — пять минут.

Мысль насчет дела

Если дело — дело, оно и само сделается, а если не дело, то его и делать нечего.

Что приходится время от времени совершать?

Время от времени приходится что-нибудь доставать. При этом ваше начальство всегда должно быть в курсе возникших сложностей. Помочь оно, естественно, не может, но оно может отследить ваши героические усилия.

Начальство развращается, если вы все делаете молча, стиснув зубы, оно начинает считать, что все в этом мире легко и просто. Это вредные мысли, и от них начальство лучше беречь.

И даже если у вас все получилось с ходу, все равно дистанционно доложите, что этого — нет, того — нет, а это вот — на подходе, и обязательно бодро спросите разрешения ждать до упора, умереть, но достать, лечь у двери и не встать, подохнуть, но сделать.

Начальство вам это разрешит. Отдавать за что-нибудь концы у нас принято. И потом, сколько радости на лице у начальника, если под вечер вы все-таки что-то привезли.

В чем состоит флотское счастье?

Оно в совпадении: склад открыт, складчик на месте, накладные есть, люди есть, машина есть. От такого счастья можно рехнуться.

Но что главное в этом счастье? Главное — машина. И не надо считать, что если в тылу вам выписали машину, то она у вас уже есть. Ее еще получить надо. Это сначала, по молодости, я бегал, искал диспетчера, потом водителя, потом колеса, аккумулятор, потом опять водителя, бензин и пропуск, а потом, ближе к старости, я приходил, хлопался в гараже на табурет и говорил:

— Вот я, старый большой майор, ну и что? Аккумуляторы-то у вас есть? Машина-то хоть на ходу или как? И шофер имеется? Ты смотри. И бензин залит? Ну, вы, ребята, даете. Да вам ордена надо раздавать: нигде ничего нет, а у вас — есть!

— Ну да, ордена, — говорят они, — как же, держи в обе руки, — и дают тебе машину.

Вот такие у нас бывают неприятности. И все-таки, несмотря ни на что,

о чем нужно помнить всегда?

Нужно помнить о том, что большое событие поглощает небольшое. Допустим, у вас на санпропускнике два врожденных клинических идиота (вахтенные) вскрыли банку химической регенерации и — любопытности для — туда плюнули, а она не загорелась, ну тогда они натолкали туда промасленной ветоши и склонились над ней — и опять ничего; ну раз так, тогда они залили в нее турбинное масло, специально припасенное и припесенное, — никакого впечатления; ну тогда они стукнули по ней ногой. Происходит взрыв. Идиоты, как это ни странно, живы, не размазало их по всей Вселенной, а в санпропускнике вышибло все стекла и двери и произошел грандиозный пожар.

И вот вас вызывают к командующему, как старшего в экипаже, и вы бредете туда, слабая умом и в коленях.

И вдруг по дороге вы видите, как падает с тележки проезжающая мимо торпеда с ядерной боеголовкой; падает и не спеша, медленно катится под уклон в залив. В два прыжка вы должны броситься к ближайшему телефону и аварийным до колена голосом сообщить об этом командующему.

Можете не сомневаться: никто никогда больше не вспомнит, что там за возня произошла на этом несчастном санпропускнике, и командующий, которому вы только что подарили самое яркое впечатление от всей его жизни, сразу же забудет вашу фамилию.

И тут хочется сказать о лице.

Что делать на службе с лицом?

Лицом на службе нужно пользоваться. Изображение на нем легкого слабоумия считается хорошим

тоном. Не возбраняется при этом покачивание головой в такт словам начальника. В конце хорошо бы сказать: «Есть».

Если начальство пошутило, то приличным будет рассмеяться. Начальники порой такие забавники.

Ну а при разговоре с начальником, о тягостный мой, где же должны быть твои глаза?

Они должны быть на лице у начальника. Они должны искать там правильное решение.

Но на службе иногда теряют свое лицо

Что нужно делать на службе с лицом, чтоб его не потерять?

Нужно за ним следить!

И что при этом лучше всего держать в руках?

Лучше всего в руках держать папку

Пузатый портфель — показатель низшей ступени служебной лестницы. На этой ступени возят, посят, грузят.

Дипломат — показатель разгильдяйства, а папка всегда к лицу. Вот я всегда хожу с папкой. Пусть даже в ней ничего нет, но она нужна. Один мой знакомый, когда потерял пустую папку, одиноко плакал, до того он в нее врос, до того вжился в образ.

Папка может даже лицо заменить.

А вообще, если лица нет, то и потерять его невозможно. Ну а если его нет, то что на нем вместо него лучше всего сохранять?

Лучше всего сохранять следы сопричастности.

С папкой мне всегда честь отдают. Без папки не всегда, а с папкой — всегда. Я даже иногда ладонь не к голове прикладываю, а к папке.

О чести и бесчестии

Честь у нас на службе принято отдавать. Причем молодежато. Отдавший честь должен тут же ее назад

получить. Если вы ее отдали, а вам не отдали — значит, вы обесцещены.

О вреде задумываний

Думать на службе вредно. Лучше сначала сделать чего-нибудь. Например, атакой взять с минимальной кровью какую-нибудь высоту. Взял — теперь осмотрись: может, теперь ее лучше оставить.

Теперь о выборе

Вот что лучше, как вы думаете: занятие проводить или мусор убирать? Лучше мусор. И начальство так считает. Лучше что-нибудь протирать.

При этом рассмотрим лирическое отступление о венике. Возьмем веник. Вот смотришь порой на веник — и сразу мысли, чувства, поведенье захлестывает и воспоминания одолевают. А веник как веник, но перевернешь — и уже чувствуешь, что раньше это, может быть, был даже и не веник, а какой-нибудь прекрасный прибор. Скажете, так не бывает? На флоте, друзья, все бывает. Веник — штука универсальная. В него что хочешь может превратиться. Даже офицер может превратиться в веник. Издали — офицер, а чуть ближе — веник. Но что интересно: обратного превращения еще никто не наблюдал.

Теперь о гармонии. О гармонии с природой

Офицер, он когда находится в гармонии с природой? Когда цветет. А когда он цветет? Когда одет в парадную форму и выстрижен, как парковая культура.

Вот если б он еще поменьше жрал, то был бы еще гармоничней.

И еще хочется сказать о форме одежды

Однажды одному нашему разрешили говорить все, что он хочет сказать о нашей форме одежды. Так у него столько слюны при этом выделилось, что он захлебнулся. Насилу откачали и уволили в запас по здоровью на шестьдесят процентов пенсии.

Во всяком случае, шинель бы я оставил. Через пятьдесят лет ей цены не будет.

Что делать на службе, если тебя послали?

Идти.

И при этом что нужно просто знать?

Нужно просто знать, что все, что ни делает офицер, он делает для блага Отечества.

О братстве

Все пополам, как в песне. Вошел в кают-компанию и видишь: один ты за столиком, а сгущенка, на шестерых рассчитанная (по ложке на пасть), на блюдечке мерзко блестит. Делишь ее пополам и съедаешь.

Входит следующий.

— О-о, — говорит он, — сгущенка, — делит ее пополам и съедает.

Входит еще один и говорит:

— Ты смотри: сгущенка, надо же! — после чего садится — и опять пополам.

Четвертый входит и спрашивает:

— Вестовой, еще сгущенка есть?.. А почему?..

О биографии

Офицер свою биографию не помнит. Так что лучше ее написать и держать при себе. Особенно раздражают родственники жены в пяти экземплярах в алфавитном порядке.

О фамилиях

На флоте можно годами с человеком встречаться, здороваться и разговаривать, но не знать ни имени его, ни фамилии.

О пользе комиссий

Если б не было комиссий по проверке на флоте существующих положений, то не было бы ясности в том, чем же мы все-таки занимаемся.

О встрече комиссий

Начало работы комиссии сопровождается судорожной сменой кремовых рубашек на белые. С вечера объявляют: «Завтра — тужурка, белая рубашка!» До обеда по территории ловят тех, кто пришел в кремовых. Во время обеда объявляют: «Прекратить перевозность! Всем быть в кремовых!» После обеда ловят тех, кто в белых. К концу дня все всё перепутали и пребывают кто в чем.

Так и встречаем комиссию: кто в чем.

Об организации

Лежал у нас перед КПП огромный валун. Тонн на пятьдесят. И решили его перед комиссией убрать. Выделили пятьдесят моряков. Почему пятьдесят? А прикинули: по тонне на человека — и нормально будет. При соответствующей организации.

Облепили они валун, потужились, попку от земли поотрывали — ну никак, нет организации! Вот при хорошей организации, не устаю повторять, на нашего морячка нагрузи хоть тонну — и он свезет, а здесь, в этом конкретном случае, не было организации. Потому и не убрали.

Ну, если нельзя убрать, то нужно покрасить. Затащили на валун сверху бидон с зеленой краской, опрокинули и размазали. И стал валун зеленый. Приехал командующий и спрашивает у старшего над валуном:

— Почему зеленый?

— А-а... другой краски не было, товарищ командующий.

— Немедленно устранить!

Немедленно? Пожалуйста! С трудом отыскали-достали белой польской эмали целый бидон, затащили туда наверх, опрокинули — и стал валун белым.

— Вы что? — сказал командующий. — Издеваетесь надо мной?!

— Никак нет, товарищ командующий! — сказал тот, что над валуном старшим назначен, и замотал головой. — Никак нет!

— Немедленно устранить!

— Есть!!!

Где-то достали кузбасс-лака — и в ночь перед комиссией, буквально за два часа до рассвета, стал валун черный, как антрацит. Стоит и блестит. Красиво.

И вот едет командующий с комиссией, и останавливается он перед КПП и видит чудо. И комиссия тоже его видит.

— А чего это он черный? — любопытствует комиссия.

Тут командующий, отвернувшись, может, целую минуту что-то бормочет, потом поворачивается всем телом к комиссии и говорит громко, пугая ее:

— Жизнь! Потому что! У нас! Такая! Жизнь!!!

И весь следующий день стая матросов вручную скалывала с валуна краску, возвращая ему его природный цвет.

О терзаниях

На службе всегда испытываешь терзания перед тем, как украсть.

Терзаться не надо.

Надо красть.

О чувстве нового

Бывают такие минуты, когда чувствуешь внутри себя тяжесть какую-то. Нехорошо как-то. От предчув-

ствия. Одолевает что-то. Иногда гложет одиозность. Вы не знаете, что такое одиозность? И я не знаю, но гложет.

О сне

Сон на флоте — это преступление. На флоте не спят, а отдыхают. Личному составу, работающему ночью, разрешается отдыхать днем до обеда. Ой, личный состав, лежит в кубрике в койке, накрытый с головой одеялом, а все ходят вокруг, и это их раздражает. Начиная со старшины команды всех интересует, чего это он спит. Старшина будит его и говорит:

— Ты что это спишь?

Тот объясняет, что ночью работал и теперь спит до обеда с разрешения дежурного.

— А-а... — говорит старшина и отходит.

Через полчаса подходит командир группы и встряхивает койку:

— Ты что, спишь что ли?

Тот, что спит с разрешения, просыпается и объясняет.

— А-а, — говорит командир группы и отходит.

Тот, кому разрешили, снова — нырь в койку.

Еще через полчаса в кубрик влетает командир боевой части. Пролетая мимо, орлиным взором окидывает койки любимого личного состава. Кто это там? Что такое? Круто меняется направление, и за одеяло — хватать!

— Ты чего? Спишь что ли, а?!

Личный состав сидит на койке, насупясь.

— Почему молчите?

Личный состав не молчит, он объясняет.

— Ясно! — говорит командир боевой части. — Смотри, только чтоб вовремя встал. И коечку обтянешь. Видишь, как у тебя подматрасник висит? Встань, встань, посмотри, как висит. И ножное полотенце на место. Вот посмотри, в каком положении у тебя ножное полотенце!

Личный состав посмотрел на положение ножного полотенца и опять — хрясь в койку.

Через полчаса в кубрике появляется старпом. На носу сдача задачи, и вид у старпома саблезубый. Тут он видит спящего и орет:

— Что?! Кто?! А?! Почему?! Кто разрешил, я спрашиваю?! Дежурный?! Какой дежурный?! Рабочий день!..

В общем, спать на флоте невозможно. Можно только отдыхать.

А спать хочется до одури. Я постоянно не высыпаюсь. Вот только мой нос минует срез верхнего рубочного люка — и все: глаза сами закрываются. А в автономке снятся только цветные кошмары. И действуешь во сне, как наяву. Просыпаешься и не знаешь, где спал, а где служил. Просыпаюсь однажды в ужасе: приснилось, что все волосы на груди побрили визжащей машинкой. Когда снятся кошмары, нужно менять сторону лежания. Повернулся я и не успел глаза закрыть, как побрили со спины.

О поддержании боеготовности

Для поддержания боеготовности надо... Боеготовность, чтоб вам всем было понятно, она как штаны, а их нужно постоянно поддерживать. Они норовят упасть, а ты их поддерживаешь. Для поддержания уровня боевой готовности лучше всего стоять в строю. Так его легче поддерживать. Этот уровень. Удобнее просто. Все хором взяли и подтянули.

И если уж мы заговорили о строе, то не вредно будет узнать,

чего же в строю нельзя

Чего только в строю нельзя! Все нельзя. Например, нельзя в строю гавкать. Слышно потому что. Я когда впервые встал в строй, а со строем, в котором я стоял, впервые поздоровался командир, — тогда я почему-то решил, что если я в то время, пока все остальные говорят отрывисто: «Здравия! Желаем! Товарищ! Капитан! Лейтенант!», погавкаю в такт: «Гав-гав-

гав», то это на общем фоне не будет заметно и будет оригинально.

Оказалось, все слышно. Я по глазам командира понял. Удивился он.

Строй

Друзья мои, строй — это собрание вдохновленных.

Если личный состав занять нечем, то лучше всего его строить и проверять наличие. Или маршировать. Маршировать лучше, чем разлагаться.

О строевой песне

Идет строй курсантов на вечерней прогулке и поет:

В-с-е м-ы л-ю-б-и-м п-а-с-т-у «П-о-м-о-р-и-н»,
п-а-с-т-у «П-о-м-о-р-и-н»,
п-а-с-т-у «П-о-м-о-р-и-н».

Т-ы п-р-и-ш-л-а и с-ъ-е-л-а «П-о-м-о-р-и-н»,
с-ъ-е-л-а «П-о-м-о-р-и-н»,
с-ъ-е-л-а «П-о-м-о-р-и-н».

В-с-е м-ы л-ю-б-и-м п-а-с-т-у «П-о-м-о-р-и-н»...

Я все думал, вставлять этот эпизод в эссе или не вставлять. Потом вставил. Пусть будет на всякий случай.

О чем же еще вам рассказать?

Может быть, о зеркале?

Один мой приятель утром перед зеркалом, собираясь на службу, орал сам себе:

— Мал-чать! Право на борт! Мал-чать! Право на борт!..

Вот так сто раз проорет и целый день служит спокойно.

О строевом смотре

Строевой смотр, по-моему, это венец, можно сказать, всему. Так мне, по крайней мере, кажется. Стоял я как-то на строевом смотре дивизии атомных подводных лодок. (Только прибыл служить на атомоходы с бербазы и сразу же — на смотр.) Подходит ко мне

начальник штаба, и я как положено представляюсь, а он мне:

— Почему шинель белая?

А я в этой шинели цемент полгода на машине возил. Она у меня цементного цвета.

— Потому что цемент возил, — говорю я.

— А где ваша другая, парадная шинель? — спрашивает он.

— В посылке идет, — говорю я.

— А жена у вас тоже в посылке идет?

— Не женат, товарищ капитан первого ранга!

— А почему вы небриты?

— Раздражение, товарищ капитан первого ранга!

И тут он берет меня за верхнюю пуговицу на шинели и, к удивлению моему, ее оттягивает, и пуговица моя отделяется, а вслед за ней из меня появляется белый шнур. Оказывается, пуговицы у нас на шинели на шнур насажены. Шнур оборвался где-то там внутри, вот он его и вытянул. Оттянул он мне шнур и отпустил, и повис у меня шнур очень низко и болтается.

— А это что? — спрашивает он.

— А это шнур, — говорю я.

— Накажите его, — поворачивается он к моему командиру, — у него на все есть ответ.

И наконец, о начальнике

Чем выше звание начальника, тем больше мусора в помещении и больше запятых, пропущенных в документе.

Как себя вести с начальником?

Как со зверем в зоопарке: не прикасаться к клетке.

Что делать, если начальника с утра злая муха укусила безжалостно?

Нужно сохранять спокойствие. Потому что начальник не вечен. «И этот пройдет!» — как сказал Соломон.

Вызывает меня старпом, и только я появляюсь в дверях, он орет:

— Вы-ы! Значит, так! Сход запрещаю! Да-а! И находиться со мной постоянно на связи! Каждые пят-

надцать минут мне доклад по телефону, что вы работаете! Вот так вот! Каждые пятнадцать минут! Я вам покажу! Вы у меня запомните! Всё! Молчите! Через пятнадцать минут жду доклада! Марш! Отсюда!

Делаю «марш отсюда» — и на боевой пост. Устраиваюсь в кресле поудобней, на видное место — циферблат и чай завариваю. Пью чай и жду, пока пятнадцать минут пройдет, чтоб доложить. Подползает стрелка, и я, точный, как граф Монте-Кристо, снимаю трубку и докладываю своему драгоценному старпому, что нахожусь на боевом посту и работаю.

А старпом за эти пятнадцать минут уже успел забыть напрочь, что он мне говорил.

— Что?! — орет он. — Что вам еще не ясно?! Что вы там талдычите? Прибыть ко мне, я вам еще раз все объясню!!!

При встрече с начальником

Вообще-то лучше не встречаться. Поразительно противоречивые чувства мы вызываем у начальников. Но если уж не повезло, то что лучше всего делать при встрече с начальником прямо среди сугробов бытия? Лучше всего, размахивая руками, без вопросов промчаться мимо, объятый пылью. Но если тебя все же застопорили, то что лучше всего иметь при себе? Лучше всего иметь при себе готовый ответ, куда это тебя несет, еще один готовый вопрос, ответ на этот вопрос и приказание, которое ты сейчас сам себе отдашь устами начальника и тут же умчишься его исполнять.

Вызов к начальнику

Перед тем как войти, нужно сделать так, чтоб твоя жизнь быстренько пробежала у тебя перед глазами и чтоб было ясно за что. А лучше спросить по дороге. Кто-то наверняка знает.

Следующий абзац не слишком вяжется с предыдущим, но все-таки почему-то хочется рассказать о том,

Как на флоте рвутся гланды

Их рвут необычным путем. Втискиваешь руку необычным путем, с усилием продвигаешься, схватил на ощупь что-нибудь, дернул, вытащил, поднес ко рту, осмотрел; если не гланды — откинул в сторону.

Но вернемся к начальнику, который говорит по телефону

По телефону начальники людей пугают. Снимаешь трубку, и слышится утомленное:

— Александр Владимирович... вы — русский?

Секундная пауза (потому что за таким вступлением обычно следует: «Так какого же ражна-а!!!»), во время которой судорожно вспоминаешь все, что исполнил и как исполнил, все вспомнил, что исполнил, ничего не пашел, истомился до того, что устал, будь что будет, и говоришь вяло:

— Русский...

— Хорошо, — говорит начальник.

Он сейчас на тебя анкету рисует, и ему пужно заполнить графу «национальность».

Смерть начальника

О командирах и покойниках плохо не говорят. Со смертью начальника вспоминается только хорошее.

Гибель подчиненного

— Погиб?!

— Да-а!!!

Минута молчания, потом общий хохот.

О личном составе

Личным составом на флоте называют моряков, матросов срочной службы.

Моряки у нас делятся на нормальных и ненормальных.

Нормальный моряк должен быть постоянно чем-то напуган, должен быть постоянно в чем-то уличен, виноват должен быть и ходить должен с видом недоделанной работы.

Если моряк не напуган, значит, он нагл и ненормален.

— Вы нагл! — говорят ему. — И ненормален!

Для чего на флоте нужен личный состав?

Для любви. Вызываешь к себе личный состав и спрашиваешь его:

— Ну-у, голубь мой сизокрылый, когда же мы будем любить друг друга? Когда? Когда в наших отношениях наступит взаимность. Не могу же я любить только в одну сторону. Должна же быть хоть какая-то отдача. Я иду к вам навстречу днем и ночью, стирая ноги до отростка, а вы все удаляетесь и удаляетесь. Когда это прекратится?

У моего старпома вопросы любви к личному составу имели временные ограничители.

— Значить, так! — объявлял он. — Командирам подразделений с семнадцати тридцати и до восемнадцати заниматься с личным составом любовью.

При взгляде на моего старпома из глубин памяти всегда всплывал огромный фанерный чемодан с надписью: «Привет из Фрунзе». И еще он говорил:

— Инструкция — это дополнение к Конституции, — а потом добавлял перед строем: — Кос-ми-чес-кие корабли вовсю... (секундочка, приличный аналог подберу) вовсю сношаются на орбите, а у нас до сих пор личный состав спит на вахте! Захмуддинов!

— Я!

— Выйти из строя!

— Есть!

— Полезай на кнехт!

Полез.

— Сделай ласточку.

— Ну, товарищ капитан второго ранга...

— Не «ну», а ласточку я сказал.

Захмудинов делает ласточку. Старпом любителю.
— Спинку дай!

Дал спинку. Ласточка — это такая поза, когда, стоя на коленях на одной ноге, наклоняешься вперед, спина и еще одна нога, поднятая в заднюю сторону, должны быть параллельны линии горизонта, а руки нужно расставить. Получается ласточка.

— Так вот, товарищи, — говорит старпом, отлюбовавшись, — вот эта ласточка обгадила нам всю малину!

Как-то у нас не было корабля, все шло без дела, и вот старпом решил с утра всех занять, решил провести занятие. Вызвал меня и говорит:

— Химик, проведешь завтра лекцию «Оружие массового поражения». Договоришься с кабинетом. С восьми и до восемнадцати.

Десять часов подряд.

— Так... товарищ капитан второго ранга, они ж за десять часов обалдеют.

— Ни-че-го, не обалдеют! Так, ладно, завтра я сам проведу занятие. На тему «Воспитание личного состава». С восьми и до восемнадцати. Учись, химик, пока я жив, как надо проводить занятия.

С утра собрались в кабинете. Входит старпом.

— Встать! Смирно! Вольно! Сесть!

— Дежурный! Приготовить доску.

Дежурный готовит доску, протирает ее и кладет мел.

— Так! Командирам подразделений доложить о наличии личного состава и о наличии у личного состава конспектов и ручек.

Командиры подразделений встали и доложили. Старпом берет мел и пишет на доске печатными буквами:

— МАТРОСА НАДО ЗАДОЛБАТЬ! — и со стуком ставит восклицательный знак, отчего мел разлетается.

— Дежурный! Мел!

Дежурный подает еще один кусок мела.

— Вы все не читаете классиков, — обращается старпом к аудитории. — А что говорят классики? Классики говорят: если вы матроса не поставите раком, то он вас поставит раком! Кто это написал и где? Кто знает? Командир бэче один? Кто это написал? Не

знаете? Сядьте! Так, командир бэче два, тот же вопрос: кто это написал? Не знаете? Сядьте! Никто не знает? Это написал Леонид Соболев в «Капитальном ремонте»! Так, всем законспектировать.

Какой-то лейтенант в глубине хихикнул. Старпом заметил.

— Лий-ти-пант! Встаньте! Я вам, вам говорю! Да, вам! Представляться надо, когда к вам обращаются. Вот, товарищи, лейтенант! Он, может, только вчера из сперматозоида вылупился, а уже хихикает! Запомните, лейтенант, я в сто, нет, я в тысячу раз умнее вас. И поэтому я ваш начальник, и поэтому вы должны выполнять мои распоряжения. Вот где ваш конспект? Чей это лейтенант? Командир подразделения! А-а, вот чей это лейтенант. Тогда понятно...

И до восемнадцати часов старпом ни разу не запнулся.

Теперь самое время сказать,

что же такое у нас офицер?

Офицер у нас — это двуногое, лишенное совести и памяти. Офицер врет. И врет он не как все люди: он непрерывно врет. И вообще у офицера есть только два состояния: он либо врет, либо оправдывается. Но и оправдываясь, он все равно врет.

— И что это за офицер пошел? — говорил при мне один адмирал.

И мне тогда хотелось ему возразить, мне хотелось ему сказать, что сам офицер «пойти» никуда не может. Несмотря на то, что офицер живет погами, представляет он их только по приказанию и только по подразделениям: делай — раз! делай — два!

Может, это кому-то напоминает деревянных солдатиков? Кому хочешь, может, и напоминает, но только не мне. Наше офицерство я люблю. Я сам к нему принадлежу. Поэтому офицерство я понимаю. И если офицер говорит: «Я служу Родине бескорыстно, то есть за деньги», — я понимаю, о чем он говорит. Остальные не понимают, и это их возмущает. Возмутившись, они начинают орать и плескать руками, как бак-

ланы над мусорной кучей. Ублюдки, одним словом, клюв бы им загнуть!

Офицер — государственный человек

И государство о нем заботится. В чем видна эта забота? Она видна в новых образцах военной техники.

Офицер как животное: все это понимает, а сказать не может. Просто обструкция какая-то, клянусь мамой!

А иногда слышишь, как кто-нибудь там наверху говорит кому-нибудь тоже там наверху об офицере:

— Передайте ему мою твердую уверенность.

И уверенность со стуком падает вниз по ступенькам — шлеп, шлеп, шлеп (а возможно, и «тах, тах, тах») — и передается.

И в груди от этой уверенности как-то теплеет. Ну просто как от колбасы твердого копчения. Хорошо как-то. И служить хочется.

Отпуск

Офицеру раз в году хочется повеситься: при возвращении из отпуска. А если так получилось, что ты съездил в отпуск дважды, то и повеситься хочется два раза.

Из отпуска тебя отозвать может только начальник штаба флота. То, что он может, я лично не сомневаюсь, но тебя вызывают все кому не лень... А ты не приезжаешь.

— Почему вы не прибыли?

— Телеграмму не получил, товарищ командир!

— Как это «не получил»? Как «не получил»? У нас и квиток имеется. О вручении. Где у нас квиток? Сейчас! Найдем квиток и разберемся!

Ищется квиток и... не находится.

А однажды я им послал в ответ: «Саша ушел в горы. Сообщите, надо ли искать. Целую. Мама».

Говорят, старпом две недели ходил и говорил про меня:

— Вот... блядь!

А если ты вдруг приезжаешь, то выясняется, что ты уже никому не нужен, а нужен ты был именно в ту секунду, когда тебе давали телеграмму, а потом нашли какого-то другого дурня, и ты стал не нужен, но сообщить тебе об этом — рубля не нашлось.

О рубле

Без рубля, приложенного к телеграмме о вызове на службу, тебе не оформляются отпускные проездные документы. Эта телеграмма нужна на всякий случай: а вдруг война, тогда надо будет всех срочно отзывать из отпуска.

Кстати, об этой телеграмме: перед убытием в отпуск ее в трех экземплярах оформляют на каждого члена экипажа. Оформляют, скрепляют скрепкой и под нее кладут твой личный рубль.

Оседают телеграммы с рублями в недрах строевой части, а ты едешь в отпуск.

О рубле вспоминают в самый неподходящий момент. Первым вспоминает кто-нибудь из тех, кто следит за продвижением каждой своей копейки. Встает он на партсобрании и говорит:

— А я тут хочу спросить, как раз все присутствуют, где же наши рубли с телеграмм? Собирают перед отпуском со всех, а если и вызывают кого-нибудь, то за телеграмму все равно платит тот, кто ее отправляет, да и не всем же отправляют. А рубли собирают со всех. Вот я и хочу спросить: где же наши рубли?

Все начинают спрашивать: «А действительно, где наши рубли?» Председатель собрания растерян. Теме собрания будто позвоночник перебили. Положение пытается спасти зам:

— У вас по теме собрания есть что-нибудь? Товарищи, давайте выступать по теме!

— А я по теме! — не сдается тот, с рублями. — Из года в год собирают по рублю, а концов не найдешь! И по подписке мне хочется сказать. Я выписал на воинскую часть «Политическое самообразование» и «За рулем». «За рулем» не приходит, а приходит одно «Политическое самообразование».

— Ну, при чем здесь «Политическое самообразование»? — стоит зам.

— Как при чем? Как при чем? А зачем мне одно «Политическое самообразование», если не приходит «За рулем»?

Словом, на собраниях не соскучишься.

А где у нас живут офицеры?

Офицеры живут там, где остальные жить не могут. Им, остальным, такое даже не снилось. Край света — и офицеры. Ну просто стада офицеров. Безбрежные стада. Идешь — и одни офицеры: как попало, где придется.

Один полный адмирал, проезжая в четыре утра безмятежно спящее КПП, назвал это место «страной непуганых идиотов».

С тех пор так и живем.

И в чем же живут офицеры?

Офицеры живут в домах, построенных воинами-строителями. Только у нас существует такое возмутительное сочетание таких двух совершенно несовместимых слов, как «воин» и «строитель». Везде воины — разрушители, а у нас, понимаешь, строители. Считается почему-то, что если «равняйся-мирно!», по роже дал, то он уже и строитель.

Стучатся в дверь — женщина открывает.

— Хозяйка, — говорят, — мы пришли вам унитаз поменять.

Сняли унитаз и ушли. Полгода жили вообще без унитаза. «Северный вариант» называется. Это я не про унитаз, это я про дом. Дом называется официально: «северный вариант». Ялтинский проект, приспособленный к северным условиям: зимой холодно, летом жарко, и круглый год по стенам течет, а к батарее прислонился — почки простудил.

Слив канализации в одном таком забавном доме не дотянули до общей магистрали и вывели его просто в окружающую среду, и крысы там водились рос-

том с нутрию. Сидит однажды тетка, можно сказать, даже женщина, в этом доме на первом этаже (квартиру только получила), сидит она миролюбиво на унитазе и разгружается. Разгрузилась и, как всякий нормальный человек, расставив пожки, заглянула туда. (Каждому же интересно знать, как он разгружается.) Посмотрела она туда, а в этот момент нутрия у нее между ног вынырнула. Тетка вышла на себе дверь, в тот же день разошлась с мужем, улетела в Ленинград и там рехнулась, а муж остался служить, потому что все это «тяготы и лишения», которые нам предписано стойко преодолевать.

«Слава воинам-строителям!»

Вот какое восклицание вместе с восклицательным знаком они выложили выступающими кирпичами на вновь отстроенном девятиэтажном здании штаба флотилии.

Две недели висело, потом командующий приказал срубить. И вот за что: приехал к нам Министр Обороны, прошел он в штаб к командующему и там уже захотел сходить в галлюон.

Вместо того чтоб у командующего сходить (не просто в кабинете, на палубу или там в специальный горшочек, который командующий при этом лично в руках держит, нет, галлюон у него, у командующего, имеется в соседней с кабинетом комнате), отправился Министр ни с того ни с сего в народный галлюон. А в народном галлюоне так высоко от земли приделали писсуары, что в них только с прыжка что-нибудь получилось бы паделать, сантиметров двадцать пять надо было иметь в запасе, чтоб туда чего-то насифонить.

Министр прыгал-прыгал, становился на цыпочки — никак. Тогда он пригласил командующего.

— Лев Саныч, — сказал Министр, — неужели у моряков это самое место такой величины, что куда хочешь достанет?

— Да! Товарищ Министр! — взвизгнул наш командующий и отчаянно, одним рывком расстегнул себе ширинку. — Да! Так точно! У всех! Именно такие размеры! — И вслед за этим командующий так себе все

оттянул и вытянул, ну просто как пищевод из цыпленка, и насифонил при этом полный писсуар.

Потом командующий вызвал к себе того орла, под чутким руководством которого возводились эти писсуары, подвел его к его же творению и сказал:

— Снимай штаны!

— Товарищ командующий, я...

— Сни-май, говорю, злыдня... и трусы тоже... Они тебе больше не понадобятся...

Тот снял. А пока он снимал, у командующего руки дергались, видимо, чесались у него руки.

— А теперь, — сказал командующий злобно, — тя-ни!

— Тя-ни-и! — заверещал он, видя, что тот его не понимает. — Я тянул...

И тот тянул. А что делать — служба...

Боевое дежурство

Боевое дежурство — это такое положение, когда офицер видит жену не реже, чем раз в месяц. При этом он сильно суетится, чтоб получше устроиться, дрожит в нем все, как гавайское копьё при попадании в цель.

Отсучив ножками, офицер замирает. При этом у него случается истома.

Жена раз в месяц довольна безмерно, что у нее муж — офицер.

Боевое дежурство — это истома. (Продолжение следует.)

А пока оно следует, прочитайте маленький рассказик из жизни надводников. Называется он:

Вот народ!

Наш новый зам Иван Тимофеич Ничипорюк долго изображал из себя певинного интеллигента. Редкой чистоты козел был. По тревоге передвигался не спеша. Замов тревога вообще не волнует. Вот они и ползают. А морячки у нас по тревоге выскакивают на трап не глядя. Ноги на поручни кладут и враскоряку

съезжают. Трапы у нас длиннющие и крутые, а перебирать пожками по ступенькам замучаешься, вот они и съезжают.

Был такой матрос Кузьма. Выскочил он раз по тревоге — прыг на трап и поехал и внизу уже зама нагнал. Тот спускался так медленно, как будто ему удаление крайней плоти только что неграмотно произвели и попутно все рефлексы задушили.

Кузьма нагнал зама на последней ступеньке и... въехал ему на плечи. Зам от такой тяжести просел, за ноги Кузьму ухватил, вцепился, глаза вылупил, фуражка слетела, и сказать ничего не может, потому что от такой нестандартной ситуации сразу же проявилось все его неземное происхождение. Стоит и терпит на себе Кузьму, а Кузьма осторожно освободил свое междуножье от инородного замовского тела, ну а зам все прийти в себя не может. От потрясения. Потряс его Кузьма.

А комбриг наш всю эту сцену из жизни бобров лично наблюдал. Подходит он к заму, поднимает его фуражечку, с удовольствием надевает ее ему на луковку и говорит такие слова:

— Что ж вы, Иван Тимофеич, моряка чуть не убили? Нехорошо, брат, ведь так и мозгами тронуться можно. Зачем человека так пугать? Ну, схватил ты его на плечи, пошутил, ну и отпусти. Чего ж ты в него так вцепился? Нехорошо.

Зам минут двадцать после этого все хотел что-то сказать. Ходил за комбригом как привязанный, мешался под ногами, фуражку на голове поправлял и мычал. А тот все поворачивался к заму и говорил:

— Нехорошо, брат, нехорошо...

Так зам тогда ничего и не сказал. Но на следующее утро говорить все же научился. И сразу же за политинформацию взялся с жаром. Соскучился, пока молчал. Вот народ, а?

Не могу удержаться, чтоб не порассказать вам еще чуть-чуть про наших замов.

О замах я могу говорить часами. Зам, он и в Африке зам. Вот интересно, почему до сих пор космонавты летают в космос без замов? Некоторые сейчас скажут: «Потому что чем дальше от родной планеты, тем

больше доверия человеку», — а я думаю, не в этом дело. Наверное, замы не переносят невесомость или просто место экономится.

Но все-таки в конце концов с возрастанием масштабов космического строительства, с расширением задач по закабалению космического пространства, думаю, появится необходимость в замполитах на орбитах. Роль их просто возрастет от борозжения пустынь Внеземелья. Ну а что в этом такого, ведь и торичеллиева пустота на поверку не такая уж и пустая. В ней есть эти... как их... космические лучи... и пары...

— Ну при чем здесь торичеллиева пустота, — спросят меня, — когда речь идет о замах?

— Как же вы не понимаете, — скажу я, — ведь если в ней есть пары, то почему бы в ней не появиться замполиту?

Иногда меня спрашивают:

— Ну, это все ладно, а как вы лично относитесь к замполитам?

— Я лично?

— Да, вы лично.

— Я лично умеренно отношусь. Он мне лично дорог как частица нашей истории. Меня не тянет трахнуть его в лоб, лично его застрелить, надавать ему по морде или задушить, пуская при этом слюни, своими собственными руками, как это мечтают сделать некоторые наши офицеры. Я, например, люблю слушать зама. Некоторые любят слушать соловья по почам, а я — зама. Если вам удастся оторвать зама от конспекта, то вы многое услышите. К примеру, наш зам говорил: «Торчат гвозди из наглядной агитации».

А на учениях политотдел интересуется только процентом убитых среди коммунистов, а в мирное время они распределяют среди командиров женские австрийские сапоги. Вы знаете, я как-то успокоился, когда узнал, что политотдел распределяет сапоги. Смешно говорить о том, что самый последний человек в политотделе имеет женские австрийские сапоги. Говорить смешно, поэтому и говорить об этом не будем, Бог с ними, с австрийскими сапогами, тем более что мне их не распределили. Да и с какой стати, я же не в политотделе служу.

Конечно, сначала хотелось как? (Это я не насчет австрийских сапог, это я вообще.) Вообще как сначала хотелось? Хотелось так: командир на флоте — папа, а зам — мама; и люди должны были по идее ходить к нему, тягуться и мочить ему сисю. А потом замы решили, что если все будут ходить и мочить, то сися от этого быстро мокреет, сыреет сися, и хватит, решили они, и прекратили.

А еще они у себя в политической академии друг у друга партбилеты воруют. В смысле при поступлении в академию. Чтоб от конкурентов избавиться. Нам наш зам рассказывал. Перед тем как бежать тысячу метров на зачет, разделся он, повесил одежду на гвоздик, побежал, добежал первым — хват за рубашку, а партбилета-то и нет. После этого отчисляют из академии безо всяких разбирательств.

То есть процент воров среди поступающих к ним в академию ниже на первом этапе, чем при выпуске из нее.

Раньше они при поступлении сдавали устав, а теперь — математику. То есть раньше зам был крепок нижней своей частью, а теперь — верхней. Раньше при поступлении на вступительных строевых занятиях вокруг строя замполитов бегали седые полковники с кафедры общественных дисциплин и кричали:

— А вои тот майор ногу в колене гнет и совсем ее не поднимает.

После чего все майоры в строю испуганно косились, задирали ноги и не гнули их нигде вообще, не то что в колене.

Так их и выпускали потом нестигаемых. И отличить было легко: гнешь ногу — получается, что ты без образования; не гнешь — значит, академик.

Зам у нас — представитель ЦК

Чем больше у зама ума, тем чаще он повторяет это перед строем. Наш прошлый зам каждые пять минут повторял, из чего можно было заключить, что у нас зам — гений! У нас имеется и письменное тому подтверждение. Зайдите в галюон в нашей казарме, и в первой кабине справа, под надписью «Много у нас

диковин, каждый мудака — Бетховен», увидите: «Ребята, у нас зам — гений!»

Однажды пришли в город С. (Стекловодск) на погрузку ракет. Не успели чалки бросить, как наш зам, представитель, скорее всего, ЦК, тут как тут, уже стоит наверху в белой рубашке, новой тужурке, напояженный.

Дежурный его спрашивает:

— Вы куда, Василий Андреевич?

Стоит и ждет любой ответ зама, чтоб кивнуть, а зам говорит исключительно не глядя:

— В редакцию газеты «На страже Заполярья». Посмотрю, как там...

«Там» оказалось какой-то кверху. Рапо утром зам прошмыгнул на корабль — истерзаный, с огромным фонарем под правым глазом. Странно встретили боевого комиссара и представителя (ммм...) ЦК в нашей родной «На страже Заполярья», которую мы выписываем толпами. Очень странно.

Хватит, наверное, о замах, Бог с ними, пусть их коза бодает, лучше еще раз об офицерах.

Еще раз: офицер — это как что?

Офицер что собака, прикормил — твой. И тут важно не перекормить, чтоб не охамел. Вот если кидать. По куску. Можно держать целую стаю. Лучшее все равно будет перепадать вожаку, а уж он-то найдет, чем занять остальных.

В конце службы офицер теряет нюх, и его отдают в народное хозяйство.

Офицер — это судьба.

Офицера нельзя оскорбить. И этим он напоминает дерево. Разве можно оскорбить дерево?

А чем офицер отличается от дерева?

Тем, что он не поддается обработке.

Настоящий офицер хоть что может. За это он и любим народом.

Для настоящего офицера преград нет. Он везде пройдет и возьмет что хочешь.

Голыми руками.

А как у нас награждается офицер?

Регулярно. За «50, 60 и 70 лет Вооруженным Силам» и за «десять, пятнадцать, двадцать лет безупречной службы».

А как офицер воспринимает награды?

Хорошо воспринимает. Он им радуется. И радуется он им больше, чем волкодав, увешанный медалями за сообразительность, преданность и экстерьер. Гораздо больше.

Конечно, и среди офицеров бывают философы, которым медали до такой же лампочки, как и племенным волкодавам, но в общей массе, в абсолютном большинстве, медали офицера радуют. Он играет с ними, как малое дитя, до самой старости.

Один мой знакомый вешал на себя только две медали, а остальные клал в карман и поигрывал ими при ходьбе, а когда его спрашивали: «А где ваши остальные награды?», — он доставал их из кармана полной горстью и молча протягивал.

Некоторые, дочитав до этого места, все же интересуются: «Интересно, а как же все-таки они служат?»

Отвечаю им:

— Мы служим задом наперед, не прямо, а наоборот, шиворот-навыворот и стоя на голове вверх тормашками. И по служебной лестнице так и поднимаемся вверх ногами: тук-тук-тук по ступенькам тыковкой, которая у всей планеты маковка.

Кто не понимает, о чем я говорю, пусть пропустит это место и читает дальше.

О лейтенантах

Лейтенант — это начало большого конца.

Я как-то сказал так перед строем лейтенантов, и они заулыбались. Значит, понимают, о чем идет речь.

Об адмиралах!

Вы знаете, иногда у меня такое впечатление складывается, что до капитана третьего ранга включительно на флоте все нормальные люди.

Что бы вам еще такое рассказать об адмиралах? Разве что парочку случаев вам рассказать. Вот послушайте.

Один адмирал любил собирать различный зип*. Ходил по территории и собирал. Особенно любил, когда блестящее что-нибудь или там радиоэлектронное. Собирал он в специальный чемодан. Наберет полный чемодан, вызовет матроса и говорит ему:

— Отнесешь мне домой.

Матрос несет ему домой, звонит в дверь, и жена адмирала ему открывает.

— Вот, — говорит матрос, — прислали.

— А-а, — говорит жена и гложет, ощущая глазами, чемодан, — вижу. Хорошо. Подождите только секундочку, не заносите.

И через секундочку появляется снова в дверях жена адмирала и тяжело ставит рядом еще один чемодан, издавая при этом следующие звуки:

— А теперь отнесите, пожалуйста, все это на свалку.

Однажды встречали этого адмирала с моря вместе с оркестром. Трап на лодку подали, адмирал на него ступил, и оркестр заиграл. Рядом крикнули: «Смирно!» Адмирал поднял руку и двинулся по трапу. А трапы у нас очень скользкие, оттого что мы по ним ходим, да еще, как всегда, парусиной не везде обтянуты. Поскользнулся адмирал, сделал «вжик!» и нырнул под леера и дальше — в воду.

Оркестр, пока он летел, от изумления музыкально обыграл его падение, изобразил фугу «Летающий адмирал», а сам адмирал, пока летел до воды с поднятой к голове рукой, успел крикнуть: «Воль-на-а!»

Когда его выловили, то всем стало интересно, чего это он «вольню!» кричал.

— А вам, сволочам, пока «вольню!» не крикнешь, — сказал адмирал, обсыхая на ветерке, — вы же спастись не будете.

* Зип — это запасные наши части.

Так что с адмиралами у нас все в порядке, и все отлично себя чувствуют.

Наших адмиралов можно даже в Англию на выставку приглашать. Галерея этих ярких флотских образов заставит вздрогнуть даже большое воображение.

Словом, природа наградила их, а они наградили природу.

Следующий заголовок: как зевает офицер?

Некоторые интересуются, зевает ли офицер на флоте. (Не знаю, зачем им это. Может, просто они хотят нас лучше зрительно представить?) Отвечаем. Нет, не зевает. У нас на моей памяти только один зеваул, да и то неудачно. С непривычки челюсть вывернул. Сидим мы как-то на базе, ждем подведения итогов соцсоревнования, и вдруг он взял и зеваул — ху-хау-ха! И челюсть у него из зацепления вышла, а глаза налились, вытянулись по диагонали, и рот не закрывается. Представляете, у офицера не закрывается рот! Ну ладно, если б он у него не открывался, а то не закрывается.

Сначала думали, что это он так шутит по-идиотски, а потом видим, что глаза у него периодически вылезают еще пуще и сам он делает так: ык-ык! — силится, значит, а у него не выходит. Тогда все поняли и принялись ему помогать. Ну, помогают у нас в основном смехом. Мы так хохотали какое-то время, что какое там подведение итогов. Все неприлично лежали.

Потом старпом назначил ему в госпиталь трех сопровождающих. Двое должны были его под руки вести, а третий должен был ему челюсть нести. Еле дошли. До машины не дозвониться, а там пешком — пять километров. И тот, кто челюсть нес, должен был все задом пятиться. Так и шли. Хорошо еще, что силой закрыть ему челюсть не пытались.

А начальство?

А что начальство? Начальство у нас зевает, и ничего с ним не случается. Вот начпо наш по случаю пара-

да Победы зевнул на трибуне так призывно, что мне захотелось превратиться в лягушку и туда к нему прыгнуть.

О встречах

Порой на флоте хочется кого-нибудь отловить. Чтоб спросить у него чего-нибудь. Так вот, бесполезно ловить его в кабинете. Лучше встать где-нибудь на пересечении и дожидаться. Через некоторое время он сам через тебя пробежит.

О встречах высокого начальства

Встреча высокого начальства отличается от остальных встреч вообще. Высокое начальство начинается у нас с главкома. Назначает главком своим прибытие в базу на 11.00. Командующий флотом добавляет: «К 10 часам все должно быть готово!» Командующий флотилией заставляет доложить о готовности к 9.00, а командир дивизии выгоняет строиться в 8.30.

И стоишь на ветру, обдуваемый, и ждешь высокое начальство, которое с тобой при встрече может даже и заговорить, побеседовать, и уши у тебя от такого стояния становятся огромными, как у африканского слона. Сколько в эти минуты рождается юных мыслей, какая яркость выражений, глубина ощущений, тонкость переживаний, какая точность формулировок от ядовитости быта. Вот так и рождается флотский язык. А еще говорят, что у офицера даже в почечных лоханках ничего не задерживается. Ничего подобного, все у него задерживается. И язык у него есть. А еще у него есть глаза, руки, ноги и затылок.

Глазами он видит рост нашей боеготовности, руками он ощущает рост нашей боеготовности, ногами подходит ближе, а в затылке у него откладывается.

Но иногда!

Но иногда на флоте хочется бежать. Бежать! Глотать свежий почной воздух и бежать. Подальше от золотых дорожек на воде, от почного солнца, подальше от всего. Тебя хватают за рукав, тебе кричат с пирса: «Стойте! Вас вызывает старпом!», — а ты бежишь, бежишь...

И

И вся жизнь — борьба. До обеда с голодом, после обеда — со сном. И год за два идет на подводном флоте. Некоторые до того обалдевают от возможности за один год прослужить целых два, что остаются надолго.

И наконец, о карточке

Чтоб офицер на службе вел себя хорошо, на него заводится карточка взысканий-поощрений. Эта карточка освещает весь путь жизни офицера. С одной стороны в нее заносятся взыскания, с другой — поощрения. Офицер периодически знакомится со своей карточкой. После знакомства офицер обычно свою карточку теряет. Вызывают офицера к помощнику командира и предъявляют ему карточку.

— Слушай, — говорит ему помощник через мгновение, — здесь только что твоя карточка лежала. Ты не видел?

— Какая карточка?

— Ну, твоя, служебная.

— Где?

— Да здесь же только что лежала. Я же тебя вызвал специально, чтоб с ней ознакомить!

— Специально лежала?

— Ну!

— Не видел.

— Черт! Теперь восстанавливать придется. А ты не помнишь свои взыскания?

— Нет, не помню.

А поощряют ли офицера вне карточки?

Конечно. Его просто не наказывают. Объявляют ему одно «ненаказание».

Изюминка

Изюминки все это. В службе всегда есть изюминки. Много-много изюминок. Из них соткан большой персидский ковер старинной ручной работы, который и называется — служба.

Слышали ли вы о «закате солнца вручную» или вот такое: «Выделить в помощь весне по двадцать человек с экипажа с ломами»?

Изюминки все это. И куда ни ткнись на службе — везде одни изюминки.

О женщине

Женщина — это тоже изюминка. Из-за того, что она изюминка, она тоже воткана в наш чудесный орнамент.

Если хорошо будешь служить, то на ночь тебе дадут женщину. Если ты женат, то тебе на ночь дадут не просто женщину, а твою собственную жену.

Если же ты служишь плохо, то есть плохо работаешь или ведешь себя непотребно, то тебе запретят сход на берег, то есть женщину, а может, и жену твою собственную, тебе не дадут.

Женщина для офицера — один из видов поощрения!

О холостяке

Хоть холостяк и вызывает у офицеров зависть подколенную, но засиживаться в холостяках не стоит: вредно это и для здоровья, и для военной карьеры.

— Лейтенант! — говорят холостяку. — Ты чего это не женишься? Чего это ты не вьешь гнездо? Может, тебе на службе плохо, и оттого ты и не вьешь?

Затянувшийся холостяк в глазах начальства ненадежен, как кобель. Можно, конечно, поручить ему

большое государственное дело, пустить по следу, но если след пересечется следом самки, то дело пропало.

Так что если дело холостяку можно пайти в пределах корабля, то нечего ему на берегу делать.

Спущенный с корабля раз в месяц холостяк в зрелище своем ужасен: глаза блестят, непорядочно бегают, кадык непрерывно слюну сглатывает, и дышит он с трудом, с присвистом дышит, трудно пузырится, будто что-то внутри и лопається.

«Жесткий съем»

«Жесткий съем» — это когда тебя спустили с корабля в 22.00, а танцы заканчиваются в 22.30, и ты влетаешь туда, опухший с полового голода, задыхаешься, а девушка уже в гардеробе, уже подает померок на свое белье. Ты выхватываешь у нее померок, как пищий — золотой, и помогаешь ей надеть ее белье.

Дальше по жизни, неторопливо на сегодня, вы отправляетесь вместе, не торопясь, за ручку, как скорпион со скорпионихой.

Вот это и называется — «жесткий съем».

Всё о ней же (о тоске)

С тоски офицер обычно хватает кого попало. Особенно лейтенанты в период зова плоти этим страдают.

Случилось это где-то на Тихом океане. (Там еще до сих пор встречается много безобразий, потому что нет ни юридической, ни половой культуры.) Снял лейтенант в кабаке женщину и отправился к ней, как к порядочной.

Входят они в квартиру, а там уже сидит какая-то шайка.

— Ну, садись, лейтенант, — говорит ему шайка.

Лейтенант садится за стол.

— Ну, пей, лейтенант, — говорят ему снова.

И тут лейтенант видит: весь стол портвейном розовым уставлен. Ну что делать? Пьет лейтенант. И пил он с ними до утра.

А утром они помогли ему шинель надеть, застегнули ее ему на все пуговицы и вставили в рукава швабру. Пять утра, мороз, туман. Идет лейтенант, еле ноги передвигает; во-первых, оттого, что у него вместо воды в организме один портвейн булькает, а во-вторых, оттого, что то ли от портвейна, то ли от переживаний или, может, оттого, что ему в портвейн пургена намешали, произошло у лейтенанта расслабление одного очень нужного органа. И шел он, пришепечывая, полагаясь на мудрость тела, оставляя небольшие следы на снегу и отвратительно себя местами морозно чувствовал.

И главное, помочь себе никак нельзя, поскольку на швабре распят.

И шел лейтенант среди тумана, и вырастал из него приставными шагами, как военно-морское привидение, и пугал народ одинокий в пять утра, тощим с портвейна голосом прося о пощаде.

Лейтенант себе глотку почти что надорвал, пока милиционера не нашел. Только наша милиция пришла ему на помощь и выдернула швабру.

В этом случае я вижу урок грядущим поколениям нашего офицерства.

Когда говорят офицеру: «Бди!», — это не просто слова.

НЕ МОГУ Я...

Не могу я, когда меня хвалят, не знаю, куда себя деть: краснею, потею, дергаю руками, глупости говорю всякие или стою, потупясь. Жалкий какой-то, ноги мягкие, плечи мягкие, уши мягкие, бордовые, в глазах — растерянность.

Состояние глупое.

Нет! Я больше привык, чтоб меня ругали, чтоб орали на меня, я привык, чтоб поливали, визжали, угрожали, катались по полу, вскакивали, перли на меня грудью, топали ногами, тыркали носом, кричали мне:

«Сука вы, сука!» — и делали в мою сторону неприличные жесты.

Вот тогда я чувствую себя хорошо! Прилив сил и восторга я чувствую. Я живу тогда: фигура прямая, мышцы напряжены. Бицепсы, трицепсы, широчайшие, икроножные — как железо; руки — по швам; ноги вместе — носки врозь; грудь — вперед, полна воздуха; босой затылок в атмосфере свеж, а в глазах — зверь затаился, и во всем организме — наглая смелость: «И-ех, дайте мне его!»

Ну, тогда мне лучше не попадаться: подпрыгну, брошусь, вцеплюсь, схвачу, укушу.

Не состояние — песня!

ФЛОТСКАЯ РЕЧЬ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ КРАСНОГО ОФИЦЕРА

Из личного...

— Чего вы щеритесь, как пий-с-зда на электробритву?

Из общественного...

— И нечего тут везде яйцами трести!..

Из сокровенного...

— Я знаю, чем у вас это все кончится: вы во время комиссии наложите в штаны, а мы будем все это потом выгребать!

НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ

Она ведь в каждом военнослужащем. Она в нем обитает, пребывая в свернутом состоянии — что твоя жгутиковая клетка в крапиве, и кажется, она только и ждет, что он заденет за что-то, за что-нибудь, и тогда она воткнется в него, и как только это произойдет, военнослужащий сейчас же что-нибудь выкинет.

Юра Потапов имел страдальческое лицо. Каждое движение на пульте главной энергетической установки давалось ему с видимым трудом, с усилием ему давалось над хрупким и светлым своим внутренним миром.

— Я здесь ничего не трогал, — любил повторять Юра при смене с вахты, а потом он медленно и очень остороженько направлялся в отсек, где, посетив галлюн, надолго посвящал себя койке, в которую он опускался, как жена Цезаря в молочную ванну, — бережно, и в то же время стыдливо, и вместе с тем с удовольствием, и лицо его принимало выражение: «Ах, это и не простынь вовсе, а цветы, неужели я на них лягу?» — и при этом оно, лицо конечно, не теряло сочувствия к тем, кто теперь там на вахте и на страже...

Следуя же по отсеку к каюте, он всегда проходил мимо краснощекого каратиста — всегда такого бодрого, такого молотящего рукой по деревянному, такого достающего погой что-то там на потолке.

— Иии-я! Иии-я! — бил тот куда-то, а Юра только болезненно морщился и спешил мимо-мимо.

И все это изо дня в день. И вдруг за сутки до прихода в базу, когда Юра в который раз скользил в каюту, каратист ему неожиданно крикнул:

— Юра! До потолка достанешь?

И что-то случилось. Видимо, возвращение домой и было той веточкой, за которую зацепилось что-то там в (Юрином) нутри, распоров бурдюк благодушия или, может быть, благоразумия.

И, вы знаете, освободилась непредсказуемость. Нежнейший Юра вдруг, жуликовато сверкнув жем-

чужими белками, сделал — иии-я! — и в первый раз в жизни достал до потолка.

При этом он растянул промежность и порвал себе, кажется, связки.

ВСЕМ ПОДРЯД!

— Командирам боевых частей, начальникам служб прибыть в центральный пост на доклад! — разнеслось по отсекам.

Командир атомохода капитан первого ранга Титлов — маленький, скоренький, метр с небольшим (карманный вариант героя) — нырнул через переборку в третий отсек.

Лодка в доке. Средний ремонт. Ее режут, аж верещит; съемные листы отваливаются, оборудование выдирают, и обрубленные кабели торчат, как пучок скальпированных нервов. Всюду сварка, запах гари. Завод чувствуется. Личный состав уже бродит в обнимку с работягами, как стадо.

Всех подтянуть! Всех надо подтянуть! Занять, поставить задачу! Вставить всем подряд без разбора! Чтоб работалось! И без продыха! Никакой раскочки! Люди должны быть заняты! Не разгибаясь! Никакого простоя и снапья! Иначе — разложение! И офицеры! Офицеры! Офицеры! Начать прежде всего с офицеров! Сегодня же начать!

Командир Титлов вбежал в центральный.

— Смир-на-а!!!

Даже пневмомашинки замерли. Собранные командиры боевых частей образовали коридор, по которому он промчался до командирского кресла, как бычок, прибывший на корриду, добежал и рухнул в него, крикнув влет:

— Вольно!

В момент падения командирское кресло развалилось, просто трахнулось на палубу, старо было слишком, не выдержало, трахнулось, и командир Титлов

вывалился из него, как младенец из кульки, скользнул по засаленной палубе и закатился под раскуроченный пульт... въехал. Голова сработала как защелка. Защелкнула. Никто не успел отреагировать.

— Эй! — крикнул командир Титлов, лежа на палубе распяленный, хоть горло у него и было зажато. — Чего встали?!

Этого было достаточно; все очнулись и пришли в движение — бросились выдергивать его за поги, отчего рот у командира закрылся сам собой. Командир сопротивлялся, боролся, шипел:

— Порвете, суки, порвете... — лягался и матюгался.

Тогда все бросились корчевать пульт, на Титлова два раза наступили невзначай.

— Раздавите, курвы, раздавите, — рычал командир, — тащите домкрат, бар-раны...

Домкрат нашли после обеда; достали командира, поддомкратив, к вечеру.

Командир лично руководил своим доставанием.

Заняты были все.

Особенно офицеры.

Все подтянулись.

Когда командир встал, он вставил всем подряд!

Без разбора!

Чтоб работалось!

И без продыха!

Вот так вот!

А — как — же!..

СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!

— Свистать всех наверх! Кому сказано?! Чего не ясно?! Ко мне-е!.. Прыжка-ми-и!.. На полу-сог-пу-ты-х!..

— Саня?

— А?

— Ты чего?

— Да так, нужно же себя немного взбодрить.

Сейчас утро. Мы с Сашей живем в одной каюте. Я еще лежу, а он стоит перед умывальником, бреется и орет, придурок.

Видно, что настроение у него замечательное. Сегодня воскресенье, а вчера у нас Саня по заливу плавал. Я думал, сразу какую-нибудь подхватит, а он ничего, жив, красавец. Вы, конечно, знаете портопункт Змеиный. Это наше место службы. Там ничего нет, кроме причала и двух гнилых корыт — наших катеров. А ночью мы с противоположной стороны, куда нас доставляет катер.

Катер отходит в 18.00. Опоздаешь — останешься скулить на берегу. Вчера Саня опоздал. Уже концы отдали, как он на горке появился и с быстротой вихря кубарем скатился вниз и с ходу, с пирса, в шинели, в отчаянном прыжке пытался достичь катера. Не долетел метра три, плюхнулся в воду и начал медленно и хладнокровно тонуть. У всех горло перехватило, а потом взметнулись все, как стая фестивальных голубей, и начали кидать в воду все что попало, чтоб этот пришлепнутый за что-нибудь зацепился. Ход сбросили, бомбим его разными предметами, не имеющими ничего общего со средствами спасения, а он молча погружается.

Наконец багром зацепили и подтянули к борту. Потом отпайвали. Словом, ночь прошла чудесно, и вот теперь он веселится, идиот.

ГЕСТАПО

И снова завод — вошь — мрак — сварка — резка. Все время что-то вырывают и уносят, вырывают и уносят. Туда-сюда по центральному ходят люди. Работяги, разумеется, в ватниках, шапках, окаменевших сапогах. В центральном бедлам и непрерывающиеся звонки телефона. Только трубку положил — она опять задержалась. Ошалевший дежурный всякий раз хватается за телефон и говорит:

— 424 заказ, дежурный...

Наконец — после трехтысячного звонка — он не выдерживает и рывкает в трубу:

— Гестапо!!!

Центральный онемел, там, в трубке, тоже, потом оттуда раздается несчастнейшее такое:

— Извините...

Минут пять не звонит никто, потом робкое — дзинь!

— 424 заказ, дежурный...

— О! — говорят в трубке и, повернувшись к кому-то: — А ты говорил «гестапо»!..

ДАЙТЕ МНЕ...

— Алё... дайте мне крейсер «Киров» в Бискайском заливе... ..это крейсер «Киров»?

— Да.

— В Бискайском заливе?

— Да.

— Дайте мне начхима.. Начхим?.. Алё... начхим?! Начхим?! Это начхим?! а?!

— Это — начхим!

— А-а... наконец-то... Это ты, скотина!!!

МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ

(три штуки)

И КИНОСЦЕНАРИЙ

(одна штука)

I

Для чего существует флот?

Для инспекции Министра Обороны.

Генерал-инспектор — для флота стихийное бедствие: смерч — самум — ураган — цунами, без штанов можно остаться.

— Всем по казармам и не высовываться! Вахтенных по подъездам расставить не ниже капитана третьего ранга!

Генерал на вертолете. На площадке его ждут. Генерал медленно вышел. Вертолетчики остались на местах с вертолетными лицами. Генерал по тылу.

Растопыренный начальник тыла шагнул к нему с рапортом. Ручки дрожат. Что-то долго докладывает. В это время появляется стая собак. Собаки любят парады, доклады, чувствуют торжественность минуты. Счастливая, улыбающаяся сука расположилась у ног генерала, весело поглядывая на начальника тыла. Ее свита — кобелей пятнадцать — расположилась полукругом, демонстрируя хвостами свое добродушие.

Начальник тыла, с лицом перекошенного страдальца, склонившись вперед, рука к козырьку, едя глазами, пытается погой незаметно отогнать кобелей. Те весело отпрыгивают и возвращаются.

Замначальника тыла понимает это движение ляжки начальника как сигнал лично ему, подзывает кого-то:

— Так, дуй на камбуз, и чтоб все там было в ажуре... да, и шампанское... (посмотрел на отчаянно лягающегося начальника) а лучше коньяк... давай...

II

Озверевший комендант врывается под стекло в рубку дежурного по гарнизону и орет:

— Я вам что?! Сколько раз?! Я вас спрашиваю! Хлопухи! Вы что?!

Дежурный, вскакивая, тут же начинает орать в топ коменданту, но гораздо сильнее его, и орет он, обращаясь куда-то в угол, за шкаф:

— Я посылал?! Я кого посылал?! Я ему приказал что?! Что?! Что вы там сопли жуετε?! Что я ему приказал?! ЧТО я ему говорил?! Где этот недоносок, мама его партизанская?! Сюда его!!! Сейчас я из него буду пищевод добывать!!!

Комендант, несколько ошалевший, пораженный тем, что у кого-то голос сильнее, чем у него, прислушивается с тем уважением, с каким один барбос слушает другого, успокаивается и говорит:

— Ладно, разберитесь... я у себя буду... — и уходит.
Тишина. Дежурный смотрит хитро и говорит мичману, стоящему за шкафом:

— Никитич, пойди узнай, чего он хотел...

Мичман, принявший к этому времени окончательно форму табурета, осатаневший, вздернутый, застывший в икоте, ослабеваешь, выдыхая:

— Фу... ты... черт... Вот и дослужи так до пенсии... здоровым... суки... — и идет разбираться.

III

Лучший штурман флота на карачках у бордюра с гвоздем в руках.

Матросы рвут траву и подносят ему.

Он делает в песке дырку и втыкает пучок — получается ковер травяной.

Здесь утром проехал командующий, и командующий увидел, что везде растет трава, а здесь она не растет, и место от этого какое-то лысое. Крайним оказался штурман, вот поэтому он и втыкает теперь траву. Мимо едет комдив. Увидев штурмана, он тормозит.

— Что вы делаете?

Штурман на карачках:

— Траву сажаю.

— А если б вам рожи приказали на лопухах рисовать?

— Стал бы рисовать рожи.

Вскоре этот штурман был назначен флагманским штурманом.

КИНОСЦЕНАРИЙ БРАТЯ НАДВОДНИКИ

Длинный, метров пятнадцать, железный трап закинут на противолодочный корабль.

Трап стоит под 60° к планете.

Он скользкий-прескользкий.

Влезть невозможно.

У трапа вахтенный.

Развевается флаг.

По трапу пытаются подняться слушатели Академии тыла и транспорта. Они прибыли на экскурсию. Полковник и два майора. В сапогах. Залезть можно, лишь хватаясь руками за леера и втягиваясь. Полковник и майоры ползут. Несколько раз оступившись, повисают, потом опять ползут. Доползли.

Развевается флаг.

Самый верхний, полковник, вдруг вспоминает, что нужно отдать честь флагу, отпускает руки от лееров и вытягивается (лапа к уху), какое-то время отдает честь, потом, поскользнувшись, (портретом о железо) падает, и, увлекая за собой остальных, с грохотом сапог все это несется к земле: трах-тарарах-тах-тах (последние «тах-тах» — два майора).

Ужасно.

Все это лежит, отчего пирс зеленеет.

Развевается флаг.

На звуки выбегает старпом.

— Так, — говорит он двум матросам, кивая на полковника, — вот тот мешок с сапогами втащить сюда, — думает секунду: — остальным бросить шкерт.

Остальные влезли по шкерту.

НЕТ, РЕБЯТА!

Замов не истребить! Это такая медуза, что режь ее хоть на миллион частей, а она все равно жива, да еще и дополнительные щупальца выпустила.

Были у меня, конечно, разные там мечтанья, что на заре перестройки им все-таки головки-то отвиштят. Особенно я эту замечательную возможность почувствовал тогда, когда они наверх стали подавать по своему обыкновению бумаги о комплексных планах перестройки и докладывать ежедневно о количествах перестроившихся. Но быстро те мысли меня оставили, хоть я и видел, что политотдел переживает непростые дни, и длительное время считал, что скоро они будут зарабатывать на жизнь тем, что начнут продавать за

рубеж недоношенных младенцев. Я даже на стенде наглядной агитации — том, что в штабе дивизии висит, — наблюдал начавшиеся у них содрогания. Там была фотография — «Михаил Сергееч и Раиса Максимовна посещают корабли», — так вот, показалось мне, что Раиса Максимовна горько плачет. Придвинулся поближе, а это ей глазки кто-то аккуратненько иголочкой выколол.

И эту фотографию обычно меняли ежедневно, а может, и ежечасно, потому что только повесят и два раза мимо в галюон сходят, как уже готова — выколоти, вешай новую.

И они вешали. А тут уже две недели висит Раиса Максимовна с совершенно поврежденными зенками, и все ходят мимо, и вроде так и должно быть. И меня это, знаете ли, радовало.

Упадок. Гниение. Забвение. Вот чего мне хотелось.

Ну, например, спрашиваешь у потомков: «Кто такие замполиты?», — а потомки только мычат в ответ, и я наслаждался бы тем мычанием.

Я даже памятник им придумал и назвал его — «Недоумение».

Представьте себе: на постаменте грузный, лысый мужик с глазами навывкате пожимает плечами и разводит руки в стороны, а по бордюру расположились маленькие фигурки того же мужика, изображающие следующие аллегии: Алчность, Страх, Стыд, Пот и Похоть.

Аи нет! Выправились, мать-иху!

БОРЗОТА

Когда конкретно на флоте началось усиление воинской дисциплины, я уже не помню. Помню только, что почувствовали мы это как-то сразу: больше стало различных преград, колючей проволоки, вахт, патрулей, проверок, комиссий, то есть больше стало трогательной заботы о том, чтоб подводник все время сидел в прочном корпусе или где-нибудь рядом за колючей проволокой.

И с каждым днем маразм крепчал!

А командующие менялись как в бреду, будто их на ощупь из мешка доставали: придешь с автономки — уже новый.

И каждый новый чего-нибудь нам придумывал.

Последний придумал вот что: чтоб в городке никто после девяти утра не шаялся, он обнес техническую зону, где у нас лодочки стоят, еще одним забором и поставил КПП. То есть после девяти утра из лодки без приключений не выйти. А в зоне патруль шаяется — всех ловит. И как убогим к автономке готовиться — один Аллах ведает!

Связисту нашему, молодому лейтенанту, понадобилось секретные документки из лодки вынести. Пристегнул он пистолет в область малого таза, взял секреты под мышку и пошел, а на КПП его застопорили:

— Назад!

— Я с документами... — попробовал лейтенант.

— Назад!

Лейтенант с ними препирался минут десять, дошел до белого каления и спросил:

— Где у вас старший?

Старший — мичман — сидел на КПП в отдельной комнате и от духоты разлагался.

Лейтенант вошел, и не успел мичман в себя прийти, как лейтенант вложил ему в ухо пистолет и сказал:

— Если твои придурки меня не пропустят, я кого-то здесь шлепну!

Мичман, с пистолетом в ухе, кося глазом, немедленно установил, что обстоятельства у лейтенанта, видимо, вполне уважительные и в порядке исключения можно было бы ему разрешить пронести документы.

Когда лейтенант исчез, с КПП позвонили куда следует.

Командующего на месте не оказалось, и лейтенанта вызвал к себе начальник штаба флотилии.

Лейтенант вошел и представился, после чего начальник штаба успел только открыть свой рот и сказать:

— Лейтенант...

И больше он не успел ничего сказать, ибо в этот момент открыл свой рот лейтенант:

— Я сопровождаю секреты! По какому праву меня останавливают? Для чего мне дают пистолет, если всякая сволочь может меня затормозить! Защищая секреты, я даже могу применять оружие!.. — и далее лейтенант изложил адмиралу порядок применения оружия, благо пистолет был рядом, и свои действия после того, как это оружие применено. А пачштаба, оцепенев спишой, очень внимательно следил за пистолетом лейтенанта — брык-тык, брык-тык, — а ртом он делал так: «Мяу-мяу!»

Вы думаете, лейтенанту что-нибудь было? Ничего ему не было.

И не было потому, что адмирал все-таки не успел сообразить, что же он должен в этом случае делать. Он сказал только лейтенанту:

— Идите...

И лейтенант ушел.

А когда лейтенант ушел, адмирал — так, на всякий случай — позвонил медикам и поинтересовался:

— Лейтенант такой-то у вас нормален?

— Одну секундочку, выясним! — сказали те.

Выяснили и доложили:

— Абсолютно нормален!

Тогда адмирал положил трубку и промямлил:

— Вот борзота, а? Ведь так на флот и прет, так и прет!

А блокаду с зоны, где лодочки наши стоят, скоро сняли. И командующего заодно с ней.

РАЗ! ДВА! ТРИ!

Сегодня пятница, раз! два! три! — командовал он себе. А люди идут навстречу и не знают, что он идет представляться по случаю назначения. А может быть, знают, может, догадываются. Вон как улыбаются. Лейтенант русского флота! — он улыбался всем подряд. Раз! два! три! Жена устроена у друзей. Она сегодня его проводила: почистила, помогла надеть парадную тужурку. И так будет всегда. Надо ее как-то поощ-

рить. Надо похвалить тот суп, который сегодня придется доедать. Раз! два! три! Левоу... левоу! Как там: «Товарищ капитан такого-то ранга! Лейтенант Самоедов представляется по случаю назначения на должность!» Не повезло с фамилией. Вои Витька Дубина — взял фамилию жены, и уже не Дубина. Отца жаль, а то бы давно сменил. Раз! два! три! Да ладно, все-таки Самоедов, а не какая-нибудь там «Околейбаба». Проходную он прошел без замечаний. Дежурный по заводу даже вышел из дежурки и показал, где стоит его железо. Вот что значит четко представился! А чего это они все улыбаются? Парадная тужурка? Кортик? Не надо было надевать кортик. Все жена: «Возьми, так красиво». Ничего. Кортик — это часть парадной формы одежды, а представляться надо по параду. Раз! два! три! Лодка дизельная, и он тоже «дизель». «Товарищ капитан такого-то ранга! Лейтенант Самоедов представляется...» Лейтенант Самоедов представляет, как надо представляться. Очень даже. Ну, Серега, держись!

Верхний вахтенный в фантастически грязных штанах наблюдал за ним не без интереса.

— Доложите: лейтенант Самоедов прибыл для дальнейшего прохождения службы!

— Не может быть! — воскликнуло переговорное устройство, когда в него доложили. — Бегу!

Через минуту наверх вылез небритый лейтенант с повязкой и пистолетом — дежурный; промасленный китель, воротничок расстегнут, подворотничок черный-пречерный, брюки никогда не глажены, пилотка засалена так, как будто по ней долго ездил бензовоз. Вот это воин!

— Ты, что ли, лейтенант Самоедов? — спросил «воин»: пилотка на носу, голова задрана, губы оттопырены, руки в карманах. — Да-а... ну, ты даешь... и кортик у него есть... Служить, говоришь, прибыл... в дальнейшем? — «Пятнистый» лейтенант обошел Серегу кругом. — Перспективный офицер! Офицер в перспективе! Папа-мама на флоте есть? Я имею в виду наверху, среди неубиваемого пачальства? Нет, что ли? Сирота-а флотская-я?..

Дежурный Сереге сразу не понравился. Герой-подводник. Чучело огородное. «Мама... папа...» Пришится — можно удавиться.

Серега смотрел волком.

— Случайно, не «дизель»? — продолжал «пятнистый» тоном недорезанного ветерана.

— «Дизель».

— Ро-ман-ти-ка... «Дизелей» нам просто не хватает.

— Случайно не знаете, где командир?

— Случайно не знаем. Здесь где-то обитает. Сам с пятницы ищут.

«Пятнистый» сдвинул пилотку на затылок и улыбнулся, отчего сразу же стал обычным человеком. В глазах у него плясали смешные чертики.

— Ладно, не обижайся, тебя как зовут?

— Серега.

— А меня — Саня.

Серега тоже улыбнулся и сразу же его простил. Долго дуться он не умел.

— Слышь, Серега, — как-то по-деловому заговорил «промасленный», — ну-ка сделай так руку.

Серега, ничего не понимая, «сделал». «Пятнистый» тут же натянул ему свою повязку по самую подмышку и подошел к переговорному устройству.

— Есть центральный!

— Объявите по кораблю: в дежурство вступил лейтенант Самоедов!

Потом он мгновенно снял с себя портупею и сунул ее Сереге, потом он снял у Сереги с головы фуражку, спросил у него: «Это что у тебя, фуражка, что ли?» — и поменял ее на свою пилотку.

— Слышь, Серега! — кричал он уже на бегу, лягая воздух. — Постой дежурным немножко! Я скоро! Минут через сорок буду! Помоюсь только! Тут недалеко!!!

— А где командир?! — не выдержал одиночества Серега.

— А черт его знает! — кричал уже за горизонтом «промасленный», подпрыгивая, как сайгак. — Неделю стою, и никого нету! Я скоро буду! Не бойся! Там все отработано!.. До безобразия! Давай!!!

Пришел он в попедельник.

Святое дело. Раз! два! три!

ПОСЛЕ ЛЮБВИ

Человечество должно быть готово к тому, что военнослужащий может выпасть откуда угодно в любую секунду, особенно после любви.

В четыре утра курсант третьего курса Котя Жеглов, настойчивый, как молодая гусеница, полз домой — в родное ротное помещение — по водосточной трубе.

Котя возвращался из самовольной отлучки.

С трудом оставленные жаркие объятия делали его движения улыбочиво сытыми и заставляли со вздохом припадать к каждому водосточному колену.

Воркующий, ласковый шепот, волос душистые пряди, сладкая горечь губ; поспать бы чуть-чуть, чтобы снова вдохнуть эти пряди, и щебет, и горечь...

Еще немного, и Котя стал бы поэтом, но Котя не стал поэтом — на третьем этаже колена разошлись.

Сквозь застывшие блаженные губы Котя успел набрать очень много воздуха. В наступающем рассвете начертился скрипучий полукруг с насаженным сверху Котей. Так мухобойкой убивают муху.

После страшного грохота наступила тишь, и пыль, полетав, рассеялась. Среди остатков скамейки с каменной улыбкой навстречу солнцу сидел Котя и руками, и немножко ногами, сжимал кусочек водосточной трубы.

Отовсюду струился набранный Котей воздух.

Знаете, как было тяжело?

Нет, не с трубой. Ее отняли еще на операционном столе. С улыбкой было тяжело. Она никак не гасла сама.

Руками. Добрыми руками.

Она стиралась только руками.

Целую неделю.

БЕС

Иду я в субботу в 21 час по офицерскому коридору и вдруг слышу: звуки гармошки понеслись из каюты помощника, и вопли дикие вслед раздались. Подхожу — двери настежь.

Наш помощник — кличка Бес — сидит прямо на столе, кривой в корягу, в растерзанном кителе и без ботинок, в одних носках, на правом — дырища со стакан, сидит и шарит на гармошке, а мимо — матросы шляются.

— Бес! — говорю я ему. — Драть тебя некому! Ты чего, собака, творишь?

Бесу тридцать восемь лет, он пьянь невозможная и к тому же старший лейтенант. Его воспитывали-воспитывали и заколебались воспитывать. Комбриг в его сторону смотреть спокойно не может: его тошнит.

Бес перестает надирать инструмент, показывает мне дырищу на носке и говорит:

— Вот это — правда жизни... А драть меня — дральник тупить... Запомните... уволить меня в запас невозможно... Невозможно...

— Ну, Бес, — сказал я улыбаясь, потому что без улыбки на него смотреть никак нельзя, — отольются вам слезы нашей боеготовности, отольются... учтите, вы доиграетесь.

После этого мы выпили с ним шила*, помочились в бутылки и выбросили их в иллюминатор.

Наутро я его не достучался: Бес — в штопоре, его теперь трое суток в живых не будет.

ПИ-ИТЬ!

Автономка подползла к завершающему этапу.

На этом этапе раздражает все, даже собственный палец в собственном родном носу: все кажется, не так скоблит; и в этот момент, если на вас плюнуть сверху, вы не будете радостно, серебристо смеяться, нет, не будете...

Врач Сашенька, которого за долгую холостяцкую жизнь звали на экипаже не иначе как «старый козел», заполз в умывальник.

Во рту он держал ручку зубной щетки: Сашеньке хотелось почистить зубки.

* Шило — по-нашему «спирт» (морск.).

Сашенька был чуть проснувшийся: последний волос на его босой голове стоял одиноким пером.

В таком состоянии воин не готов к бою: в глазах — песок, во рту — конюшня, в душе — осадок и «зачем меня мать родила?». Жить воин в такие минуты не хочет. Попроси у него жизнь — и он ее тут же отдаст.

— Оооо-х! — проскрипел Сашенька, сморкнувшись мимо зеркала и уложив перо внутренним займом. — Где моя амбразура...

Хотелось пить. За ужином он перебрал чеснока, перебрал. В автономке у всех бывает чесночный голод. Все пажираются, а потом хотят пить.

«Чеснок — это маленькое испытание для большой любви», — некстати вспомнил Сашенька изречение кают-компаний, потом он вытащил изо рта ручку зубной щетки, плюнул в раковину плевральной тканью и открыл кран.

Зашипело, но вода не пошла.

— Ну что за половые игры? — застонал Сашенька и рявкнул: — Вахта!

Вахты, как всегда, под руками не оказалось.

— Проклятые триумные. Вахтааа!!!

Что делает военнослужащий, если вода не идет, а ему хочется пить? Военнослужащий сосет!!! Так, как сосет военнослужащий, никто не сосет.

Сашенька набрал полный рот меди и скользко зачавкал: воды получилось немного.

— Ну, суки, — сказал Сашенька с полным ртом меди, имея в виду триумный дивизион, когда сосать стало нечего, — ну, суки, придете за таблетками. Я вам намажу...

Это подействовало: кран дернулся и, ударив струей в раковину, предательски залил середину штанов.

Черт с ними. Сашенька бросился напиваться. Вскоре, экономя воду и первы, он закрыл кран и приступил к зубам.

Хорошо, что нельзя наблюдать из раковины, как чистятся флотские зубы. Зрелище неаппетитное: шлепающий рот удлиняется белой пеной, все это висит... В общем, ничего хорошего.

Монотонность движения зубной щетки по зубам убаюкивает, расслабляет и настраивает на лирический лад. Сашенька мурлыкал орангутангом, когда ЦГВ — цистерна грязной воды — решила осушиться. Бывают же такие совпадения: полный гидрозатвор сточных вод, с серыми пиями всякой дряни, вылетел ровно на двадцать сантиметров вверх и, полностью попав в захлопнувшийся за ним рот, полностью вышел через поздри.

Чеснок показался лапдышами. Сашенька вышел из умывальника, опустив забрало. Первого же, так ничего впоследствии и не понявшего трюмного он замотал за грудки.

— Ну, ссу-киии, — шипел он гадюкой, — придите за таблетками. Я вам намажу. Я вам сделаю...

И все? Нет, конечно. Центральный все это тут же узнал и зарыдал, валяясь вперемешку.

— Оооо, — рыдал центральный, — полное йеб-лоооо.....

КАК Я ДОБЫВАЛ САМОЛЕТЫ

Я их добывал летом в Мурманске. Летом из Мурманска улететь было невозможно. За полгода в нашем поселке составлялись какие-то списки, люди ходили на переключки, отмечались. А я не ходил. Я сразу ехал в аэропорт, где в тот момент стояло, сидело, шлялось, лежало на стульях трое суток подряд двести человек с детьми и кошелками. И все они хотели улететь. Куда угодно. Хоть в Ташкент, хоть в Караганду. И я хотел. Я записался двести первым и при этом спросил, не пробовал ли кто-нибудь выбить дополнительные рейсы, на что все рядом гнусно захихикали и предложили мне этим заняться. А я сказал, что могу заняться немедленно, если они мне пообещают, что в случае удачи я улечу первым. И они пообещали, а я напра-

вился к начальнику смены, прихватив с собой несколько болельщиков.

Начальник смены был похож на высохшую выдру, которая мечтает о воде в грязной клетке.

И я к нему обратился. Я спросил, почему у них такое напряжение с рейсами. Почему заранее не планируется сезонное перемещение людей, почему из года в год не прогнозируется ситуация.

— Жалуйтесь куда угодно, — сказал он мне выцветшим голосом.

— Ага! — сказал я и для начала записал в его жалобной книге все, что я думаю об «Аэрофлоте», аэропорте, об их буфете и о нем лично. Потом я передал этот напряженный документ своим зрителям, и они в нем тоже вдоволь напачкали.

После этого я позволил в ЦК. Наш народ в начале 80-х был невероятно труслив. Он готов был спать на полу, но только чтоб не звонить в ЦК. А я позвонил. В зале ожидания была почта и переговорный пункт. Я зашел, открыл дверь телефонной кабины, чтобы всем было слышно, набрал код Москвы, потом справочную, и девушка мне рассказала, как позвонить в ЦК.

ЦК, казалось, только сидел и ждал, когда я им позвоню, и голос у них был такой бархатный, что дальше некуда. И я им поведал, что пахожусь в Мурманске, в аэропорту, и что вместе со мной здесь двести человек, которые тоже хотят улететь и потому просят дополнительных рейсов.

А они нам заметили, что они этим не занимаются.

А я им заметил, что они теперь только этим и будут заниматься, потому что я сейчас пошлю телеграмму Брежневу, Леониду нашему Ильичу, и в партийный контроль — Арвиду Яновичу Пельше.

А вокруг меня слушают с замороженными лицами, и одуревшая девушка-телефонист нас, конечно же, заложит сейчас по всем статьям.

А я неторопливо беру бланк телеграммы и медленно пишу: «Москва, Кремль, Це-Ка, Брежневу и тырыпыры», а копию направляю министру гражданской авиации, чтоб он знал, куда на него наступали, подписываю и пускаю телеграмму по кругу, чтоб все ее тоже подмахнули и не забыли данные паспорта и адреса.

Вы знаете, наши люди только и мечтают, чтоб кто-нибудь пришел, вдохновил и возглавил безобразия, а они уже, вдохновленные, всё тут вокруг разнесут по кочкам.

Через десять минут у меня была телеграмма толщиной с батон, и напоминала она египетский папирус, потому что пришлось подклеить два десятка бланков, чтоб поместились все желающие.

Когда я читал ее, честное слово, было очень трогательно. Люди писали свои адреса, телефоны, немножко от себя и о себе. Они собрали по рублю, потому что телеграмма получилась колоссальной, а когда телефонистка спросила: «Передавать все?», — я сказал: «А как же!» — и она передала, а рублей у меня было столько, что я мог в Чикаго улететь.

Потом я позвонил в ЦК и проверил, дошла ли телеграмма. Оказывается, дошла. Что тут началось! Девушка-телефонист-почтальон все время бегает, на месте не сидит, приехал начальник аэропорта, все возбуждены и взбудоражены, работа кипит.

Вы знаете, вся эта катавасия занимала у меня обычно часа полтора. За это время успеваешь вдоволь налюбоваться на судороги организованного труда.

Скоро прилетело два самолета.

— Командир! — кричали мне. — Как договорились, ты заходишь первым!

— Нет! — говорил я. — Первыми заходят женщины и дети, потом увечные, больные, косые, горбатые, а потом уже командир.

И мы улетели в Ленинград, оставив на земле Мурманск, аэропорт и его дохлые елки.

НЕПРОШИБАЕМОСТЬ

Непрошибаемость создается так.

Слушая, никогда не спешите с ответом, внимательно изучите лицо собеседника, начните со лба, плавно сползите на нос, потом — щеки, губы, подбородок. Подумайте о том, как он все-таки стар, суетлив, не-

свеж, излишне возбужден, излишне жалок, мелок. Во-он морщинка у него побежала, вот еще одна. Ваше лицо примет выражение участия, живейшего интереса. Вот теперь самое время ему отказать.

ШИШКА

Север-лето-сопки-залив-утренняя-свежесть.

И не просто свежесть, а четыре утра, солнце светит где-то сбоку, розовые блики, вода.

К плавпирсу подползает подводная лодка — привезла комдива. Вообще-то он сегодня не ожидался, поэтому на пирсе суетится полуразбуженный дежурный (только лег, только уснул, его тут же подняли за шиворот, поставили на ноги, испугали: крикнули в ухо: «Комдив!» — и пошел встречать начальство).

Швартовщики с заторможенным лейтенантом: этих еле откопали, уже заводят концы, сейчас будет подаваться трап. Швартовщики — шесть человек плюс лейтенант — с сомнением берутся за трап, за эту тяжелую железяку, и долго тужатся, кричат, что называется «отрывают себе попку», — трап даже от пирса не отделяется. Никаких надежд. Только крутится на месте под надсадное кряхтенье: «Осторожно! Ноги! Ноги!»

Комдив с папкой под мышкой, стоя на верхней палубе почти прилипшей к пирсу лодки, наполняется нетерпением, распирает его, как надувную резину. Потом с непередаваемо презрительной гримасой он тянет:

— Ну-у?!

Это его «ну» бьет дежурного по лопаткам, как плеткой: он вгоняет голову в плечи и бормочет, может, швартовщикам, может, себе:

— Давайте, давайте, ну давайте...

— Дайте мне палку! — чеканит комдив с неопи-сываемым лицом.

Ему подают «палку» — узенький деревянный трапик без поручней, по нему прокладывают концы питания с берега. Комдив ступает на него брезгливо, но с первым же качком, изменив лицо, осторожно, не загреметь бы, лезет, и тут... трапик неожиданно так... наклоняется... и комдив руками и чем попало... балансирует-балансирует на самой кромке... сохраняет, можно сказать, с папкой... Те, что на пирсе, ртами-руками на цыпочках невольно повторяют за ним каждое дурацкое движение: взмах — комдив взмахнул — еще взмах — туда-сюда, туда-сюда — тысяча легкомысленных движений тазом на жердочке... Потом он медленно начинает валиться, и матрос-швартовщик не выдерживает, непроизвольно дергает рукой, чтоб как-то помочь, и легость (это штука такая на веревочке, ее привязывают к швартову, потом бросают на пирс, там ловят и вытягивают швартов) ...и легость — она свинцовая, в оплеточке, — сорвавшись у него с руки, летит в зависшего над водой комдива и бьет его по макушке, по самой башке — бах!

— Ах! — ахает комдив и летит в воду.

На лету он все-таки хватается за убившую его легость и за веревку, его об пирс, как лягушку, — бямс! — еще раз — бямс!

И тут все очнулись, набежали-затоптались, «держи-тащи!» — дернули, чуть руку ему не оторвали, и вытащили на пирс.

С комдива льет ручьями: успел водичку черпануть. Ему подают фуражку: ее уже выловили. Он задумчиво ее надевает. Из-за огромной шишки фуражка вертится на голове, как сомбреро на колу. Перед ним за чем-то ставят убившего его матроса. У того в глазах страх в сочетании с готовностью умереть за Отечество. Комдив делает рукой «уберите», матроса убирают. Только теперь комдиву становится больно, и он, схватившись за голову, сморщившись, сосет сквозь зубы:

— Ууууу-й! Ссссс-у-ка!

Дежурный, встрепенувшись, будто комдивское «сука» относится именно к нему, в готовности к немедленному действию бодро произносит:

— Разрешите доложить план на сегодня!

— А что, на сегодня еще что-нибудь есть?..

— Есть...

— Потом, — говорит комдив, лаская свое уродство, — у меня сейчас личность не в порядке...

Комдив отъезжает. На пирсе остаются: дежурный, заторможенный лейтенант, свора матросов и застывшее солнце.

ВАСЬКА

Ваську в автономку взяли маленьким котенком. За три месяца он превратился в огромного котичу: то ли поля магнитные на него подействовали, что он так вымахал, то ли радиация, то ли еще что-то на него повлияло.

Во всяком случае, слухи о том, что кошки на атомных подводных лодках от полей дохнут, на примере Васьки не подтвердились — он толстел с каждым днем.

Крыс он ненавидел. У нас на лодке крыс было — племенное стадо. Раньше на атомоходах крысы не жили, но в один прекрасный период — просто заполонили их.

Когда Васька был еще совсем маленьким, его мичманы в каюте вместе с одной такой тварью заперли. Ужас что было: крыса гонялась за ним по всей каюте, но так и не догнала.

С тех пор Васька крыс очень не любил. Вырос и ежедневно давил.

У нас в автономке доклад командиров боевых частей и служб в 17.00 в центральном посту. Васька регулярно в это время являлся на доклад с очередной своей жертвой: выложит крысу перед командиром и ждет похвалы.

— Молодец, — скажет командир и добавит: — Вот, товарищи, смотрите, единственный, от кого я в авто-

помке вижу ежедневную отдачу, это наш кот Васька. Учитесь у него не беречь себя ради общего дела!

Ваську периодически запускали в отсеки на подволок кают: там крысы жили целыми прайдами. И началось убийство: Васька по неделям оттуда не слезал. Задавленных крыс он лично съедал и в конце автономки уже не влезал ни в какие ворота.

После автономки его вытащили на свет Божий, но он испугался, заорал, вырвался и убежал на лодку.

— Васька у нас, — говорили мы, — подводник. Никакого берега ему не надо.

Все хвалили Ваську и говорили, что он настоящий подводник.

В следующую автономку мы взяли для Васьки молоденькую кошечку: пусть хоть у одного настоящего подводника в походе баба будет.

И на доклад они вместе являлись, и дети у них пошли...

ВИТЮ НАШЕГО...

За борт смыло! Правда, не то чтобы смыло, просто перешвартовались мы ночью, а он наверху стоял, переминался, ждал, когда мы упремся в пирс башкой, чтоб соскочить. А наша «галоша» сначала не спеша так на пирс напоззала-напоззала, а потом на последних метрах — КАК ДАСТ! — и все сразу же на три точки приседают, а Витенька у нас человек мнительный, думает и говорит он с задержками, с паузами то есть, а тут он еще туфельки надел, поскольку к бабе душистой они собрались, мускусом сильным себя помочив, — в общем, поскользнулся он и, оставляя на пути свои очертания, по корпусу сполз — и прямо, видимо, в воду между лодкой и пирсом, а ипаче куда он делся?

А ночь непроглядная, минус тридцать, залив парит, то есть лохмотья серые от воды тянутся к звездам, и

где там Витя среди всей этой зимней сказки — не рассмотреть. Все нагнулись, вылупились, не дышат — неужели в лепешку? Все-таки наша «Маша» — 10 тысяч тонн — как прижмет, так и останется от тебя пятно легкосываемое.

Остороженько так в воздух:

— Витя! Ви-тя!

От воды глухо:

— А...

Жив, балясица, чтоб тебя! Успел-таки под пирс нырнуть. Все выдохнули: «Ччччерт!» А помощник от счастья ближайшему матросу даже в ухо дал. Живой! Мама моя сыромороженная, живой!!!

Бросили Вите шкерт, вцепился он в него зубами, потому что судорога свела и грудь, и члены. Вытянули мы его, а шинель на нем ледяным колом встала и стоит. Старпом в него тут же кружку спирта влил и сухарик в рот воткнул, чтоб зажевал, как потеплеет.

Стоит Витя, в себя приходит, глаза стеклянные, будто он жидкого азота с полведра глотанул, а изо рта у него сухарик торчит.

Старпом видит, что у него столбняк, и говорит ближайшим олухам:

— Тело вниз! Живо! Спирт сверху — спирт снизу!

Витю схватили за плечи, как чучело Тутанхамона, и поволокли, и заволокли внутрь, и там силой согнули, посадили и давай спиртом растирать, и вот он потеплел, потеплел, порозовел, и губы зашевелились.

— Я... я... — видно, сказать что-то хочет, — я...

Все к нему наклонились, стараются угодить.

— Что, Витя... что?

— К бабе... я хо... чу... о... бе... ща... ал...

«Вот это да! — подумали все. — Вот это человек!»

— Андрей Андреич! — подошли к старпому. — Витя к бабе хочет!

— К бабе? — не удивился старпом. — Ну, пустите его к бабе.

И Витя пошел.

Сначала медленно так, медленно, а потом все сильнее и сильнее, все свободнее, и вот он уже рысцой так, рысцой, заломив голову на спину, и побежал-

побежал, спотыкаясь, бляя что-то по-лошадиному, и на бегу растаял в тумане и в темноте полярной ночи совсем.

ВИНОВАТ!

Бес до белых фуражек ходил в шапке. У нас белые фуражки когда начинаются? Первого мая? Ну вот! Первого мая он и переходил с зимней шапки на белую фуражку. Черную у него с камбуза увели. Комбрига просто подбрасывало, когда он видел этого урода.

— Бесовский! — орал комбриг. — Почему в таком виде?!

— Виноват, товарищ комбриг! — тараторил Бес.

— Где ваша черная фуражка?

— Нету, товарищ комбриг.

— Как это «нету»?

— Так, товарищ комбриг, с камбуза увели.

— Вы что, не офицер?

— Виноват, товарищ комбриг.

— Что «виноват», что вы из себя дурака корчите? Почему не купите новую фуражку? Что у вас, денег нет?

— Никак нет, товарищ комбриг, все пропил.

— Сволочь сизая!!! — орал комбриг.

— Виноват, товарищ комбриг.

— А-а-а!!! — вопил комбриг, и его вой, подхваченный ветром, посылался по Кронштадту, как прошлогодние листья.

НЕЧТО

Вечерняя поверка — пуднейшее занятие. Строй, перед тем как уснуть, стоит в кубрике, построженный в две шеренги. Старшина перед строем читает фамилии по списку. Каждый прочитанный должен выкрикнуть: «Я!»

В общем, скучища страшная, поэтому самые одаренные прячутся во второй шеренге.

Курсант Федя Кушкин стоял во второй шеренге и смотрел в затылок Петьке Бокову, по кличке Доходяга.

Доходяга держал руки не по швам, как это положено на вечерней поверке, а скрестил их у себя сзади.

Федя Кушкин от скуки посмотрел в эти руки. Правая ладошка у Доходяги была сложена так, словно просила, чтоб в нее что-нибудь вложили.

Федя смотрел в эту руку и думал, что бы в нее вложить. Вскоре Федя придумал: он улыбнулся, расстегнул клапаны флотских брюк, вытащил из них всем нам понятно что и вложил его Доходяге во влажную ладошку.

Доходяга, почувствовав в руке нечто большее, чем просто ничего, вытаращил глаза и оживился. Оживившись, он сжал в руке Федино нечто так, что Федя заорал сильно.

— В чем дело, — вскинул голову старшина, — ну?

— Боков! — заметил старшина что-то. — Ну-ка, выйди из строя.

И Доходяга вышел из строя, ни слова не говоря, мелкими шажками, но он вышел не один. Такими же шажками, таким караваном, он вывел за собой одареннейшую личность — Федю Кушкина, — держа его за нечто.

КОЛОКОЛЬЧИКИ-БУБЕНЧИКИ

В совместном проживании двух военно-морских семей в одной двухкомнатной квартире есть свои особенные прелести. Тут уже невозможно замкнуться в собственной треспутой скорлупе; волей-неволей происходит взаимное проникновение и обогащение и роскошь человеческого общения, которая всегда, поставленная во главу угла, перестает быть роскошью.

В субботу люди обычно моются. И в подобной квартире они тоже моются. Один из военно-морских

мужей влез в ванну, предупредив жену относительно своей спины: жена должна была прийти и ее потерять. Но поскольку жена должна была еще и приготовить обед, то вспомнила она о спине с большим опозданием. В это время в ванне был уже другой, чужой муж, который тоже дожидался, когда же придут и потрут, а ее собственный муж в это время уже лежал на диване весь завернутый и наслаждался комфортом.

Комфорт — это такое состояние вещей и хозяев, когда телевизор работает, ты дремлешь на диване, а на кухне, откуда тянет заманчивым, кто-то погромычивает кастрюлями.

Дверь ванной открылась сразу же, и перед женой, оторвавшейся от жареной картошки, предстал намыленный розовый зад изготовившегося. Мужские принадлежности довольно безжизненно висели.

— Эх вы, колокольчики-бубенчики, — воскликнула повеселевшая жена и, просунув руку, несколько раз подбросила колокольчики и бубенчики.

Первое, что она увидела на мохнатой от мыльной пены повернувшейся к ней голове, был глаз. Огромный, чужой, расширенный от ужаса непамыленный глаз.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ?

Да с крика, конечно же.

И даже не с крика, а с воя какого-то. И будто воет не одна, а сразу триста бешеных собак.

Тактическая обстановка: ты с полным чемоданом различной формы одежды прибыл служить, кричат не на тебя, но в твоём присутствии, и с непривычки кажется, что кричат все-таки на тебя.

— Вас надо взять за шкуру!

И окупить в пиц-с-з-дууу!

И чтоб вы там до дна достали!

И чтоб вас сверху накрыло!!

Всеми ее тухлыми лепестками!!!

А чуть поодаль происходит следующий неприметный разговор:

— Ах ты, тля неторопливая! Ты что ж, думаешь, если я здесь вот так хожу, то, значит, я ничего не вижу, а?! И не делайте так пожкой, будто у вас сифилис и поэтому вам все прощается!

После этого я подумал:

— Все, Саня, теперь ты здесь долго жить будешь...

МАТЕРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ПРИЗОВОЕ ТРАЛЕНИЕ

На призовое траление должна прибывать комиссия. И комиссия прибыла: целая свора вместе с адмиралом. И на полном серьезе: одни мину ставят, другие ее тралят, а комиссия отслеживает.

К комиссии в день приезда приставили человека для обеспечения, и она тут же обпилась шила и обожралась тут же, конечно, консервов. Закусили и перестали соображать. А на другой день боевое траление. На приз.

Только где ж ее в океане найдешь, мину-то! Командир тральщика, который должен тралить, говорит тому, кто должен для него мины ставить:

— Ты, слышь, хлебчик-то там привяжи, ладно?

— Ладно.

Хлебчик — это такая штука, ее из пенопласта можно сделать, ее привязывают за шкертик к поставленной мине, и он плавает по поверхности океана и обозначает мишную связку так, что его в волнах не видно, а в тромбон наблюдается. Тромбон — он что твой перископ с пятнадцатикратным увеличением: мышь не проскочит.

Посмотрел командир дивизиона тральщиков в тромбон и вспотел: дверь посреди океана плавает. Хлебчика у них, у сук, не нашлось, так они дверь где-то оторвали и к мине присобачили. Вот... гоцдоны! И шкертика еще у них не хватило, и встала у них дверь в море раком, и волна об нее хлопает, и на всю округу разносится — бум! бум! Вот... гоцдоны, а?!

Комдив оторвался от тромбона и повернулся к тому, кого к комиссии приставили:

— Где эта вониючая комиссия?

— В кают-компани.

— Жрут?

— Жрут.

— Пока они ползают еще, ты им шильца-то добавь, плесни им, родной, шила и закупочки, закупочки непременно сообрази, — говорит комдив и подзывает к себе коруца — рейдовый тралец.

На тральце командиром лейтенант.

— Эй, убоище, ну-ка давай, дуй сюда!

Корунд подскочил.

— Так, лейтенант, дверь видишь?

Лейтенант кивнул.

— Давай, тихо сыпь до двери и выдернешь ее, понял?

Корунд «посыпал» до двери. У него не винты, а такие лопухи, что сыпать нечего — мигом был. Он тебе дернет.

Лейтенант зааркачил дверь и к а к д е р н у л!.. И миша, с трудом поставленная, всплыла. Мины у нас старые, 1908 тире 1936 года рождения, вот мишреп-то и оторвался.

Комдив посмотрел в тромбон, увидел все это безобразиие и говорит с оттяжкой:

— Ну-у, лей-те-нан-т... ну-у, лей-те-нан-т... ну, гадю-ка... ну, козел... ну, туши лампу... ублюдок... ну... ну-у (Матильда-Бартоломео-Медичи...) ну, фейсом об косяк... ну, сделал...

— Эй, — обернулся он к тому херу, что к комиссии приставлен, — комиссия еще не обтрескалась там?

— Да нет еще...

— Ну, ты им графинчик-то еще добавь. Организуй им еще графинчик. И закусочки еще сообрази. Пусть жрут, пока не обпишутся.

— Сделаем...

— Лейтенант! — заорал комдив, когда лейтенант на корунде подскочил поближе. — Ты чего, собака, творишь? Ты чего творишь, ухлебок! Думать надо, лейтенант! Соображать! Вот этой самой едой, что у тебя вместо головы! Ты чего там оторвал? Ты чего оторвал, вентиль тебе в грызло! Чего у тебя там вместе с дверью всплыло! ЖИ-ВА!!! Немедленно взять ее на борт! Понял?

Лейтенант кивнул.

— Ну, смотри, лейтенант, и смотри внимательно. Когда мы те две оставшиеся подрежем, ты зайдешь сбоку и эту тоже бросишь. Понял? Нужно, чтоб три мины всплыло. Три. Ясно? Для комиссии. Понял?

Лейтенант еще раз кивнул. Ему стало все ясно. Что может быть проще? Он зааркачил всплывшую мину и втащил ее к себе на борт.

Комиссию вывели наверх подышать, поддерживая за подтяжки: только они падать, их за подтяжки — раз! — и в вертикальную сторону. А в это время протралили, мины все подрезали, и они всплыли как положено. Две штуки. И тут еще одна всплывает. Откуда она взялась — черт ее знает. Район-то старый, может, старая какая всплыла.

Пока эту новую мину наблюдали, лейтенант думал, бросать еще одну или не бросать. Потом решил все же бросить, как велели. Зашел и бросил. Ставили три мины, а выловили четыре.

— Убыю лейтенанта, — сказал комдив, — убыю гада безмозглого. Зарежу! Разнесу в мелкий винегрет. Порву в клочья...

Адмирал из комиссии: маленький, старенький, пьяненький, смотрит себе под пожки, бровки у него вверх ползут, а зрачки при этом не спеша стекают сами, направляясь к кончику носа, и еще качает его — туда-сюда, туда-сюда.

Ему показывают на мины и говорят:

— Товарищ адмирал, ставили три мины, а всплыли четыре. Четвертую еще захватили. Район-то старый, товарищ адмирал, вот они и всплывают...

А адмирал как-то покорно так обмяк весь, уставясь в точку, и говорит:

— Ну... всплыла и... всплыла... ну, захва-ти-ли... ее... ну... а шило-то у тебя есть?.. еще...

— Есть!!!

Лейтенанта потом доставили к комдиву, естественно, когда все улеглось.

— Лейтенант, — сказал ему комдив устало, — ну, ты хоть сейчас понимаешь, что ты — ублюдок? Ты хоть отдаешь себе отчет в том, что ты — ублюдок? Ты хоть представляешь себе или до сих пор не представляешь? Что это такое? Чего ты сегодня творил? Обурел в корягу?

Лейтенант представил себе все это еще разочек и "обурел в корягу" — пошел и назюсюкался до бесчувствия, просто штанцы спадали. Явился он на КПП, а там его не пускают. Новенький он был, лейтенант, только из училища, к нему на КПП еще не привыкли.

— А я, — сказал лейтенант кэпэпэшникам, — проверяющий... из... шта-ба... базы...

Кэпэпэшники как только это услышали, так столбняк на них и пашел, и они пропустили лейтенанта в бригаду.

Ночью комдива подняли с постельных принадлежностей и сказали ему, что у него проверяющий из штаба базы два часа уже по пирсу шляется, и где только он уже не был, и чего только он там не обнаружил — во всех мусорных ящиках побывал. А теперь они отправились на корабль.

— Кто это «они»? — спросил комбриг спросонья.

— «Они» — это проверяющий, — сказали ему, издаваясь.

Комбриг надел подштанники и помчался.

— Где проверяющий? — полетел он на кэпэпэшников.

— А вои там, на корабль зашел.

Комдив влетел на корабль.

— Где он?! — спросил он у вахтенного.

— Он? — сказал вахтенный. — Вои...

Лейтенант лежал в каюте без чувств.

Не будем говорить о том, что орал комбриг, когда его обнаружил; он еще бил по койке ногой. Лейтенанту было все равно, он ничего не слышал, только тело его от этих ударов подпрыгивало. Лейтенант был без памяти, отравившись, зараз столько скушав, и воющий храп его разносился по кораблю до самого обеда.

«МАЗАНДАРАНСКИЙ ТИГР»

Командира звали «Мазандаранский тигр». Он принял нашу курсантскую роту как раз в тот день, когда в клубе шел фильм с таким названием.

Угрюмое, дырявое от оспы лицо, серые колочие глаза. Освети такое лицо снизу в полной темноте фонариком, и с ним можно грабить в подъездах. Когда он начинал говорить, щеки и подбородок у него подергивались, брови залезали наверх, оловянные глаза смотрели поверх голов, а верхняя губа, вздрагивая, об-

нажала крупные клыки. Мы обкакивались на каждом шагу.

Голос у него был низкий, глубокий, говорил он медленно, чеканно, по слогам, подвывая. «Я пят-над-цать лет ка-пи-тан-лей-те-нант!» — любил повторять он, и мы за это его называли «Пятнадцатилетним капитаном».

Кроме этой устная газета «Гэльюн Таймс» наградила его кличками «Саша — тихий ужас», Кошмар и «Маниакальный синдром»; дневальные, оставаясь с ним один на один в пустом ротном помещении, когда все остальные уходили на занятия, страдали внутренними припадками и задержками речи. Им полагалось встречать командира, командовать «смирно» и в отсутствие дежурного (а те любили смываться) докладывать ему: «Товарищ капитан-лейтенант! Во время моего дежурства происшествий не случилось!»

В это время Тигр, приложив руку к головному убору, обшаривал стоящее перед ним «дежурное тело» злым, кинжальным взглядом.

Попадать ему во время доклада глазами в глаза не рекомендовалось. Могло наступить затмение. Можно было поперхнуться, заткнуться, и надолго.

Поперхнувшись было совсем плохо. Тягостное молчание друг перед другом с поднятыми к головам руками прерывалось только горловыми взбулькиваниями растарашенного дневального (у него непрерывно шла слюна) и могло продолжаться до обморока.

Дневальные переносили обморок стоя, привалившись к столу. У нас это называлось «отмоканием».

С тоской сердечной я ждал своего первого дневальства и, когда оно наступило, со страхом прислушивался к шорохам на лестнице. По лестнице должен был подняться он — Тигр. Вокруг тишина и слуховые галлюцинации, наконец отчетливо стали слышны шаги и покашливание, потом — сморкающиеся звуки. Идет! Дверь распахнулась, и я шагнул как с пятиметровой вышки.

— Смирно! — истошно заорал я, чуть вращая от усердия головой. — Товарищ капитан-лейтенант...

Тигр не слушал рапорта и, слава Богу, не смотрел в глаза.

— Вольна-а... — и тут раздалось: — Возь-ми-те го-ляк... (думаю: Господи, а что это?) и об-рез... (мама моя, а это что?) и у-бе-ри-те э-т-о го-в-но на а-л-ле-е... (слава Богу, понятно).

Но дивеальный не имеет права покидать столик. Мое мешканье не ускользнуло от Тигра. Он начал медленно, с живота поднимать на меня глаза, и пока он поднимал, у меня внутри все становилось на цыпочки и отрывалось, становилось и отрывалось.

Брови у Тигра полезли вверх. Мои брови ему навстречу сделали то же самое. Теперь он смотрел мне в глаза. Не в силах оторвать от него зачарованного взгляда, теплым от ужаса голосом я прошептал:

— А...х... у сто-ли-ка кто будет стоять?

Глаза у Мазандаранца вылезли, и я наполнился воздухом, а он зашипел, приседал головой; лопнуло! прорвалось! загрохотало!

— С-сы-то-лик?! Мо-ли-к?! Едри его мать! Я буду стоять! Я!

Я бросился в дверь, прогрохотал по лестнице и еще долго-долго посылся по инерции по аллеям. Без памяти, без голяка и без обреза. Я готов был руками, руками убирать это говно!

Только когда аллеи начали повторяться, я начал ображать. Потом я отправился искать то место, где успели пагадить.

О, ужас! Я его не нашел.

ЗА СУПОМ

Лодка, всплыв, легла в дрейф. В центральном посту в креслах полулежали вахтенные, и наслаждались эти вахтенные свежим и вкусным морским воздухом.

Тем, кто никогда не лежал в креслах в центральном посту, никогда не узнать настоящий вкус свежего морского воздуха.

Лодка вентилировалась в атмосферу, а значит, все лежали и похали.

Время было послеобеденное, а в это время, предварительно напыхавшись, все мечтают только лечь и уснуть впрок.

Был полный штиль, а это самое приятное, что может быть для всплывшей дизельной подводной лодки.

В штиль никто не лежит рядом с раковиной, не стонет в каюте, не обнимает полупорожнюю банку из-под сухарей.

Штиль — это блаженство, если блаженство вообще возможно на военно-морском флоте.

На мостике стояли командир и старпом. Командир и старпом курили. У командира на лице висело президентское презрение ко всему непрезидентскому. Старпом курил с недоделанным видом. То есть я хотел сказать, что он курил с видом недоделанной работы, а вокруг стоял жаркий летний полдень; морскую поверхность то и дело вспарывали стаи летучих рыб, которые стремглав от кого-то удирали, и все было хорошо и спокойно, и тут вдруг...

— Это что за чудище?! — воскликнул командир: из глубины пять полутораметровых акулят выгнали громадную черепаху, покрытую водорослями и прилипалами.

Они погнали ее прямо на лодку, на ходу покусывая за лапы.

Командир почувствовал в черепахе черепаховый суп, и это его сильно взволновало. Он толкнул старпома в плечо и закричал:

— Быстро! Там, быстро!

Такую удивительно содержательную команду нельзя было не понять. Старпом бросился и там нашел автомат и связку «противодиверсантских» гранат.

— Давай! Давай быстро! — орал командир.

Старпом размахнулся и «дал быстро» — бросил в воду гранаты.

Акулята на секунду оставили черепаху в покое и кинулись к гранатам. Проглотить они их не успели — раздался взрыв, и, сверкнув брюхами, пять рыбин стали медленно оседать в глубину.

Черепаха скреблась окровавленными лапами о корпус лодки. Я бы сказал, что о корпус лодки скребся черепаховый суп.

— Давай! Давай! Давай! — подпрыгнул командир от нетерпения, обращаясь к старпому, и старпом «дал» еще раз: обвязавшись страховочным концом, он бросился в воду.

На противоположном конце этого конца как поволшебному возникла швартовная команда. Швартовщики готовы были тянуть в любую секунду.

Старпом подплыл к черепахе и, вцепившись ей в панцирь, принялся ногами отрабатывать задний ход. Зрелище было чудесное.

— Тя-ни-те! — крикнул он, повернув покрасневшее от натуги лицо.

Неизвестно, кто услышал команду первым, только старпом, дрыгнув ногами в последний раз, погрузился в воду вместе с нырнувшей двухсоткилограммовой черепахой. Необычная прилипала ей совсем не мешала.

Швартовщики дружно потянули. Они готовы были порвать старпома пополам, но не уступить.

Казалось, старпома тянули бесконечно долго. Вахтенный офицер, засекавший время для истории, потом клялся, что старпом пробыл под водой целых четыре минуты.

Когда швартовщики достали старпома, непорванным на борт, в руках он судорожно сжимал обрывки черепаховых водорослей.

Старпом очень сильно тарачился и широко разевал рот. Его спросили:

— Ну как там?

На это он только слабо махнул рукой.

Жаль, жаль, что супа не получилось, но зато хоть старпома достали, а это по нынешним временам уже немало.

КОМБАТ И ДИМА

Лейтенант Каблуков Дима был редкая сволочь в сочетании с политработником.

Его только что назначили в роту отдельного батальона воинов-строителей замполитом, но майор-комбат его ни в грош не ставил и в упор не видел.

Вот и в этот понедельник он отменил Димины политзанятия и погнал личный состав на хозработы, не-

лестно выразившись насчет Димы лично, и всяких там попов обалдевших, и их отупевшей от безделья поповщины.

— Надо работать, а не языками чесать! — орал майор. — Задолбали в смерть! Ля-ля-ля, ля-ля-ля! Чего вылутился, прыщ на теле государства, ты думаешь, мы на твоей болтовне в светлое будущее попадем? Прислали тут на мою голову, выучили...

Дима не стал дальше слушать, кто там и на чью голову выучился, и тут же, при нем и при дежурном по части, покрутил ручку телефона и попросил соединить его с начпо.

Обычно это трудно сделать: дозвониться во Владивосток, там пять с половиной часов езды по нашей железной дороге, но тут соединили на удивление быстро, и Дима сказанул в трубку буквально следующее:

— Товарищ адмирал! Здравия желаю! Докладывает лейтенант Каблуков, замполит роты. Товарищ адмирал, тут у меня комбат совсем чокнулся. Отменил политзанятия и погнал людей на работы. Нехорошо отзывался о политработниках, товарищ адмирал. Но партия и политотдел для того и существуют, чтоб таких вот чапаевых ставить в строй. Вы нам сами об этом говорили, товарищ адмирал. Комбата к вам? На беседу? Завтра в пятнадцать часов? Есть, товарищ адмирал! Разрешите положить трубку!

Дима с видимым удовольствием положил трубку, повернулся к комбату и вежливо сказал:

— Свистуйте в политотдел, товарищ майор. Начпо вас вызывает завтра к пятнадцати часам.

После этого он ушел проводить политзанятия.

Дежурный по части окобурел. Майор-комбат — тоже. Такого подлежа от этого щенка он не ожидал.

Майор напрягся, пытаясь извлечь из себя что-либо приличное моменту, зверски расковырял себе ум, но ничего не придумал — так силен был удар, — он сказал только:

— Ах ты, погань! — и пошел готовить себя к начпо.

Весь день у комбата все валилось из рук. Ночью он не сомкнул глаз. В шесть утра комбат сел в утренний поезд. Пять с половиной часов езды до города Владивостока он посвятил напряженным думам: как вывер-

путься, что врать? О лютой и человеконенавистничестве начпо он был наслышан и хорошо знал, что чем ничтожнее повод, тем тяжелее могут быть последствия.

Выйдя из поезда, комбат окончательно пал духом. Не помня как, он добрался до штаба и три часа болтался под окнами.

В пятнадцать часов он прошел в приемную начпо. Выждав длинную очередь различных просителей, он зашел в кабинет и представился:

— Товарищ контр-адмирал, майор такой-то по вашему приказанию прибыл.

Начпо оторвал от бумаг злые глаза и взглянул на комбата своим знаменитым пронизывающим взглядом, под которым человек сразу же вспоминает все свои грязные делишки, вплоть до первого класса средней школы, и холодно промолвил:

— А я вас и не вызывал, товарищ майор.

Пятясь задом, комбат исчез из кабинета и несколько минут в приемной думал только одну думу: как все это понимать?

Скоро до него дошло.

— У, сукин кот! Убью, гадом буду, убью!.. — и далее комбат, обратясь к египетской мифологии, снабдил Диму такими родственниками, что и в кошмарном сне не привидятся.

Всю обратную дорогу комбат посвятил идиотизму сложившейся ситуации.

Он собрал весь свой лоб в горсть и принялся думать: как при всем идиотизме сохранить себе лицо.

Через пять с половиной часов он вышел из вагона с болью. От сильных раздумий он вывихнул себе разум. Он ничего не придумал. И не сохранил себе лицо: вся часть ржала неделю, стоя на ушах.

ГЛУХОНЕМОЙ

Начальству иногда становится нечего делать, и тогда оно, начальство, идет гулять, чтоб, скорее всего, послушать свой внутренний голос. Древние полководцы

гуляли только поэтому. И если во время прогулки начальству встретится подчиненный, оно будет мучиться и вспоминать: что же оно до подчиненного еще не довело.

И даже если оно не будет мучиться, все равно встречаться с начальством вредно.

Адмирал шел и думал о том, как все-таки мало осталось служить.

— А жаль, — буркнул он вслух, — сколько бы еще... наворотил.

«А впрочем, жить осталось еще меньше», — продолжал мыслить адмирал.

И в этот момент он увидел матроса, тот глотал слюну и готовился отдать честь.

Чужое волнение всегда бодрит. Адмирал почувствовал бодрость и захотел поговорить с народом.

— Почему не стрижен? — громко спросил адмирал и добавил почти по-человечески: — Как фамилия? Из какой части?

Матрос скривил запотевший рот, вытаращил глаза, судорожно повел руками, сунул палец в рот, зачем-то облизал его и загалкал — глухонемой.

— О Господи! Кого только не присылают на флот! — огорчился адмирал.

Ему как-то не хотелось сразу смириться с мыслью, что человек может потерять дар речи не от встречи с ним, а просто так — от рождения.

Он начал вспоминать, что ему известно из азбуки глухонемых, и ничего не вспомнил.

— Ну-ка, голубь, пойдём-ка, — сказал адмирал.

Он взял матроса за руку и повел за собой.

Адмирал привел его к себе в кабинет и усадил напротив. Помолчали.

«Интересно, чей он? — думал адмирал. — Нужно собрать всех».

И собрал всех своих подчиненных. Когда все расселись, он спросил у всех:

— Чей это матрос? — и ткнул пальцем в глухонемого.

Матрос тупо смотрел перед собой, чему-то улыбался и время от времени гукал.

Молчание подчиненных потихоньку надоело адмиралу. Он поднял каждого и спросил:

— Твой?!

— Нет, — ответил каждый.

— Посидим, — предложил адмирал, — может, вспомним?

Других предложений не поступило. Вспоминали до полуночи. С каждым часом все напряженней. Подчиненные ерзали на стульях.

«А-а, сволочи! — злорадствовал про себя адмирал. — Не нравится?»

Ровно в полночь матрос гукнул в последний раз, встал и сказал:

— Я из кочегарки. Мне на вахту пора.

Адмирал открыл свой самый злоедейский глаз и сначала пригвоздил им, а затем поднял съезжившегося начальника тыла.

— Врет! Он все врет! Своих всех знаю, — зачастил начальник тыла и прижал для чего-то руки к груди.

— А может, это диверсант? — предположили бдительные. Бдительные не спали — бдили.

«Идиоты», — покосился на бдительных адмирал, а вслух сказал:

— Очень может быть.

— Я ночью в кочегарке, а днем — сплю, поэтому меня никто не знает, — затараторил матрос.

— Понятно, — вздохнул адмирал, — поэтому-то ты и не стрижен. Всем ясно, почему он не стрижен?

— Ясно, — ответили все и как-то сразу поднялись.

— Сидите-сидите, — ядовито улыбнулся адмирал, — я еще не кончил.

Кончил он глубоко за полночь, когда прочно вса-дил в каждого чувство вины. Кончать в таких случаях особенно приятно.

— Ну и рожи у них были, — хмыкнул адмирал уже под одеялом, — о-от сволочи...

«ВОЛГА» ГЛАВКОМА

«Волга» главкома, а за ней еще штук пять со свитой окружили крыльцо, как стая акул зеленую черепаху.

Главком выполз. Его встретили, проорали: «Смирно!» — и повели по лестнице.

Кронштадтский центр подготовки молодого пополнения лизали неделю. Теперь всех разогнали по углам. Перед каждой дверью в каждое ротное помещение поставили задержанных начальников курсов, чтоб они открывали двери и представлялись. Они открывали и представлялись деревянными языками, сдерживаясь, чтоб от страха что-нибудь такое не заорать, соответствующее моменту.

Громадный Федя Кудякин по кличке Шкаф, начальник курса и капитан третьего ранга, стоял на втором этаже перед дверью в ротное помещение, расположенное как раз над тем крыльцом, где высадился главком.

Федю трясло от нетерпения: у него дрожали губы, руки, ноги, а мысли, совершив небольшую пробежку, как собаки на цепи, возвращались в голову.

Вот сейчас должен появиться главком, вот сейчас!

Федя в полуобмороке прислонился к двери, за которой все блестело, как у кота соответствующее место.

В лестничном пролете показалась голова в фуражке, послышалось старческое кряхтенье и шелест свиты:

— И д е т!!!

Судорожный вдох — и Федя мгновенно рванул дверь, распахнул ее и уже собирался вспомнить свою фамилию, как за дверью он увидел ее: гирию... 32 кило!

«Ччче-ерт! Носили по кубрику, обняв как маму, не знали, куда супуть, и оставили. Ну, Петров, пицунда мохнатая, я тебе сделаю!»

Федя схватил гирию одной рукой, надломился в спине со слезой, поднял ее и... выкинул в открытое окошко. Внизу что-то квакнуло — ладно, потом!

Федя успел-таки обернуться и представиться главкому. Главком ничего не заметил. Вот что значит быстрота!

Главком уже прошел мимо Феде, когда раздался этот вой. Выли из окошка. Выли так, будто скальп снимали. Некстати, черт! Федя поморщился.

Главком удивился, повернулся и посмотрел на Федю. Началось адмиральское разглядывание. Только наши адмиралы так рассматривают офицеров — запрокинув голову, как редкое насекомое.

Они лупоглазили друг друга до тех пор, пока Федя не выдержал:

— Товарищ адмирал флота Советского Союза, — пропел он, — разрешите разобраться?

— Разберитесь, — кивнул главком.

Федя чуть не выпал со всего маху, до того перегнулся через подоконник.

Гиря попала на «Волгу» главкома и прошла ее насквозь, а в ней сидел матрос-водитель и в состоянии хамского расслабления мечтал о демобилизации.

Гиря прошла у него перед носом, не задев ни капли. Матрос обгадил себя и все вокруг в радиусе пяти метров, выплеснув в окна. Потом он выполз из машины на карачках и, осознав, что жив, заорал как ненормальный.

ПО СТЕНОЧКЕ

Это был дым. Едкий, залезающий во все дыры, заполняющий и человеческий рот, если он встречается на пути.

Это дым. Точно. Он почуял его. По первой связке молекул, достигнувших тех бугорков, которые отвечают за обоняние.

В отсеке — пожар. Но почему он не слышал тревоги? Почему никто не бежал, не хлопал дверьми, не кричал? При пожаре всегда так кричат. Не мог же он проспать все это?

Мог. Но только в одном случае: пожар возник так внезапно, что все слипнули без тревоги. Растворились в один миг. Так бывает при объемном возгорании.

Глупости, при таком возгорании в отсеке съедается сразу весь кислород. И никуда ты не убежишь.

Что же тогда? Непонятно.

Пока ясно одно — центральный пуст. Он один, и нужно выбираться.

Все это пронеслось в голове за четверть секунды, еще через четверть он был на ногах.

Спокойно. Тихо. Только без дерготни. Значит, так: нужно отступить вглубь каюты — дым уже лезет в щели, но вдыхать еще можно, — там вдохнуть поглубже, и вперед. Есть еще время. А вот ПДУ* в каюте нет — уволокли, сволочи.

И тут он увидел, что на дерматиновом покрытии двери есть узоры — красивые цветы, — раньше не замечал, а теперь он вдруг захотел запомнить эти узоры. Запомнить, запомнить.

Брунда! Нужно взять себя в руки. Нужно так: вдох — и дверь в сторону; и посмотреть — есть пламя сразу за дверью или нет, а то с закрытыми глазами не очень-то в него сунешься. Потом зажмурился, если все хорошо, и шагай в дым, справа по борту дотянул до поручней перемычки ВВД, а там — и до переборочной двери: и посмотрим, что у нас с дверью. В запасе — минута. Ровно на столько хватит воздуха в легких. Всё! Полезли!

Ручка двери каюты холодная — значит, за дверью пламени нет. Только сейчас сообразил. Лишь бы дверь не заклинила. Рывок — поехала в сторону. За дверью стояло молоко — ни черта не видно, — и он, зажмурившись, шагнул в него. Дыхание он задержал уже вечность назад.

Ощупью до поручня, по нему дополз до двери. Вот она. Кремальера внизу — задраились. Он постучал по ней рукой — ему сразу ответили, — есть там люди, есть! Теперь вверх ее. Он нажал, но она не поддалась, мало того — обжалась, опустилась вниз. Не пускают, гады, не пускают. Ну, конечно, дым ползет к ним. Ну, теперь можно молотить в дверь руками и ногами, можно кричать, выпуская в этом бесполезном крике весь ненужный теперь воздух из легких!

И он закричал.

И проснулся. Тишина. Он лежит на верхней койке, в каюте, в отсеке. Это его каюта, его койка, его отсек. Он сразу узнал. Темно — в каюте нет света. Ни

* ПДУ — портативное дыхательное устройство.

звука, если не считать ровного гудения вентиляторов и того, что он дышит как паровоз и в висках работают упрямые молоточки.

Господи, неужели приснилось?

Послышались голоса. Они там, за дверью. Это спокойные голоса — перекликаются вахтенные. Они словно кулики болотные, будто говорят друг другу: «Все хорошо».

А вот и узоры на двери. Красивые. И до всего можно дотронуться. На все хватит времени. И он коснулся, потрогал. Ему было пужно. И руки патыкались на бугорки, порезы, заусенцы. А потом он вышел, дотянул по стеночке до холодного поручня и до скользкой на ощупь кремальеры. Он долго стоял у двери. Все вспоминал, вспоминал.

Навстречу полезли люди, и он их пропустил. Хотя это они не пускали его в отсек тогда, и он их тогда ненавидел. И кажется, он их и сейчас ненавидит. Ну, конечно. Их же можно схватить теперь за грудки и душу из них вытрясти. Даже кулаки сжались. Фу ты, Господи!

— Ты чего? — спросили его.

— Да так, — сказал он и рассмеялся.

ЧУТЬЕ

У нас командир три автономки подряд сделал. Не вынимая. Вредно это для организма, когда не вынимая. Сдвинуться в нем что-нибудь может, в организме.

У нашего командира, по-моему, сдвинулось: в середине автономки ему захотелось, чтоб все пели.

— Вы же не знаете ни одной строевой песни, — говорил он нам, командирам боевых частей, на докладах, — используйте время здесь, в автономке. Что вы на меня так уставились? Учите. Учите народ. Пусть народ поет. Нас по приходу могут проверить на знание строевой песни.

Потом командир приказал распечатать текст двух песен, по сто экземпляров каждую, и раздать народу.

И мы запели.

Пели мы целыми боевыми сменами, перед заступлением на вахту, боевыми частями пели и в одиночку...

Все-таки три автономки в год — это много.

Даже для командира.

По ночам кают-компания — этот рассадник антикомандирских настроений — потешалась:

— ...пу, теперь нам хорошо...

— Дождались...

— Наступили времена...

— А то я думал, чем бы занять мой пылающий мозг?!

— Песней. Теперь все будем петь. Ежедневные спевки.

— И кто хорошо споеет, того по приходу домой сразу отпустят.

— А чего вы смеетесь? По приходу нас запросто могут на песню проверить.

— Могут: у нас везде чудеса.

— Представляете? Бросим чалки, привяжемся, выйдем наверх, построимся, а нас уже ждут: пойте, говорят.

— А мы стоим и молчим. Нехорошо.

— Нехорошо. Действительно: пришли с моря и не поют. Непонятно.

— Молчат с моря. Безобразие-то какое!

— Сразу заинтересуются: почему молчат? Почему не поют? Что мешает петь? В чем причина непевия? Может, недовольные есть?

— Недовольные, выйти из строя. Шлепните их на торце пирса.

— А я предлагаю вообще начать петь заранее.

— Загодя... это хорошо...

— Как всплыли — всех свободных наверх в ватниках — и песню.

— А потом почию можно организовать: «В базу — с песней».

— Политотдел бы в потолок кипятком писал.

— В это воскресенье командир хочет устроить смотр-конкурс между боевыми сменами. Будет праздник песни. Как в Эстонии. Команде петь и веселиться!

— Интересно, доктор давно ли осматривал командира? По-моему, с ним происходят мутации.

— А лучше петь просто отсеками. А как будет звучать: «поющие отсеки»!

— А жюри в центральном. Щелкнул «каштаном» — и пожалуйста: любой отсек. Поют отсеки, поют...

Кают-компания потешалась неделю. А зря: по приходе нас действительно проверили на знание строевых песен. Выгнали на плац и проверили.

В КУСТАХ ТУИ

Весь химический профессорско-преподавательский состав во главе с начальником факультета по случаю приезда главкома сидел в кустах туи.

У главкома после строевого смотра на плацу, где мимо него пробарабанили курсанты с диким криком «Раз-иии-раз!» и судорожными рывками голов направо, и после того, как ему шепнули, что это идут химики, — вдруг, на семьдесят пятом году жизни, проснулось желание осмотреть химический факультет.

С быстротой молнии факультет обезлюдел: все сидели в кустах туи и пастороженно следили за главкомом и его свитой.

Часть свиты осталась внизу, а сам главком с остатками поднялся в роты.

Из кустов туи вырвался горестный вздох.

Главком поднялся на третий этаж и попал в роту штурманов, случайно живущих на химическом факультете. Дневальный, увидев его, окаменел так, как если бы главком шагнул на него прямо с портрета: он открыл рот, но легкие ему не подчинились, и крика не получилось.

Дежурный по роте, почувствовав в тишине что-то неладное, выбежал из умывальника и так закричал: «Смир-на!!!», — что у дневального рот закрылся. Главком удовлетворенно кивнул, выслушал рапорт и двинулся в спальное помещение.

Там в это время находилось дежурное подразделение: оно готовилось к заступлению, то есть: спало бездыханно.

Истошные крики, ненормальный рапорт с «адмиралом флота Советского Союза» привели к тому, что дежурное подразделение моментально проснулось и, кое-как одернув одеяла, схватило в охапку одежду и в трусах полезло в окна. Все это происходило на третьем этаже и весной.

Стоящая внизу ошеломленная свита главкома, открыв рты, наблюдала, как окна на третьем этаже с треском распахнулись и в них ринулись, как пираты на abordаж, человек двадцать в трусах и с бельем. Затем эти двадцать человек во мгновение ока по карнизу — белье между ног — перешли в соседнее ротное помещение.

— А-а... интересно... — сказал какой-то обалдевший адмирал из свиты, — кого же здесь все-таки готовят? Химиков или диверсантов?..

В этот момент главком вошел в спальное помещение. За ним, зажмурившись, шагнул дежурный: он ожидал, что сейчас главком наткнется на лежбище котиков, но если не считать двух мертвецки спящих, в остальном помещение выглядело даже очень сносно.

Главком заметил спящих и направился к ним.

— Товарищ курсант, — затеребил он по-отечески первого за плечо, — товарищ курсант, почему вы не на строевых занятиях?

— Потому что формы нет, — сказал первый и, не проснувшись, повернулся к главкому задом.

Мы уже говорили, что главкому было много лет — чуть-чуть не хватало до ста — и он давно уже был дедом, а тут перед ним были дети. Он оставил первого и приступил ко второму.

— Товарищ кур-са-и-т, — шептал он ласково и теребил второго за плечо, — то-ва-рищ кур-са-ап-т...

Второй открыл наконец свои мутные очи. На своем плече он увидел адмиральскую руку с нашивками до локтя, а прямо перед собой — фуражку в золоте и погои с «обалдевшим» гербом.

— Ну и не хрена себе! — сказал второй, мотнул головой, обтер ее о подушку и, повернувшись со словами: «Вот это да!», — тут же заснул.

Стоять рядом с ними было как-то не совсем удобно, и главком, потоптавшись, двинулся в обратный путь.

— Ну... — остановился он на выходе из ротного помещения и, оглянувшись на спящих, нерешительно взглянул на одеревеневшего дежурного, подумал и махнул рукой. — Ну, ладно.

По пути заглянули в бытовку. Там стояло беззаботное тело в трусах. Тело ничего не слышало, тело стояло и гладило брюки. Тело оглянулось и застыло с утигом. На него смотрел главком. Так человека вообще-то можно зайкой оставить или добиться того, что всю оставшуюся жизнь он будет хохотать.

Главкому захотелось пообщаться.

— Ну? — сказал он. — А вы кто?

В следующие полсекунды к телу вернулась речь, и оно, вместе с утигом, поднятым к уху, обозвало главкома «маршалом» и сказагуло какое-то очень необычное предложение, из которого было понятно только то, что перед вами стоит курсант Пуговкии.

Главком обиделся на то, что его обозвали «маршалом», и выкатился из роты с криком:

— Э т и х и м и к и!!!

В кустах туи произошло движение. Волнение произошло. Кусты возмутились. Вперед начали выталкивать начальника факультета.

— Александр Леонидыч! — говорили ему горячо, увлеченно подталкивая к выходу. — Вы должны выйти и сказать ему, что это не химики. А то опять на нас все шишки... Скажите ему, что это штурманá.

— Да вы что! — отбивался начфак, стараясь за кого-нибудь задержаться руками. — Вы что, отпустите! С ума посходили все, что ли? Хотите, чтоб я умер на месте от инфаркта? Да черт с ним... отпустите... вы что?..

Так начфака и не смогли выпихнуть. Хотя толкало немало человек.

Главкома тем временем успокоили и повели его в лабораторный корпус.

Все стихло; профессорско-преподавательский состав потихоньку растекся; кусты застыли в успокоении; и все на этом свете замерло до следующего посещения главкома.

ПЯТЬ СУТОК АРЕСТА!

Из наших все отсидели. Командир у нас ненормальный, как многие считают, и поэтому наши отсидели все. Только я не сидел. Механик сидеть на губе не должен, иначе все на корабле встанет раком и развалится. А что такое дизель-электроход, вам, наверное, ясно: это такая штука — описать невозможно. Достаточно сказать, что когда мы всплываем на зарядку батарей и открываем крышку люка, то вверх — метров на пятнадцать — вырывается столб дерьма. В смысле запаха. Так что сажать меня нельзя. Правда, сутки ареста мне объявляют регулярно, но сажать не сажают. Кроме меня, отсидели все. Командир у нас несколько не в себе насчет воинской дисциплины, так что место на губе в этом флагманском крысятнике — городе Полярном — для нашего экипажа до недавнего времени имелось. Теперь хором осваиваем Североморск.

— Продлите моему врачу пару суток, — просит командир по телефону, — у меня штурман на подходе, он тут дела закончит и сменит врача. А этому моему охламону парочку суток вкатайте.

Да-а... У нас все по уставу. Например, о своем приближении со стороны моря командир любит уведомить базу. Только Сет-Наволоку минуем, а он уже семафорит на берег командиру базы — мол, привет! — и радуется указаниям относительно того, как его встретить, что из вкусненького приготовить и во сколько баньку истопить.

Мат мчится по всей семафорной линии.

— Вот сволочь! — говорит командир базы насчет нашего капитана и не топит баню.

Ну, с базой командир сделать ничего не может, поэтому наших сажают регулярно.

Экипаж его ненавидит. Даже не здороваемся. Давно это началось.

Стоим на подъеме флага, он подходит:

— Здравствуйтесь, товарищи матросы!

И громадная тишина в ответ.

Еще раз:

— Здравствуйте, товарищи матросы!!!

Здравствуют, но молча. Все смотрят в сопки. Тогда он подходит к офицерам:

— Здравствуйте, товарищи офицеры!

И полная, знаете ли, солидарность. Потопчется и...

— Все вниз!..

И пошел крутить, кишки наматывать. И старпом Антипков у нас сидел постоянно, просто прописан был на губе. Либо на губе, либо на корабле. На берег он попадал редко — вы же знаете эту фразу из устава: «Частое оставление старпомом корабля несовместимо с его службой». Ну вот. Но уже если попадал...

Водка тогда в Полярном продавалась в трехлитровых бутылках, и называлась она «антиповкой». А 1100 граммов спирта, как справедливо отмечено в Большой Советской энциклопедии, абсолютно смертельная доза для человека. Старпом любил поставить «антиповку» на стол и зачитать вырезку из Большой Советской энциклопедии. После чего он выпивал ее до последней капли и в состоянии повышенной томности падал в салат. Отволакивали его на корабль и забрасывали в каюту. Когда он приходил в себя, он подписывал все, что ему подсовывали. Помощник рисовал красиво, по-старославянски, на бумаге: «Я Антипка, государь, сволочь и последний дурак...» — и подсовывал ему. Старпом подмахивал не глядя, а потом эту штуку ему на дверь приделывали.

Когда старпом был трезв, он был большая умница, математик, аналитик и философ, и торпедная атака у него шла исключительно в уме и на пять баллов, а когда он бывал пьян — это был большой шутник. Гауптвахту в Полярном ликвидировал. Его там знали, как мама папу, и в камеру не сажали. Он просто шляется по территории.

А каждая губа, понятное дело, имеет свою ленокмнату, чтоб вести среди арестантов разъяснительную работу.

Антипка шляется-шляется и от скуки зашел в эту избу-читальню, в этот «скот-просвет-руум». Там он прочитал почти всю центральную прессу, впитал — «тая-зять» — в себя дыхание страны, затем сложил все подшивки горой в середине и поджег, после чего объ-

явил гауптвахте: «Пожарная тревога! Горит лепинская комната!» — и возглавил борьбу за живучесть.

Все бегали как ненормальные, икали, искали багры, ведра эти наши треугольные, ублюдочные хватали, разматывали шланги, пытались подсоединить их к гидранту. В общем, гауптвахта сгорела дотла, а Антипку отвезли в Североморск и прописали там на гауптвахте навсегда. Сжечь ее невозможно — она каменная.

Так мы из Полярного и переехали в Североморск. И теперь у нас там постоянное место жительства. И первым делом после старпома командир там врача, конечно, прописал — ублюдок потому что, прости меня Господи.

РАЗРЕШИТЕ ДОЛОЖИТЬ?

— Товарищ капитан второго ранга, разрешите доложить?

— Да!

— Капитан-лейтенант Петров дежурство по кораблю принял!

— Товарищ капитан второго ранга, старший лейтенант Недомурзин дежурство по кораблю сдал.

Мы с Геней Недомурзой докладываем старпому о «приеме-сдаче» дежурства. Сначала я, потом — он. Я — о приеме, он — о сдаче. Наоборот, сами знаете, никак нельзя. Потому что если он доложит, что сдал, а я еще не доложу, что принял, и тут — раз! — и что-нибудь взорвется — у нас это запросто, — и корабль в этот момент никто, получается, не охранял. И с кого спросить? Спросить не с кого! А спросить хочется, потому что придется с кого-то в конце концов спрашивать.

— Замечания?

У кого же нет замечаний! Замечаний у нас вагон. И старпом о них знает. И вообще все обо всем знают, но если я сейчас скажу, что замечания есть, то как же я принял корабль с замечаниями, а если скажу, что за-

мечаний нет, то что же это за прием корабля, если нет замечаний? Все это, как всегда, вихрем проносится в уме, после чего ты говоришь:

— Отдельные замечания устранены в ходе сдачи дежурства.

Вот такая формулировочка. И старпом кивает. Кивает и неотрывно смотрит на Геню. Геню он ловит на каждом шагу. И гноит пещадно. И все норовит его, даже походя, уколоть, ущипнуть, удавить. А сейчас он его просто убьет. И не потому, что Геня идиот, просто некоторые могут все это от себя отодвинуть, а Геня не может. Подумаешь, старпом на тебя смотрит. Ну и что? Он на всех так смотрит. Но Геню он чувствует. И Геня трусит. Он становится сразу мелким, без плеч, без шеи, взъерошенным, отчаянно потным: на лбу будто волдыри от ожога, так потеет, а в зрачках — атропированный ужас, мыльный-пыльный.

— Ну-у?! — говорит старпом медленно и смотрит на Геню. — И когда же вы станете человеком? Когда от вас появится хоть какая-то отдача, но не в виде дерьма?! Когда на вас можно будет корабль оставить? Когда я засну, а перед сном улыбнусь, подумав, что вы на вахте и все спокойно? Почему я все время должен за вами с совком ходить и говню ваше влет подхватывать? Я же не успеваю его подхватывать на самом-то деле. Вы же валите и валите. Когда я увижу перемены в вас, которые меня поразят?..

Старпом все говорит и говорит, а потом он расходится и уже орет. Но я лично его не слышу. Я смотрю на Геню. Жаль человека, сейчас от него вообще ничего не останется — вопочей лужей растечется на королевском паркете. В лице его происходит масса всяких движений, вперемешку со вздрагиваниями: там и страх, и стыд, и срам, и какие-то потуги — не то совести, не то самолюбия. Отдельными позывами отмечены рудименты гордости, доблести, осклизлые останки чести. Мышцы на лице его как-то быстро — словно домино на столе руками размешали — вдруг собирают по кусочкам то эмоцию страха, то какого-то недоделанного достоинства, которое немедленно обращается в стыд. И кажется, что Геня вот-вот возмутится. Вот-вот это произойдет. Нет! Его до конца не растолочь, нашего Геню, не стереть, не забить! Шалишь!

Сейчас он наберет в грудь побольше воздуха. Губы сжаты, в глазах — жуки сношаются! Сейчас! Сейчас старпом получит! Ну? Давай!

И тут Геня оглушительно пернул!

Я — от неожиданности — даже рот раскрыл. Старпом, по-моему, тоже.

А Геня обмяк весь, обмяк.

И куда все делось, куда?

БОБЕР

Леха Бобров, по кличке Бобер, — тучный, белесый, тупой — действительно похож на бобра: спина согнутая, шеи нет, холка вздыблена, и усы торчат, а выражение на лице — точно он только что осину свалил.

Леха такой старый — его убивать пора.

Леха служил на нашем плавстрашилище артиллеристом-торпедистом, и трехтонные краны для погрузки торпед находились в его заведовании.

Как-то двигатель с этого его сокровища сняли для ремонта и положили в тенёчке для созревания — пусть отдыхает.

И пролежал он там недели полторы. А за это время рядом с ним на палубе паросили груды всякого металлолома: все подумали, что здесь собирают металлолом на сдачу.

А там рядом объект приборки у радистов. Радисты ходили-ходили, потом у кого-то проходящего вдоль спросили для очистки совести:

— Слышь, ты, это не твоя х-х-ерундовина? Нет?

И выбросили двигатель за борт — тот только булькнул.

Командир вызвал Леху и спрашивает:

— Бобров, что у нас с двигателем?

— Все нормально, товарищ командир, — говорит Леха, — оттащили к трубе.

— К какой трубе? — спросил командир без всякой задней мысли.

— А к этой... как ее... к забортной, — ответил Леха без всякой передней.

— А-а, — сказал командир, — ну и что?

— Разбираемся, товарищ командир.

— Хорошо.

Совсем «хорошо» командиру стало тогда, когда он узнал, к какой «трубе» оттащили двигатель.

— Ты-ы-ы!!! — орал он Лехе. — Гавв-но-о!!!

А Леха молчал, сопел, и выражение на лице у него было — будто осину свалил.

КАК В ТУМАНЕ

Комиссия по проверке организации борьбы за живучесть застала Сергей Сергеича врасплох. Он не успел улизнуть, и теперь он стоял рядом с батарейным автоматом во втором отсеке и вымученно улыбался.

Сергей Сергеич (кличка Эс-эс) — был заместителем командира по политической части на этом атомоходе. Кроме того, он был уже очень стар, когда попал на железо, так стар, что ни черта не знал, хотя по борьбе за живучесть в отсеках подводной лодки он мог долго говорить нужные слова, прикрывая свое полное отсутствие выписками из КВС^{*}. Проверок он боялся панически.

— Аварийная тревога! Пожар во втором! — настигла его вводная, поданная проверяющим.

Она ударила его в спину между лопатками, как черная стрела, и он завис, сжался.

Захлопали переборки, личный состав заметался по отсекам.

— Задраена носовая переборка!

— Личный состав включился в индивидуальные средства защиты! — вводная отработывалась.

Проверяющий, грозный капитан первого ранга из бывших командиров, нашел Эс-эса среди ящиков. Огромный, как скала, он завис над ним и прочитал бирку на кармане рабочего платья: «Зам. командира по политической части».

* КВС — журнал «Коммунист Вооруженных Сил».

— Ага, — сказал он.

Как всякий бывший командир, проверяющий не любил замов.

«Попался, говнюк!» — говорили глаза проверяющего.

«Не па-до!» — молили глаза Эс-эса.

«А вот мы сейчас увидим», — не умолялись глаза проверяющего.

— Ваши действия по вводной «пожар в отсеке»? — спросила скала в звании капитан первого ранга у съездившегося замполита.

У зама много действий. Откройте корабельный устав, и вы увидите, чего там только не паворочено.

Во рту у Эс-эса стало кисло, противно стало, мысли потемнели, спутались и сбились в войлок. Он даже забыл на время, как его зовут. Он не помнил ничего. Время шло, и нужно было что-то говорить, а он только улыбался, потел и жевал воздух.

— В ы и о ш у к о м а н д и р а, — пролепетал он наконец чужим голосом, влажный и дурно пахнущий.

— Ч т о - о - о ?! — загремела скала в звании капитан первого ранга на весь отсек. — Ч т о ?! Поссать ты его, что ли, выносишь?

— Нет, вы послушайте, что он говорит! — возмущался проверяющий, призывая в свидетели весь отсек. — Выносит он его, выносит поссать!

Эс-эс больше ничего не сказал. Он стоял такой маленький, ушастенький, всклокоченный, вцепившийся в какой-то ящик и все еще улыбающийся. Все плыло в розовом тумане, и где-то из тумана все еще доносился до него голос проверяющего из очень большой комиссии по проверке организации борьбы за живучесть.

ВСЕ НОРМАЛЬНО

Петр Петрович после безнадежных попыток проглотить сгусток слизи, хрипом втянутый из носа в глотку, проснулся, сел на постели, сказал: «Черт!»,

увидел в будильнике четыре часа утра и, откинувшись, воткнулся в подушку.

Прошла целая неделя после похода, а автономка продолжалась каждую ночь: спилась вахта, лодка, старпом и прочая гадость. Жуть да и только!

Надпочечники не дали ему увянуть. Они затеребили мозг. Мозг открыл рот и вложил в него страдальческое мычание.

Минут двадцать шла тяжелая внутренняя борьба, можно сказать, даже схватка; в конце концов Петр Петрович встал и с немым выражением лица, мимоходом стянув с жены одеяло, под тонкие повизгивания отправился в закуточек, целиком оборудованный для дум и страданий.

Кишечник оживлял дорогу на языке труб и кларнетов; желудок шевельнулся и, пока Петр Петрович, пошатываясь, разговаривал с белым жертвенником, напомнил хозяйину, что в четыре утра первая боевая подводная смена стартует на завтрак. Срочно захотелось есть. Жена проснулась от возни в холодильнике.

— Петя, — накрылась она одеялом, — ты где? А?

— Сейчас, — вяло отозвался полуслепой Петя, нащупав сметану, — сейчас...

Что-то пресное, тягучее безвкусно полезло в рот.

«Замерзла», — решил для себя Петр Петрович и дожевал все.

— Замерзла, — повторил он для жены и, накрывшись с кряхтеньем, сытый, теплый, угасал, угасал, угасал...

— Что замерзло? — где-то там наверху, как звезда из космоса, отозвалась жена.

— Что замерзло? — все сильнее просыпалась она.

— Ссы-ау-ах... сметана-а твоя... — умирал на сегодня Петр Петрович.

— Какая сметана? Господи! — пихнула его жена. — Ты чего там съел? Там же не было сметаны! Ты чего сожрал, несчастье?

— Все-все-все, — скороговоркой гасил отдельные вспышки сознания Петр Петрович.

— Все, — затих он и подвел черту, — нор-маль-но... все...

— Петька! — села жена вертикально. — Ой! Там же тесто было старое... ой, мама!

Она полезла через Петю. Тот дышал, как бегемот под дрессировщиком, — одними поздрями.

— Скотица! — ахнуло из холодильника. — Со- жрал!

— Петенька, — склонилась она через минуту к губам Петра Петровича, стараясь уловить самочувствие сквозь свист, — а может, касторочки выпьешь, а? И сейчас же пронесет! Касторочки, а? Ложечку...

— Сейчас, сейчас... — скакала по комнате и где-то что-то открывала, — вот, Петенька, открой ротик, ну, одну ложечку... вот так... и все будет нормально...

Наутро все было нормально. Военно-морской организм Петеньки — организм ВМФ! — усвоил даже касторку!

МАСТЕР ШВАРТОВНОГО УДАРА

Швартовка к родному пирсу с полного хода — большое прикладное искусство. Военно-морской шик. Представьте себе: белый пароход, а может быть, даже и серый, с ходу, на всех парах, весело, вместо того чтобы по всем законам гидродинамики врезаться, перевернуться, развалиться и затонуть, — на крутом вираже останавливается у пирса как вкопанный, как мустанг останавливается. Красиво, черт побери!

Капитан нашего помоечного корыта — катера военно-морского (разумеется, у нас там что-то иногда даже с ходу стреляло) — всегда любил швартоваться вот так — на полном ходу. Носом в пирс. Скорость дикая. Остаются какие-то метры, дециметры-сантиметры, и...

— ...Осади! — кричал он в машину, и машину осаживали, и корыто с диким ржаньем вставало на дыбы и ...замирало у пирса.

И вот в очередной раз, когда до пирса остается совсем ничего, на бешеной скорости...

— ...Осади! — кричит капитан. — Полный назад!

— А пазада не будет, командир... — сказал ему спокойненько мех. — У нас заклинило.

— Вот это да! — сказал командир в пяти сантиметрах от пирса. — Чтоб я сдох!

И тут же лбом он пробил стекло, вылетел через него и полетел сдыхать.

Два дизеля сошли с фундамента; мотористы вздохнули и вспорхнули; сигнальщик, тараторя, нырнул в открытый люк; швартовщики взмыли и сгнули, а боцман... боцман должен был врезаться средней своей частью в реактивную бомбометную установку и кое-что там себе кокнуть. Но! (Моченая пися эрцгерцога Фердинанда!) В последний момент, с огромными глазами газели, в жутком перенапряжении он преодолел два метра в высоту и еще четыре в сторону и рухнул в студёные воды Баренцева моря, как метеорит.

Полпирса пропахали. Нос — в гармошку. И самое странное, что все остались живы.

*Вот такие мы лихие,
Мужеложству вопреки.*

ОБСТАНОВКА

Командующий дал полюбоваться своей верхней розовой десной, потом помассировал ее языком, поискал, поцокал и вошел в рубку.

Тральщик мотало, как галошу на ноге у пьяницы: взлетало вверх, задумывалось на секунду, потом вниз и опять вверх; а оперативным стоял лейтенант Котя Васин; он укачивался до потери ответственности.

Зеленый, цвета морской волны, с расширенными зрачками, он стоял и реагировал. Ему было все равно, хоть мазок бери из носоглотки на предмет наличия мозга.

— Ну-у, — пододвинулся адмирал к карте, — что тут у вас? Доложите обстановку.

Обстановка была на карте нарисована: что, куда — все отлично.

Командующий, глядя в карту, икнул и рыгнул, отчего в рубке запахло обедом.

Коте и без того было нехорошо, а тут, после запаха обеда, тело выгнулось, стало жарко, потом холодно, опять жарко, и слюна — верный признак — потекла.

— Ну-у, доложите... — уставился на него адмирал. — Что тут у вас?

В рубке не было иллюминаторов, и Котя двинулся на адмирала, медленно гипнотизируя его бесчувственными глазами.

Тот почувствовал недоброе и застыл, засуетился, залопотал, по инерции все еще интересуясь обстановкой.

Отпрыгнуть адмирал успел. Котя рванул дверь, ведущую на трапик, потом крышку от трапика — вверх и... ха-ха-ха! — вниз по трапику захакало, хлынуло и тут же подобралось волной.

Торопливо отметав харч полуденный, Котя вернулся в вертикаль и пашел глазами адмирала: тот забился в угол.

— Товарищ адмирал! — сказал Котя, еле ворочая языком. — Разрешите доложить обстановку?

— Не надо, — замахал адмирал руками совершенно по-семейному, — занимайтесь тут сами.

И после этих слов адмирал позволил себе навсегда исчезнуть из рубки, а потом и с тральщика вообще...

КАК ТАМ В ОВРе?

Иногда меня спрашивают: «Ну как вы там в ОВРе* живете?» На что я всегда отвечаю: «С неизменным успехом» — и сразу вспоминаю, как Серега Батраков, наш старый, глупый старший лейтенант, радостно сбегая с корабля по трапу, как-то крикнул вахтенному:

— Эй, страшила, бригадир убыл?

Вахтенный не успел ответить, потому что из-под трапа послышалось:

— Батраков! Я не бригадир, а командир бригады, и хрена лысого ты у меня очередное звание увидишь.

Так и не дал Сереге капитана. Вот сука, а?

* ОВР — охрана водного района.

Как мы живем? Да нормально, паверное. Вот стоит в строю штаб бригады, а самым последним стоит лейтенант Дидло Сергей Леонидович, мой лучший друг. Он только что назначен в бригаду флагманским химиком. Штаб стоит в одну шеренгу. У них строевой смотр, и мимо строя идет командир базы. Подходит он к лейтенанту, останавливается и с миной брезгливости на лице, будто жабу видит, вытягивает из себя:

— Лий-ти-па-ит!

— Лейтенант Дидло, товарищ капитан второго ранга!

— Только хохлов нам и не хватало.

— Я русский.

— Кто это? — командир базы, поворотив свой лик хрестоматийно алкоголический в сторону, обращается уже к командиру бригады.

— Это флагхим. Новый, — отзывается тот.

— А-а-а... — командир базы возвращается к лейтенанту и, лениво уставясь себе под ноги, продолжает: — Лейтенант... уебать тебя, что ли?.. Ну что вы лезете все время в разговор? Что вы все время лезете! Вести себя не умеете?.. Так мы научим. Комбриг!

— Есть!

— Накажите его.

Комбриг быстро:

— Выговор!

Так и служим.

А в море вместе со штабом как выйдешь, так им, сволочам, на обед отбивные подавай. Нажарят отбивных и кормят этих ублюдков. За три дня все мясо сожрут, а потом еще месяц в море выходим на одних сухарях. Командира базы у нас зовут Дедушка Пак. Ему пятьдесят семь лет, он старый, гнусавый, вредный и злопамятный. Уже еле ползает, но все помнит, собака. Серега его как увидит, так всегда мне говорит: «Редкая сволочь, Сапя, долетит до середины Днепра». Вот вползает тот Пак в сопровождении комбрига к оперативному, тяжело плюхается на табурет и спрашивает:

— Как у нас обстановка?

Оперативный набирает полную грудь воздуха и начинает: «То-то — там-то, это здесь», — а Пак посидит-посидит, свесив голову, с кислой рожей, а потом и скажет:

— Все-то вы мне врете. Дурите мне мозги, потому что я старый и больной. Комбриг!

Тот, подтягиваясь:

— Есть!

— Спимите-ка его, мерзавца, с вахты. Ту-ни-я-дец, прости Господи!

А вчера в четыре утра кто-то под окнами шлялся и пел: «В не-бе ве-сеп-не-м, в не-бе да-ле-ко-м па-да-ли две-е зве-з-ды-ы-ы-ы... в ут-рен-и-е са-ды-ы-ы...» Говорят, это у соседей скинули две звездочки со старшего лейтенанта.

Вот так мы и живем.

НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Обеспечивали мы лодочку. Задачу она сдавала: всплывала-погружалась, а мы — парочка тральщиков во главе с комбригом — создавали им иллюзию совместного плавания.

Когда эти выдры напырялись и сдали свою задачу, решило наше начальство отметить это дело и по этому поводу отправилось к острову.

Есть у нас такой островок. Мы как только сделаем что-нибудь путное и при этом никого случайно не утопим, сразу же направляемся туда и там на травке отмечаем выполнение боевой задачи.

Причалили мы, вынесли все что положено на травку, расселись всем кагалом (штабом, разумеется) и начали отмечать.

Взял начальник штаба трехлитровую банку в обе руки, отпил для пробы и говорит:

— Это... не вино... по-моему...

— Да брось ты, — говорит ему комбриг, берет у него банку и делает глоток, а потом он замирает, и видно, как организм у него впитывает и соображает, а весь штаб смотрит на комбрига. Начальство есть начальство — как скажет, так и будет.

— Да-а... — говорит комбриг протяжно, — на вино это не похоже. Что же это? Вкус какой-то...

И тут:

— Товарищ комбриг! Товарищ комбриг! — бежит издалека вестовой. — Не пейте! Это не вино! Не вино это!

— А что это?! — кричит ему навстречу комбриг.

— Это проявитель! — подбежал вестовой, задыхаясь. — Проявитель... это... стоял там... перепутали...

Сомнения отпали и улетучились. И после того, как они улетучились, комбриг и начштаба одновременно рыгнули проявителем им вдогонку.

— Доктора! Доктора сюда! — заорали тут все и забили ногами.

И появился доктор.

— Ну что, доктор, — спросил его комбриг с большим достоинством, — жить будем или же подохнем?

— Конечно же, жить! — вскричал доктор и бодро влил им по ведру марганцовки в каждое наружное отверстие.

А потом они стояли, обнявшись, и — а-ва-ва! — блевали через борт, а над ними с хохотом поселились быстрокрылые чайки.

ПО КЕЛЬВИНУ

Наконец-то лодка привязана; справа плещется море, слева — какая-то дрянь, сверху — небо. Автопомке конец.

Экипаж вылезает и роится на пирсе: оживление, смех, улыбки и все такое.

Вова Кельвин — химическая кличка Балбес — стоит на пирсе отдельно от всех и шюхает «тюльпан», погружая в него трепетные поздри, большие, как у колхозной лошади. Пришли. Лепестки «тюльпана» жалко влипают, втягиваются — вдох — и опадают, бедные, — выдох. Кончик носа в желтой пылице.

«Тюльпан» пахнет только для Вовы.

К Вове подходит врио флагманского химика:

— Ну, как дела?

Вова из «тюльпана» с улыбкой Дюймовочки:

— Н о р м а л ь н о...

— А чего не докладываешь?

— А чего докладывать?

С Вовы толку мало, врио отправляется на поиски старпома. Он находит его здесь же на пирсе:

— Ну как сходили? Нормально? Без замечаний? Как ваш химик? Нормально?

Лицо у старпома, мгновенье до этого такое радостное, сразу меняется. Оно становится злым и торжественным. Он делает паузу для набора воздуха. Набрал. Глаза вылезли.

Начинает он по складам и во всю глотку:

— Э Т О Т К О З З Е Л С «Т Ю Л ь П А Н О М»! Создал Бог каракатицу. Всю автономку дышали через задницу! Во всех отсеках по полтора процента углекислого газа. Где вас только делают, химиков! Это надо ж было настрогать столько идиотов! Помесь Бармалея с Буратино! Старый дурак! Одна извилина и та между ягодиц! П е р е в е с т и с ь о н х о ч е т ! В институте-ут науч-но-ис-следовательский! Мало там своих недоносков! В институте думать надо хоть раз в неделю, а тут вместо головы жопа! Да и та поротая!

Старпом говорит долго, брызжа слюной, приседая, делая жесты, целуя и подсасывая, сползая на речитатив. Наконец он смолкает. Устал.

Вова все слышит и ухом не ведет. Он наклоняется к «тюльпану» и тянет тонко: «А-ся-ся» — и погружает в него поздри, большие, как у лошади.

БЕЛЫЙ ГРИБ

Белую фуражку, которую нам выдают на вещевых складах вещевики, эти платные представители родины, мы — офицеры флота — называем «Народ дал — народ смеется». Это бесподобное страшилище, в ней две пружины, жесткий каркас, куча ваты и высокая тулья. Наденешь такую телегу на голову, и она тут же давит на мозг, как опухоль.

Нет! Фуражка плавающего офицера должна быть мягкой, как пимб святого, и легкой, как он же, и чтоб не голова принимала форму фуражки, а наоборот. Поэтому вытащим одну из пружин, оставим ту, что поменьше, а ту, что побольше, выбросим к чертовой матери и картон с ватой туда же, а туюлю немного подрежем, потом пришиваем пружину к этим останкам, и теперь можно надевать чехол, причем пружина должна лечь под швом. Всё! Перед вами благородные очертания флотского «гриба». Теперь можно нахлобучить всю эту срамоту себе на голову и носить там это лукошко, пока не сносится. Все-таки полегче. И голова не будет пыть, потеть и чесаться к концу рабочего дня, как лоб молодого марала, когда у него режутся панты.

Комендант города Северокамска, цветущий полковник (для непосвященных: город Северокамск находится на севере Камы, при впадении ее в Серое море, там же, где и город Наплюйск), терпеть не мог наш белый флотский «гриб» на нашем белом флотском организме. Может, потому не мог терпеть, что сам он был переодетым солдатом, а может, потому, что носил комендант на своей голове огромную, породистую, шитую фуражку — настоящее украшение изюбра. Если он обнаруживал на улице офицера в «грибе», он останавливал машину, выскакивал, кидался офицеру на голову, хватался за «гриб», срывал, бросал все это на землю и, пока офицер каменел, топтал все это ногами. Потом офицера, так и не пришедшего в себя, водружали на машину и увозили в комендатуру на чистку мозгов ушитазным ершиком.

Но! Город Северокамск — это вам не просто так! Это северный ледовитый Париж с автобусами, светофорами, с гражданским народом, с красивыми, можно сказать, женщинами на каждом пешеходном переходе и прямо на асфальте. Одно дело, если с вас в комендатуре сорвут фуражку и начнут ее с чавканьем мять, как виноградное сусло, а другое дело — если на улице. Там же женщины, повторяю, бродят опьяняющей стаей.

Накопец комендант нарвался.

Старший лейтенант, больше похожий на двусторчатый шкаф, чем на дохлого офицера флота, слегка

ошалевший от свободы и выхлопных газов, медленно брел по улице. Его только что спустили с корабля. Что-то есть в слове «спустили», не знаю что, но нас действительно с корабля «спускают». Их корабль только ошвартовался, только прибыл издалека в город Северокамск.

И старлей потерялся. Город! Город схватил его, закрутил, затискал, прижался, а потом замелькал, заторкал, засмеялся, как старый друг. Лето! Лето смотрело изо всех щелей; улыбки цвели; легкий ветер играл юбками женщины, и в глаза лезли их голые ноги.

По глупому лицу старлея бродила соответствующая улыбка, заправленная в щеки, а голову его украшал белый флотский «гриб», лихо сдвинутый на нос. Старлей млея, его пробирало насквозь. Все это происходило до тех пор, пока сзади не раздался визг тормозов. Раздался визг, потом добегающий топот и ...со старлея сорвали его боевой «гриб»; перед ним из небытия возникло лицо. Полковника, разумеется, то бишь коменданта, естественно. Рот у коменданта скривился, и тут же, ни слова не говоря, он шмякнул фуражку старлея оземь, и та, подхваченная ветром, покатила-покатила через улицу, да так быстро, как это умеют делать только наши фуражки, мелькая у людей под погами.

Старлей пребывал в столбняке одну трехсоттысячную долю секунды. Потом он тут же хватанул у коменданта с головы его комендантское рогатое украшение и шваркнул его вдогонку своему «грибу».

Комендант очумел. У него даже прикус изменился. Они оба, выпучив глаза, молча смотрели друг на друга еще пару мгновений. Фуражка коменданта, обладая неизмеримо большей парусностью, чем «гриб» старлея, быстро нагнала его и, перегнав, помчалась, набирая скорость, наматывать грязь на обод. Комендант очнулся и бросился за ней. Он решил, что этот старший лейтенант никуда от него не денется в этом городе. Старлей тоже бросился. Он поймал свой «гриб» на противоположной стороне улицы, сразу же надел его и сдуру побежал за комендантом. А комендант, путаясь под погами у прохожих, ловил свою юркую фуражку, наклонялся, растопырившись, натыкался на чьи-то колени, хватался и не мог ухватиться. Наконец

он изловчился, ухватился и только собирался разогнуться, счастливый, как на него налетел старлей. Чисто случайно, по инерции налетел, как мы уже говорили, но, поскольку согнутый комендант почти что распрямился, то старлею ничего не оставалось, как дать ему по удачно расположенному в трехмерном пространстве толстомордому задку с разгона сорок пятого размера ногой. Марадона не сделал бы лучше! Комендант улетел, как детский мячик, воткнулся в почву, и фуражка его, опять скакнув, завращалась, подпрыгивая и празднуя свободу.

А старлей исчез. Его так и не нашли в этом городе, хотя и устраивали облавы на старших лейтенантов и шарили, шарили, шарили, инструктировали и опять шарили, шарили, сличали... Потом, устав сличать и шарить, стали уже сомневаться, да был ли он вообще, этот старлей, и решили, что не был, да и не мог быть.

САПОГИ

Судоремонтный завод. Подводная лодка в сухом доке. Грязь. Холод. Железо. Вонь сварки. По отсекам горят нештатные светильники. Хоть они и горят, но освещаются только небольшие пятачки, и вахтенные ползают по кораблю, как крысы внутри огромного батопа.

Вахта. Даже если корабль будет полуразваленным стоять на кильблоках, то и тогда на нем будет нестись вахта — через день — на ремень.

Нет, уже не «через день», «матройзеров» — матросов — не хватает. Они не меняются с вахты сутками. Многие стоят по полмесяца.

В каютах холодно — с корпуса снимают листы обшивки, и в дыры видно небо. Подвахтенные ночуют в каютах, заваливаясь в ватниках, наворотив на себя сверху немислимую грудку старых, вонючих шинелей. Придешь на вахту будить — разгребать замучаешься, пока до тела доберешься. А спят — как убитые, а лица — чумазые, а руки — огромные, толстые, синие,

как вареники. Давно замечено, что у молодых матросов руки мерзнут только первые полгода-год, а дальше — все отлично.

Столовую уже демонтировали, поэтому комсомольское собрание было решено проводить в кают-компании. Там все готово, и светильники протянуты.

С базы привели наш комсомольский «народ» — тех матросов, которые чудом не стоят на вахте. Тема собрания — патриотическая акция «Революционный держите шаг».

— Докладчик просит...

— Двадцать минут.

Докладчик — замполит. Он долго говорит о воинской дисциплине — ее нужно крепить, а вот матрос Куций прибыл из отпуска, и вслед за ним прибыла посылка с пятью литрами вина. Почтальон Пуськов, которому была адресована эта посылка, метался с ней в лестничных пролетах, как отравленная крыса; метался, пока не попался.

— Кто желает выступить? Поактивней, тема актуальная!

Заместитель, после всеобщего пятиминутного молчания на актуальную тему, не выдерживает:

— Давайте все-таки послушаем, что же скажет матрос Куций, а то он валит на своего отца, на брата, на Пуськова, на социальное происхождение, на Молдавию. Но как в Молдавии узнали, что на свете белом существует такой Пуськов? Вот я бы, например, сидя в Молдавии, не догадался бы...

Куций встает, безвинные глаза его изучают потолок.

— Ну, я... это... это не я... это брат...

— Всем понятно? Садитесь, товарищ Куций! Кто желает выступить?

Всем понятно, поэтому все молчат. Приглашенный на собрание злой младший командир того самого, украшенного ублюдками типа «куций» подразделения ни с того ни с сего обращается к одному из моряков:

— Кузнецов! А вы почему молчите?! Почему не встанете и не скажете здесь то, что вчера вы мне говорили? Здесь же можно говорить. Вот вы и говорите. Встаньте и смело, не трусьте, доложите... о сапогах доложите...

Личный состав не любит сапоги. Сапоги на флоте никто не любит. Вечная война с одеванием флота в сапоги. Матросы их выбрасывают сразу же, как только получают, и надевают ботинок, снашивая их в клам.

Кузнецов не трусит. Он просто не знает всех русских слов. И говорить его никто не учил. Он вскакивает и начинает:

— Не одену я сапоги... Я три года... не положено... да... они штабники... они перед комдивом ходят в ботинках... бербазы... а я в сапоги, да?... Не одену... я три года в автономках... а теперь в сапоги, да?

Замполит дает Кузнецову свое крепкое замполитское слово, что он, Кузнецов, наденет сапоги.

Кузнецов заикается с трясущимся лицом. Из-за беспросветной казармы, койки, холода, корабля, вот этого неснимаемого ватника, из-за того, что люди врут. Он не может говорить, у него горловые спазмы. Овладевает он горлом только для того, чтоб заорать.

— Не одену! Не одену сапоги! — бунтует Кузнецов. — Не одену! Сажайте! Вешайте!

— Товарищи! Есть предложение прекратить прения. Кто «за»?

И далее слушали постановление по патриотической акции «Революционный держите шаг».

В 18 часов того же дня прямо на докладе командиров боевых частей и служб сообщили: «Пожар в цехе номер пятнадцать!»

Дежурный по части тут же убегает. За ним исчезает АСО — аварийно-спасательное отделение. По кубрику наблюдается нервное перемещение офицеров. Конец рабочего дня, и никому не хочется напрягаться.

Старпом смотрит на зама, а зам на старпома. Старпом решает.

— Это учебная тревога. АСО убежало, и хватит. Пошли ужинать, — говорит он заму.

Дополнительных вводных не поступает, и напряжение ослабевает. Офицеры для очистки совести слоняются по кубрику и спрашивают друг друга:

— Ты не знаешь, надо бежать по тревоге?

— А черт его знает.

— Да какой там бежать! Скажут, когда надо будет.

— А ты не знаешь, фактически горит?

Штурман, к которому обращен последний вопрос, оборачивается, секунду думает с пездешним взглядом и медленно, расставляя акценты, говорит:

— Где-е же най-ти от-пус-к-ной би-и-лет? Чистый блак нужен... у тебя нет?..

На корабль прибежал только один офицер. Он из тех, у которых вечно зудит сзади.

Горит фактически — у соседей.

В центральном его встречает вахта в ватниках. Общй хохот.

— Товарищ капитан третьего ранга, а мы всё ждали вас, ждали. Всё думали: где вы и кто же возглавит борьбу за живучесть?

— А ну, заткнуться! Всем встать! Где противогазы? Там может, люди горят!

Все встали, беззлобно заткнулись и пошли на пожар.

Пожар потушили через час. Как ни страшно, без жертв.

На утреннем построении переписали тех, кто был не в сапогах...

ГРОБЫ

Молодой лейтенант-медик прибыл к нам на железно, когда мы в заводе стояли. Как раз шла приемка корабля от заводчан: вертелось, крутилось, в спешке, в пылюке; все носились как угорелые: каждый принимал свое. Медик тоже должен что-то принимать. Ни-чему не научив, его сразу включили в работу.

— Лий-ти-нант!!! — заорал старпом, когда впервые его увидел. — Я ждал тебя, как маму! Так, давай включайся. Там у тебя еще конь не валялся. Черт ногу сломит. Ни хрена не понятно с твоей медициной. Давай принимай, разберись.

И лейтенант включился в работу. Для того чтобы принять корабль или хотя бы боевую часть, нужно знать ведомость поставки, соображать в чертежах, в

размещении, в таблице, в снабжении, в аттестате и еще черт-те в чем. И медику тоже нужно соображать.

Лейтенант ходил с потеряннм видом двое суток: все включался. Вокруг него бегали, ставили, волокли, протягивали, поднимали, спускали, а он только существовал, причем в другом временном измерении.

Однажды он забрел на пульт главной энергетической установки в поисках отсечной аптечки.

— Слышь, доктор, — взяли его в оборот пультавые зубры, старые капитаны-обормоты, — а ты гробы принял? Нашел их уже?

— Какие гробы? — не понял лейтенант.

— Так у нас же гробы есть, — сказали ему, — ты что, их никогда не видел?

— Нет.

— Ну, ты даешь. Пора бы знать.

— Да откуда он знает?! Это же по двадцать четвертой ведомости, где все железки: ведра там разные и остальная мелочевка; в разделе обитаемости, по-моему. Короче, доктор, нам положено на борт два разборных гроба. Для командира и замполита. Остальных так кладут, а этих — сам понимаешь. В девятом отсеке, в районе дейдвудного сальника, шхера есть, бойцы ее одиннадцатым отсеком называют. Я их там сутки назад на дежурстве видел.

Лейтенант явился в десятый отсек. На него любодорого было посмотреть; это был уже не тот потерянный лейтенант, который ни черта не знал: быстрый, решительный, с деловым видом, он спросил у вахтенного:

— Где тут шхера в районе дейдвудного сальника, одиннадцатый отсек, короче, откусить ему кочерыжку?!

Вахтенный подвел его и показал: вот.

Лейтенант полез в шхеру. За полчаса он облазил ее всю: исползался, измазался — гробов не было.

— Товарищ лейтенант, — спросил его вахтенный, — а чего вы там ищете, может, я знаю?

— Да нет, ты не знаешь, — страдал лейтенант, — здесь гробы должны быть. Две штуки. Не видел?

На лицо вахтенного в тот момент стоило посмотреть: он вытаращил и во все глаза смотрел на лейтенанта, как ненормальный.

— Гр о б ы ???

— Да, гробы, разборные такие гробики, не знаешь? Две штуки. Работяги, наверное, свистнули. Они ж из нержавейки, вещь, короче, и собираются в две секунды: на замках.

Своим уверенным видом лейтенант доконал матроса, тот подумал: «А кто его знает, на замках...»

Еще полчаса они шарили вместе; проползли все: гробов не было.

На докладе командир спросил лейтенанта:

— Ну что, доктор, вырастаешь? Как идет приемка?

Лейтенант вскочил, покраснел и, от волнения спотыкаясь, зачастил:

— Принято на шестьдесят процентов. Пока не хватает только гробов.

— Не понял, доктор, чего тебе не хватает? — спросил командир.

— Гробов, товарищ командир. Они по двадцать четвертой ведомости, разборные такие, они в десятом отсеке позавчера в шхере лежали, в районе дейдвудного сальника.

— Что за черт, — оторопел командир, — чьи гробы?

— Ваши, товарищ командир, с замполитом. Остальных так кладут, а вас с замполитом — сами понимаете. В районе дейдвудного сальника.

— Понимаю, — сказал командир, — ты сядь, лейтенант.

Командир повернулся к механику:

— Все ясно. Это твои пультавики, больше некому. Ну, дивные козыри, я им жопу развальцую!..

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ

Лейтенант Саня Котин жил спокойно до тех пор, пока его квартирной хозяйке, глубокой старушке, не захотелось зарезать свою корову.

Почему-то наше гражданское население уверено, что лейтенант русского флота может зарезать кого угодно. Даже корову.

Старушка обложила Саню по всем правилам классического измора: она не давала ему ни спать, ни жрать, ходила за ним по пятам, ворковала в спину, и деться Сане было некуда; путь у него был один — к корове.

— Ми-ла-й, — шептала она ему страстно, — а я тебе и печеночку зажарю, и котлетки сделаю, а ты уж уважь, завали родимую.

Лейтенант Саня не испытывал ни малейшего желания «завалить родимую», да и не мог испытывать. Он даже муху на стекле не способен был «завалить», не то что корову. Однако однажды на очередное старушечье обхаживание он как-то неожиданно для себя кивнул и сказал:

— Ладно, завалим.

На корабле Саня места себе не находил до тех пор, пока не поделился кровожадными старушкиными наклонностями со своим лучшим другом минером Петей.

— А бутылку она поставит? — спросил быстро Петя.

— Поставит, — ответил Саня.

Стоит заметить, что минер Петя за бутылку мог брата родного завалить.

— Вместе ее сделаем, — заявил в возбуждении Петя и тут же для тренировки схватил кортик и принялся тыкать им в дверь, разжигая в себе убойные страсти.

— Слушай, — остановился он вдруг, — а где у коровы сердце? Справа по курсу или слева?

— Слева... наверное...

— Так, значит, слева, — задумчиво вычислял что-то Петя, отводя руку и нацеливаясь.

— Ну да, — сказал он, соображая, — конечно же, слева... Если поставить ее на задние лапы... это будет слева... м-да... А рога у нее есть?

— Есть.

— А вот это нехорошо, — сказал Петя и заметно охладел к кортику, — так дело не пойдет. Надо что-то другое придумать.

— Ладно, — сказал он после непродолжительного молчания, — мы ее по-другому кокнем, собирайся, пошли печенку жрать. Жду у трапа через пять минут.

Дома у старушки Петя хамски предложил ей сперва выставить бутылку, мотивируя свое желание поскорее с ней встретиться тем, что перед убийством всегда пужно слегка тяпнуть.

Старушка на радостях выставила не одну бутылку, а целых две. Друзья слегка тяпнули, посидели и совсем уже было отправились спать, когда бдительная старушка напомнила им, что хорошо бы приступить к корове.

— Ах, да, — сказал Петя, полностью сохранивший совесть и память, — сейчас мы ее... это... кокнуем... Где-то у нас тут было... секретное оружие?.. — с этими словами Петя, покопавшись в портфеле, выудил оттуда ПТ-3.

ПТ-3 — это патрон, содержащий два с половиной килограмма морской взрывной смеси. Им у нас плавающие мины подрывают.

Друзья захватили патрон и отправились в сарай. К корове. Сначала они пытались вставить ей патрон... гм... в район хвоста, чтоб взрывной волной (глубокое Петино убеждение) ее развалило на две равные половины.

Вставить не удалось не только потому, что корова возражала, но и потому, что отверстие было расположено слишком неудобно, даже для такого энтузиаста своего дела, как Петя.

Против того, чтобы привязать патрон к коровьему хвосту, неожиданно энергично принялся возражать Саня, у которого к двум часам почти открылось второе дыхание.

Пристроили патрон на рогах. Петя уверял, что и таким макаром идея развала буренки на две равные семядоли реализуется полностью.

Вскоре сарай заполнился шипеньем бикфордова шнура на фоне меланхолических вздохов благородного животного.

Друзья покинули сарай тогда, когда убедились, что все идет хорошо.

Взрыв потряс галактику. С дома старушки, как по волшебству, спесло крышу; от сарая осталась одна только дверь, а от коровы — четыре копыта.

Мясо же ее, распавшись на мелкие молекулы, засеяло целый гектар.

ГЕНА-ЯНЫЧАР

Гена-янычар...

Он был командиром атомной лодки — атомохода.

Небольшого роста, толстенький, он все время прихрамывал. До конца жизни его мучил тромбофлебит. И еще у него была ишемическая болезнь сердца. Он задыхался при недостатке кислорода.

— Химик, — говорил он мне, — у тебя не двадцать процентов во втором, а девятнадцать, врет твой газоанализатор.

Я проверял, и — точно: газоанализатор врал.

Это был артист своего дела. Маг и волшебник.

Сейчас все еще существует категория командиров, которые только в автономках видят смысл своей жизни.

Когда он заступал на вахту, дежурным по дивизии, на разводе начинался цирк. Он инструктировал развод ровно столько, чтоб успеть изречь:

— Я прошел сложный путь от сперматозоида до капитана первого ранга и посему буду краток. Помните: чуть чего — за пицунду и на кукал!

Замов он терпеть не мог. И делал он это в лоб, открыто.

Как-то наш зам вошел в центральный и сказал:

— Вы знаете, товарищ командир, сейчас самый большой конкурс в политическое училище, по семнадцать человек на одно место.

— Конечно! — заерзал в кресле Янычар. — Каждый хочет иметь свой кусок хлеба с маслом и ши хрена не делать.

После этого в центральном наступила вакуумная пауза, когда каждый молча и тихо занимался своим делом.

Гена-янычар...

Он чувствовал корабль каждой своей клеткой. Он даже угадывал начало аварийной тревоги — перед каждым возгоранием в электросети являлся в центральный пост. Это была мистика какая-то.

А плавал он лихо. Он менял по своему капризу проливы, глубины и скорости перехода, и мы — то крались вдоль береговой черты, то — неслись напро-

лом, на всех парах, в полосе шторма и под водой нас мотало так, как мотает только морской тральщик.

Он мог форсировать противолодочный рубеж на полном ходу, ночью, чуть ли не в надводном положении, и ему все сходило.

Он рисковал, плавал «на глазок», по наитию, на ощупь, в нарушение всего. В его решениях порой не было ни логики, ни смысла. Но он всегда выигрывал, и мы всегда приходили из автономки необнаруженными, а для лодки это даже важней, чем удачная стрельба.

После похода, на разборе, за такие тактические фокусы ему тут же ставили два шара — и он обижался.

— Да идите вы... — говорил он своим однокашникам, которые давно стали орденоносными адмиралами.

После такого «разбора полетов» он всегда приходил на корабль, устало спускался вниз, предупреждал дежурного:

— Меня ни для кого нет, будить только в случае ядерного нападения, — запирался в каюте и в одиночку напивался.

Его извлекали из недр каюты, привлекали к какой-то ответственности, наказывали или только журили; прощали в конце концов и отправляли в море.

И море все списывало...

Он здорово ходил в море, Гена-янычар...

ШТУРМАН! МЕСТО!

— Штурман! Место!

Взгляд в правый иллюминатор и сразу в левый. Карандаш двумя пальчиками поднимается над картой. Пальчики разжимаются — карандаш падает — тык! — есть место.

Вася Дубасов свое дело знает. Невязка* — ноль. Прокладку в Финском заливе, когда в правый иллюминатор смотрит один берег, а в левый — другой, ведут только салаги.

* Невязка — ошибка (морск.).

Вася слегка подшофе, но это со вчерашнего. В этой жизни он уже занял свое крейсерское положение: он штурман этой страхолюдины, старший лейтенант, и ему тридцать лет. Всего тридцать лет, а уже старший лейтенант. Бешеная карьера.

Вася — отличный штурман, и поэтому его кидают с корабля на корабль. У него уже все есть: отдельная каюта, штурманская рубка и желание в сорок лет уйти на пенсию. Ни жены, ни детей — в море, жаба!

Не подумайте, что Вася — алкоголик. Просто иногда до чертиков хочется напиться. Вася отлично рисует. Кроме картин (чем он, кстати, будет заниматься на пенсии) у него есть еще карта Кропштадта, на которой с большой любовью пивными кружками обозначены все пивные точки. Как-то ее обнаружил комбриг. Он с удовольствием все просмотрел, потом ткнул пальцем в середину:

— Вот здесь забыл.

До чертиков Вася напивается только на берегу, то есть крайне редко. Напившись, он всегда идет на корабль. Там он останавливается перед трапиком, тщательно примеряется и... с первого раза с разгона ударяется в правую леерную стойку, отходит, опять тщательно... — и в левую, затем он всегда принимает решение забежать на трап изо всех сил. Изо всех сил разгоняется и, обычно промахнувшись, пробегая мимо трапа, с криком «И-и-эх!» падает в шинели за борт. Вода при этом «совершенно не Ташкент».

Пьющую ОВРу все жалеют, как неразумного ребенка: поднимут, отряхнут и направят в часть. Даже патруль не берет. (Конечно, если ты не орешь в четыре утра диким образом в кустах шиповника и не плачешь на бордюре от невозможности подняться.)

Если Вася попадает в ресторан, он, накачавшись, ходит по залу и целует ручки у дам.

— Ме-дам, — говорит Вася, подойдя к даме, — ваши прекрасные лопатки перетряхнули всю мою жизнь. Белена застилает глазницы, ме-дам, но душа уже рвется по позвоночнику, а ниже ватерлинии происходит угрожающее биение метронома. Корявая рука судьбы влечет нас навстречу друг другу... Короче... прошу разрешения ручку... лобзнуть... — после чего

он наклоняется и у оцепеневшей девицы, выдавшей всякие виды, по все-таки не такие, целует ручку.

А однажды он выкинул вот что. Вы знаете, как ошвартованы тральщики к стенке? Попкой и форштевнями (носами то есть) связаны на всякий пожарный. Между ними семь метров провисшего каната.

Вася поспорил, что с дрыном в руках он пройдет по канату, не шепелявя, с носа на нос. На ящик красненького. Он уже был налимопенный, но чувствовал себя прекрасно.

Канат выбрали втугую, Вася взял в руки дрын — это такая тяжеленная палка, которой отпихиваются от бревен, — и пошел. Метра два он прошел, а потом, вдруг поджав одну ножку, начал раскачиваться — и-эх! и-эх! — из стороны в сторону. Дрын затяжелел, и глаза у Васи выскочили, как два крючка.

Все оцепенели, а Вася крикнул: «Мама моя!» — и упал. Но, падая, он ухитрился одной ногой зацепиться за канат и сжать его под коленкой.

Все ахнули. Вася висит вниз головой и тычет дрыном в воду: пытается найти дно и от него оттолкнуться. А дна нет. Из Васи высыпается мелочь и документы, ему кричат: «Дуб, брось дрын!», он бросает дрын и медленно (тут главное — не спешить), работая коленом, хочет забросить на канат вторую ногу. И это удается. Забросил. Теперь вспоминается молодость: он подтягивается, уже вцепился руками и ногами, а глаза все продолжают вылезать.

— Дуб! — кричат ему. — Ползи сюда! Качните его! Да посильней!

Вася, вцепившись намертво, висел целый час. Его пытались качнуть, чтоб как-то сдвинуть с места. Его так качнули однажды, что он чуть не рехнулся. Потом закинули канат на шпиль и подтянули Васю к борту. Мда-а, есть что вспомнить.

— В следующий раз, — сказал ему тогда комбриг, — за такие художества я вам вставлю в жопу ручку от патефона и проверну, а вы в это время будете исполнять мелодии Дунаевского!

— Штурман! Место!

В правый иллюминатор и быстро в левый. Карандаш над картой — тук! — есть место.

НОЧЬ

Ночь, старая чертовка, подползла и прикикла к иллюминатору. Через открытую дверь железом и йодом дышал Тихий океан. В рубке распорядительного дежурного, за стеклом, выхваченный лампой из мрака, как редкое тропическое земноводное, мучился лейтенант. Два часа ночи. Лейтенанту катастрофически хотелось спать. Он терял сознание. Голова опускалась на стол, как ведро в колодец, рывками, все ниже и ниже; покидаемое мыслью тело билось в конвульсиях, стараясь устроиться поудобней. Голова добилась своего — бильярдно ударилась лбом о стол. Брызнули искры, лейтенант пришел в сознание и бешено оглянулся на дверь. Ему показалось, что в дверь кто-то лезет, черный, толстый. Фу ты, черт! Он остервенело помял лицо ладонями, но как только лицо осталось в покое, сознание закатилось, и голова рухнула снова.

Телефонный звонок расколол ночь.

— Да... — осипшим со сна голосом отозвался лейтенант.

— Что «да», чем вы там занимаетесь? — спросила трубка.

— Двадцать два, двадцать три, лейтенант Петренко, слушаю вас, — поправился дежурный. Сон отлетел, голова прояснела.

— Ну, то-то, — смилостивилась трубка, — где у вас командир дивизии?

— На месте... то есть дома.

— А начштаба, начпо... эти тоже по домам?

— Так точно!

— А где экипаж Петрова?

— В море.

— Когда приходят?

— Через месяц, наверное.

— Так, ладно, подождем, а экипаж Жукова, я слышал, прибыл с контрольного выхода?

— Так точно!

— Замечаний нет?

— Никак нет!

— Когда они за угол?

— Точно неизвестно, но где-то четвертого.

— Боеготовность кораблей?

Лейтенант перечислил.

— А с кем я разговариваю? — наконец-то сообразил он.

— С резидентом японской разведки, — отчеканила трубка и заморзачила многоточием.

Все! Жизнь кончилась. Лопнула в барабанных перепонках. Вокруг плыла ослепительная тишина. Черные тиски сдавили бедную человеческую душу. Все! Продано! Он продал. Всех. Позор. Позор, вопочий, липкий, как лужа под себя.

Лейтенант рванул ворот, он тонул в испарине, китель противно лип к телу, руки дрожали, пальцы выплясывали. Лейтенант расстегнул кобуру, вытащил пистолет и, положив его на стол, ошалело уставился перед собой. Холодное дуло коснулось виска, подбородок затрясся. Сейчас, сейчас... В горле царапался колючий язык. Сейчас... Главное, с предохранителя... с предохранителя, главное... Он... сейчас... Он сделает... сможет...

Кто-то ворвался в рубку, схватил его за руку, за плечи и закричал. Он не слышал, не видел, не понимал. Наконец он узнал его. А-а, однокашник. Да, вместе учились.

Как сквозь пелену, до него донеслись крики:

— ...Ты что? Это ж я был... это я был сверху... с верхней палубы... там есть телефон... ты что?

Лейтенант затрясся плечами, его колотило, било беззвучно.

Потом он плакал: мокрый, маленький, жалкий... Он все время тянул носом. Слезы оставляли грязные полосы...

Таяла ночь.

Равнодушный рассвет гнал в открытую дверь сырость.

Было серо и холодно, дышалось с трудом, и на дне каждого вдоха собиралась усталость.

ЛИЧНЫЙ ВРАГ ФЮРЕРА

«Горбатая»* только что отстрелялась малышами и теперь всплыла, продув среднюю.

Малыши — это такие небольшие торпедки-шумелки. Подводная лодка в стрессовой ситуации выбрасывает их и, пока они гремят на всю Атлантику, тихо смывается. Так, во всяком случае, по теории.

После стрельбы нужно всплыть и найти этих малышей. Потеряв ход, они торчат из воды оранжевыми головами. Вылавливают их торпедоловы — специальные катера, сокращенно — те-элы.

— Начать поиск торпеды! — передали на те-элы приказ командующего. Его вывозили в море на «горбатой».

Лодка дала средний ход, и катера вслед за ней запрыгали по волнам.

Самый страшный зверь на таком катере — мичман, поэтому при выходе на торпедные стрельбы для устрашения на него подсаживают какого-нибудь старпомом с лодки и пару «веников» — вахтенных офицеров, лейтенантов как правило.

Группы были посажены в 24.00. За ночь не спали ни капли.

Старпом двести шестнадцатой, усиливший собой те-эл 1124, капитан второго ранга Гаврилов, пребывал в засученном состоянии. Он раскатисто зевнул, снабдив остатки мозга кусочком кислорода, мотнул головой и осоловело уставился в волны.

От ботинок до заломленной на ухо фуражки все говорило о том, что он прожил биографию, полную мата и романтики, а умеренный алкоголизм плюс карьера с перебитым хребтом, волочившая бесполезные задние ноги, сформировали его отношение к жизни, протяжное, как плевков под ноги.

Оттопырив губы и уши, насквозь сырой, взъерошенный, Гаврилыч пристроился за спиной у рулевого, с ненавистью наблюдая проклятые голубые просторы: видимость двадцать миль, чтоб ее черви съели.

* «Горбатая» — ракетная подводная лодка.

На горизонте показалась точка. Точка стремительно вырастала.

Прямо на нас. Кто это к нам так чешет? Двадцать восемь узлов, не меньше. Где у нас бинокль?

Получив бинокль, Гаврилыч привинтил его к глазницам.

Двадцать восемь узлов за несколько минут сделают из точки корабль. Так и случилось: из точки получился корабль.

Дистанция сто тридцать пять кабельтов. Крейсер УРО*. Атомный. Типа «Миссисипи». Америкосы пожаловали. Посмотреть нас приехали.

Примчались, курвята!

Крейсер сбросил ход и на инерции вывесил флаги. Международный свод. Вот, черт!

Гаврилыч мгновенно проснулся. На обоих те-элах и на «горбатой» лихорадочно читали американские флажки и не могли прочитать. Даже в дрейф легли, чтоб не мешать процессу. Тяжкое это дело для подводника — флажки.

Гаврилыч наконец расшифровал, напололам с грехом: «Застопорил ход. Прошу соблюдать осторожность».

Всего-то? Чтоб вы подошли. Ну и что же мы будем иметь дальше с вашей осторожностью?

Крейсер-то покрупнее наших будет. Широкий, гад. У наших нос острее. А эти утюги утюгами. Но скорость хорошая. Вои как палетел. Соблюдает он осторожность. Как же. Негров на палубе много. Что-то почернел флот Соединенных Штатов, почернел. Блестит чего-то. А-а, фотоаппараты. Щелкать нас сейчас будут, чтоб вас похоронило.

— Петров!

Гаврилыч подозвал лейтенанта; лейтенант всю укачивался.

— Ну-ка, оторвись, еще накашляешься.

— На, — вручил он лейтенанту бинокль, — чем блевать без толку, лучше изучай врага.

От крейсера отделилась точка и на всех парах помчалась к подводной лодке.

* УРО — управляемое ракетное оружие.

— Резиновая шлюпка, — доложил лейтенант, — навесной мотор. В шлюпке двое. Рулевой и еще один хрен в жилете. Чешут прямо на нас. Нет, они к лодке пошли. Анатолий Иванович, по-моему, они с ней скоро поцелуются.

— Дай сюда, — Гаврилыч вырвал у лейтенанта бинокль. — Так, глассер, значит. Прямо на командующего дует. Взрывать, что ли, нас едут? А, Петров? Ну и что же наши командиры? Да, они сейчас какают во все глаза. Принимают решение. Что-то долго они там ботинок жуют. Ну! Рожайте!

— Приказ командующего! — крикнули в рубку. — Те-элам отогнать шлюпку!

— Ну наконец-то, родили. Полный вперед!

На-а! Выстрелили двигатели; винты вспороли воду; катера дрогнули, рывкнули по-собачьи и рванули. Пошла травля!

Шлюпка удирала, как заяц от гончих; катера летели, настигали: вот-вот сейчас догонят, навалятся, возьмут в клещи, разнесут на клочки.

Шлюпка дразнилась, сбрасывала ход, крутилась на месте. С нее что-то кричал тот, в жилете.

Давай, давай, смотри не захлебнись!

Катера проскакивали, начинали сначала, догоняли, чуть не сшибались: вот-вот кто-то врежется, а шлюпка — та только квакнет. Дрожал корпус, и люди дрожали от злости, скачки, нетерпенья.

У Гаврилыча пропал весь его алкоголизм. Красный, потный, полный жизни, сразу молодой, азартный, с выпученными глазами, широко растопырив ноги, он вцепился в плечо рулевому и кричал ему:

— Дай! Дай ему! Дай!

Матроса не надо было взбадривать. Он все равно ничего не слышал. Он видел только шлюпку: вот она!

— Ррраз-дав-лю! — рычал рулевой. — Ррраз-дав-лю, сука, раздавлю!

Рывок — и шлюпка, намного обставив те-элы, бросилась к малышам.

Уволочь хотят! Вот вам херушки!

— Стреляй! — крикнул Гаврилыч лейтенантам, стоявшим в состоянии «на-товсь».

Лейтенанты действовали как автоматы: грохнули из ракетниц. Две ракеты с шипеньем прошли над шлюпкой и шлепнулись в воду: промазали. А жаль.

В шлюпке сильно пригнулись, распластались и, проходя мимо малыша, торопливо треснули его молотком по голове и бросились к крейсеру.

Рулевых оттаскивали силой: иначе они бы таранили крейсер.

Шлюпка спряталась под бортом крейсера. Играть ей расхотелось.

Малыши не пострадали: наше железо ни в какое сравнение не идет с их пластмассой.

Гаврилыча потом долго таскали: Рейган прислал поту — «нападение на беззащитную шлюпку» и еще там чего-то.

Гаврилыча называли «личным врагом фюрера». Он написал кучу объяснительных: как стрелял, чем стрелял, зачем стрелял, где ваша прокладка? покажите ваши курсы!

Какие курсы? Крутились, как жопа на помеле.

Гаврилыч заперся в каюте и напился. Он долго сидел пьяненький, в распахнутом кителе, обиженный и сам себе говорил:

—...от флот, едрена мама. Ведь собака на цепи. А зачем собаку держать на цепи? Чтоб гавкала? Пугала народ? Символизировала? Лизала себя? Так они ж знают прекрасно, что ты ее с цепи никогда не спустишь. Слаб подгузничек-то, слаб. Эх вы, писеньки! Объяснительные ему пиши. Не желаю я! Я! Старпом Гаврилов! Атомного! Ракетного! Подводного! Советского! Флота! Пь-янь бе-зо-браз-на-я! Не желаю! Никому и ничего объяснить! Я им по морде дать желаю! По мор-де! Мне плюют в мою государственную харю, и я же еще и извиляюсь? Да я их распетушу так, что они у меня маму вспомнят. Изуродую, как Бог черепаху! Курвы тыловые! Учить меня вздумали. Суки. Курс ему проложи. Воткни карандаш в жопу и проложи. Курсы. От, едрена мама...

Гаврилыч сидел взъерошенный и злой.

Но скоро спирт, этот великий успокоитель, пачал действовать, и Гаврилыч ослаб, осел, раздался, осоловел, но все еще, бедняга, говорил, говорил и говорил...

«МАРШАЛ ЧОЙБАЛСАН»

Крейсер лежал на рейде, как большое серое привязанное животное. День догорал. На крейсере сдавалась вахта. Старый лейтенант сдавал молодому лейтенанту. Впереди было воскресенье, и капитан улыбался. Его ждали любовь и жаркое.

— Ну, салага, — сказал он лейтенанту, направляясь к последнему на сегодня катеру, — смотри, не позорь меня, служи, как пудель. Тебе служить еще, как медному котелку. Ох, — капитан закатил глаза и вздохнул, — если бы все сначала и я опять лейтенант, повесился бы.

— Да, совсем забыл, — вспомнил он уже на трапе, — завтра не забудь организовать встречу «маршала Чойбалсана».

«Маршалом Чойбалсаном» на Тихоокеанском флоте называли баранину из Монголии. Ее подвозила портовая шаланда. Молодой лейтенант о таком названии баранины не знал.

— Не беспокойтесь, — кричал он капитану на отходящий катер, — все будет нормально.

После того как катер отошел, лейтенант прозрел.

— Чего ж я стою? Скоро ж драть начнут. Надо начальство завязать на это дело, маршал прибывает.

К счастью, лейтенант был начисто лишен изнеженности и впечатлительности. Это был крепкий троечник, только что из училища и сразу же сдавший на самостоятельное управление. Его не жрал с хвоста комплекс неполноценности. Наоборот, в компенсацию за такие условные потери, как изнеженность и впечатлительность, он был с избытком награжден решительностью. Такие нужны на флоте: суровые и решительные, творцы нового тактического опыта, влюбленные в железо и море.

Именно решительность избавила лейтенанта от разбрасывания фекалий пропеллерными движениями копчика в первый же момент поступления такой лихой вводной о маршале Чойбалсана. Вводную нужно было отдать, и лейтенант отправился к старпому.

— Разрешите? — втиснулся он в дверь.

— Да, — старпом был, как ни странно, трезв. — Ну? — воззрился он на мнущегося лейтенанта.

Услышав о завтрашнем посещении корабля маршалом Чойбалсаном, старпом на мгновение почувствовал во рту запах горького миндаля.

— Лейтенант, — скривился он, — ты когда говоришь что-нибудь, ты думай, о чем ты только что сказал. У меня такое чувство... что ты когда-нибудь укараулишь меня со спущенными штанами в районе унитаза и объявишь, вот с такой же счастливой рожей, войну Японии. Я укакаюсь когда-нибудь от ваших вводных, товарищ лейтенант.

— Товарищ капитан второго ранга, — заспешил лейтенант, — я здесь ни при чем, по вахте передали, с берега передали, — присочинил он.

— Кто передал?

— По вахте...

— Кто с берега передал?

Притертый к стенке лейтенант мечтал уйти невредимым.

— Командир... видимо... — выдавил он.

— Хе, — видимо, — хмыкнул старпом.

«Вот командир, — подумал он, — салага, сынок с мохнатой лапой, вот так всегда: исподтишка позвонит, и на крыло. Все я, все везде я. А награды? Одних выговоров семь штук. Так, ладно».

Старпом сидел в старпомках уже семь лет и был по крайней мере на пять лет старше командира.

«Чойбалсан же умер», — подумал старпом.

«Черт их знает в этой Монголии, — подумал он еще, — сколько у них там этих Чойбалсанов».

— Так, ладно, — принял он волевое решение, — большая приборка по подготовке к встрече. Завтра на подъеме флага форма два. Офицеры в белых манишках и с кортиками. Всех наших «албанцев» сейчас расставить, понял? Кровь из носа! Я сейчас буду. Красить, красить, красить, понял? Если что найду, размножалки оборву.

Дежурный исчез, а старпом отправился обрадовать зама. Он представил себе физиономию зама и улыбнулся. Старпом любил нагадить заму прямо на праздничное настроение.

«Сейчас он у меня лозунг родит», — радовался старпом. Собственные мучения представлялись ему теперь мелочью по сравнению с муками зама. Старпом толкнул дверь, зам сидел спиной к двери и писал.

«Бумагу пачкает, речью исходит, — с удовольствием отметил старпом, — сейчас он у меня напряжется».

— Сергеич, — начал он прямо в острый замовский затылок, — дышите глубже, вы взволнованы. Сейчас я тебя обрадую. Только что с берега передали. К нам завтра на борт прибывает маршал Чойбалсан со своей сворой. Так что пишите лозунги о дружбе между нашими флотами. Кстати, твои «козлы» умеют играть монгольский гимн?

«Козлами» старпом называл корабельный духовой оркестр.

С лица зама немедленно сползло вдохновение, уступив место обычному выражению. Он вскочил, заметался, засуетился и опрокинул стул. Старпом физически ощущал, как на его пезаживающие раны каплет бальзам.

— Я в политотдел, — попал наконец в дверь зам. — Михалыч, — кричал он уже на бегу, — собери этих «козлов», пусть гимн вспоминают.

Зам прыгнул в катер и уплыл, помогая руками.

Через несколько минут взъерошенный оркестр на юте уже пытался сыграть монгольский гимн на память. Выходило плохо, что-то среднее между вальсом «Амурские волны» и «На сопках Маньчжурии». На корабле тем временем поднялась кутерьма. Мыли, драили, прятали грязь и сверху красили, красили, красили. Старпом был везде. Он ходил, нагибался, шюхал воздух, обещал всем все оборвать, выгребал мусор крючком из труднодоступных мест и тыкал носом.

Зам вернулся с лозунгами и гимном. Всю ночь оркестр разучивал его. Утром корабль сиял. За одну ночь сделали то, что не могли сделать за месяц.

На подъем флага построились в белых форменках. Офицеры — в кортиках. Вошедший на палубу командир не узнал свою палубу.

— Товарищ командир, — доложил старпом, маскируя торжество равнодушием, — корабль к встрече маршала Чойбалсана готов.

Старпом застыл с таким видом, будто он через день встречается какого-нибудь Чойбалсана. Командир, с поднятой кверху рукой, секунд десять изучал довольное лицо старпома.

— Старпом, какой к такой-то матери Чойбалсан? Вы что, совсем уже, что ли? Распустить всех, и по распорядку дня.

В эту минуту на корабль прибыли два представителя из политуправления для оказания помощи по встрече маршала Чойбалсана. У командира вмиг отпали все сомнения. Он бросился в катер и умчался к командиру.

— Товарищ командующий, — ворвался он к начальству, — ну что я всегда последним узнаю? Сейчас ко мне прибывает Чойбалсан со своей сворой, а я вообще как белый лист бумаги. Эти... из политуправления уже прискакали... Что же это такое, товарищ командующий?

— Не волнуйся, сейчас разберемся... Какой Чойбалсан? — подскочил в кресле командующий.

Через пять минут белый катер командующего, задрав нос, уже мчался на всех парах к крейсеру. По дороге он обогнал шлепающую пьяным галсом в том же направлении портовую шаланду.

Старпом увидел подлетающий катер и оглянулся вокруг с плакатным лицом. Вот едут, наступил его час.

«Все время я, — застонал он про себя, — вот где этот недоносок? Кто сейчас этого члена монгольского встречать будет? Опять я?»

— Играй, — махнул он «козлам», и «козлы» задуели.

Вместо «захождения» они сыграли подходящему катеру командующего гимн Монголии.

— Что это? — спросил командующий у командира крейсера.

— А... Чойбалсан уже на борту... видимо, — обреченно ответил тот.

Винтом по трапу, и командующий на палубе.

— Где Чойбалсан?

Шагнувший к нему дрожащий от нетерпения старпом едва сдержался, чтобы не сказать что-нибудь монгольское.

Недоумение еще висело над палубой, когда из-за борта послышалось тоном, равняющим испанского гранда с портовой сукой:

— Эй, на крейсере, принимай «Чойбалсана».

И на помытое тело крейсера полетели куски потной баранины. Шаланда встала под разгрузку.

ФОКУС

...Под дверью:

— Товарищ Батонкин!!!

— Да я не Батонкин, а Буханкин!

— Вот я и говорю, товарищ Батонкин, это безобразие!..

.....

Дима Буханкин был здоров и годен только на подводную лодку. Только туда и больше никуда, и подводная лодка, вцепившись в него, как любовница в оступившегося мужа, как мышеловка в шакала, всегда висела на хвосте. Можно было бежать, бежать целый день, но она всегда оставалась. Не хотела его отпустить. Уже десять лет. Какое глупое железо! Но однажды хочется сказать: «Нет! Хватит!» — хочется сказать! А что делает подводник, если его не пускают, а ему хочется сказать? Он пишет в рапорте все, что ему хочется.

Хотеть не вредно и, главное, не больно. Но заразительно. Заразительное это дело — рапорты.

Дима Буханкин писал. Долго, красиво, мучительно. Старательно высовывая язык: «Прошу меня тогда демо-би-ли-зо-вать!»

Его рапорт прочитали быстро. Быстрей, чем он его изобразил. Прочитали и расхохотались ему в лицо. Дима никогда прежде не видел, чтоб кусок бумаги мог так развеселить. Подброшенный, пополам порванный рапорт он еле успел подхватить.

В таких случаях, прежде чем хохотать, хорошо бы убрать из-под подводника всякие тяжелые, тупые предметы. Но Дима, как это ни странно, сдержался и сказал только: «Ну, есть!»...

Как только вечернее солнце легло на воду на Северном флоте и залив добавил в прохладу запах гниющих водорослей, дежурный по лодке офицер Дима собрал в центральном вахту на отработку по борьбе за живучесть (чтоб они вспомнили, куда бежать). Собрал, проинструктировал и, распустив по отсекам, объявил начало отработки. Объявил, а сам отправился к заместителю командира по политической части, за чем-то почующему на корабле. Перед дверью замка Дима надел на шею дыхательный аппарат, вымазал себе рожу заранее заготовленным углем и попрыгал для пота.

Отработка вахты разгоралась стремительно: «А-варий-на-я тревога! Пожар в восьмом!..» Дима подождал, чтоб разгорелось посильнее, попрыгал еще, чтоб получилось попотнее, и вломился в замку в каюту.

Сан Саныч Глоба, боевой замполит, спал, свернувшись на подушке, как бедный козленок, оставленный мамой.

«Даже жаль гада», — подумал Дима и встряхнул зама, как варвар мумию.

— Сан Саныч!

— Га?!

— Сан Саныч!

Зам некоторое время сохранял форму подушки.

— Пожар!

Дима задышал горелым.

— Там пожар! В восьмом! Там люди не идут в огонь! Там горит! Я один! Я побежал! — крикнул он уже на бегу и швырнул зама обратно на подушку.

Зама тут же с нее сдуло. Возможность быстрого конца сделала его с лица зеленым.

В центральный зам вбежал в трусах, волосато задрыгал, босоного зашлепал и заорал болотной выпью так, будто сзади его ели вилкой:

— Встать! Немедленно в огонь! Все в огонь! За мной! Я приказываю встать!

Пока он бежал до центрального, Дима уже успел умыться и собрать вахту для разбора учения. Вахта вытянула физиономии: учились, учились — на тебе!

— Встать!

Дима опомнился первым:

— Так, трое, вот вы, взять его — он у нас глобнулся!

Зама схватили и головой по ступенькам, как неразумную гориллу, потащили в каюту. Там его связали и уложили.

Зам сначала обомлел, а потом, даже связанный, хрипло плевался, сражался и кричал:

— Скотища! Я тебе покажу «глобнулся»! — но потом он затих и обещал вести себя хорошо.

Утром Диму поволокли к начпо.

— Товарищ Батонкин...

— Я не Батонкин, а Буханкин.

— Понятно. Ну, так объяснитесь. Что это такое? В чем дело?

— Шутка это, — сказал Дима. — Фокус. Пошутил я. А он и обиделся. Но ведь без шутки пельзя, понимаете? Вот если б я над вами пошутил, вы бы тоже обиделись? А в войну? Без шуток на передовой трудно было. Я читал. И над замполитами шутили. И ничего. Все понимали. А как я добежал раньше него, а? И уже умыться успел. Вот, хотите, я вам сюда воду напущу? Хотите?

Начпо невольно оглядел каюту: ниоткуда даже не капало.

— При чем здесь вода?!

— Это просто фокус такой, — Дима умоляющими глазами смотрел на начпо, — понимаете, фокус. Закройте глаза, сосчитайте: «И-раз, и-два, и-три», откройте глаза — и кругом вода. Вот по этот стол. Даже брюки замочите. Хотя не замочите. Просто сядете повыше. А закроете опять глаза, сосчитайте до трех — и воды как не бывало. И сухо везде. Вот хотите? Вот если я вам такой фокус покажу, вы меня простите?

Вообще-то авантюризм не свойственен нашему политотделу, нашему политотделу свойственно, скорее всего, любопытство.

Начпо свернул свой коврик, положил его повыше, взял в руки нижние ящики стола и, чтоб не замочить штаны и бумаги, сел на стол, по-турецки скрестившись, закатил глаза и, покачиваясь, как мулла на закат, затянул: «И-и-и-раз!»

При счете «и-раз» Дима пропал из каюты со скоростью вихря и в одно дыхание, с аварийным до пояса лицом, влетел к командиру дивизии.

— Скорей! — завопил он дурным голосом. — Там начпо! Совсем уже! А то не успеем!

Командир дивизии выпрыгивал из-за стола и мчался к начпо ровно полсекунды.

За это время Дима успел патараторить ему в спину:

— Вызвал меня для беседы и вдруг наклоняется ко мне, глаза вот такие бешеные, и говорит шепотом, сейчас, говорит, вода здесь будет, надо, говорит, спастись. Влез на стол и сидит там, а сам все считает и считает. Чего-то.

Когда они ввалились к начпо, тот все еще сидел на столе в позе лотоса, обняв ящики, и, закатив глаза, запудно бредил: «И-и-и-три!»

— Даниил Аркадьевич!

— А?

Есть на флоте минуты, когда тебя удивляет вот это волосатое колченогое напротив.

— Что с вами?

На начпо еще не сошло Божье озарение.

— Так... ведь вода-а... должна... пойти... — потерянно тянул он.

— Какая вода? Очнитесь!

Начпо очнулся и захлебнулся хлынувшей злобой.

Прямо со стола он позвонил начпо флотилии.

— Этот Батонкин! — выл он в трубку. — То есть Буханкин!

Диму уволили в запас через месяц.

ЧУДОВИЩЕ

В мичмане Саахове было шестьдесят килограмм живого веса при росте от пола один метр тридцать четыре сантиметра.

Были люди в экипаже, которые мечтали его или убить, или сдать живьем в кунсткамеру Петра Первого.

Своими малюсенькими руками он мог совершить на лодке любую доступную человечеству аварию. К работе он допускался только под наблюдением. Без наблюдения что-нибудь происходило.

С начала межпоходового ремонта он брал в руки гнутую трубу и ходил с нею везде и всюду до конца ремонта.

Так он был безопасен.

— Где сейчас чудовище?

— В первом. Там редуктор ВВД травит.

— Он что, там один, что ли?

— Да...

— С ума все посходили. Он же сейчас убьется или пол-лодки разнесет.

— Да что он, совсем дурной?..

Чудовище отловили в тот момент, когда оно, прикусив язык, с вожделием откручивало предохранительный клапан редуктора высокого давления — редуктора ВВД; осторожное, как на мином поле, миллиметр за миллиметром оно крутило, останавливалось, прислушивалось ухом и опять крутило, внимательно наблюдая за всем этим своими малюсенькими, остренькими человеческими глазенками.

С той стороны его караулило четыреста килограмм.

— ПАРАЗИТИНА!!!

Так никто из людей еще не орал. Старшина команды дал ему грандиозную затрецину и тут же влет, как по футбольному мячу, стукнул погой по заду.

Любому другому затрецина такой величины оторвала бы голову, а удар по заду оторвал бы зад.

— Убить меня хочешь?! — орал старшина. — Зарезать?! В тюрьму посадить?! Мозги захотел на переборку?! Ну, ладно тебя, дурака, убьет, черт с ним, но я-то за что страдаю?!

Через минуту старшина уже сделал редуктор и успокоился.

— Слушай, Серега, — сказал он, — лучше б тебя убило. Я вот так подумал, честное слово, ну сдал бы я эту несчастную десятку на погребение и успокоился навсегда. Сидел бы дома и знал, что все на свете хорошо: лодка не утонула, ты — в гробу...

Сергея в этот момент сокрушался. В этом он был большой мастер, большой специалист. Вешал голову и сокрушался. Лучше него никто не сокрушался.

Но иногда... иногда в нем, как болезнь, просыпалась первобытная жажда труда, и тогда он удирал от всех, он исчезал из поля зрения и приходил в свой отсек. Он ходил по пустому отсеку хозяином, человеком, властелином металла; он ходил по отсеку и подходил к работе; он подходил к работе, как скрипач к скрипке перед извлечением из нее божественных звуков; он брался за работу, делал ее и... взрывался.

Однажды взорвался компрессор: блок осушки веером разнесло в мелочь; на палубе выгородки на каждом квадратном сантиметре лежал маленький рваный осколок.

Блок осушки рванул у Сереги в руках, но на нем не было ни единой царапины: Серега был целенький, как в свой первый день.

Лодку встряхнуло. Из центрального и из других отсеков в первый бежали все кто мог.

— Где чудовище? — спрашивали на бегу.

— В первом! — отвечали и молотили сильнее.

Навстречу им через переборку, как слоненок из слона, вылезал Серега. Он встал наконец и затрясся курдючным задом.

Когда Серега отошел от потрясения, он рассказал, как это все произошло в его ловких ручонках. При этом он пользовался только тремя словами — «я», «оно» и «вот».

— Я — вот, — говорил он, и глаза его вылезали из орбит от пережитого, — а оно — вот! Я — вот! А оно — вот!!!

В конце концов его продали на берег.

Ходили продавать всем экипажем. Сначала предлагали всем подряд за бутылку спирта, но из-за такой маленькой посуды его никто не брал. В конце концов сговорились за ведро. А потом еще добавили.

Чудовище, покорно сменив хозяев, вздохнуло и, обмякшее, осталось на берегу.

А все остальные вздохнули и ушли в автономку.

ОЗОН

Науку теперь в одиночку не делают. Ее теперь делают большим количеством. Вот лежим мы с Вовой в каюте: он на нижней полке, я — на верхней, — а исследования наши продолжаются. Мы с ним озон посланы искать. Померещилось некоторым линзоглазым, что на подводных лодках этой дряни павалом, из-за чего они и горят, сырые. Дебилизм, конечно, но что делать: лучше меня на эту затею никого не нашлось. Как только автономкой запахло, так у всех в нашей чудной конторе, знаете ли, уши завяли, из носа чернь закапала, и гайморовы пазухи сейчас же протекли. Вот я и корячусь теперь за всех цитрусом. Это у меня двенадцатая автономка.

Когда я в первую свою собирался, с нами тоже паука мечтала отправиться. Прибыл какой-то хрен светозарный, влез он решительно в рубку, встрепенулся и еще чего-то руками хотел сделать, но как только он прорубь верхнего рубочного люка узрел, так ему сразу же как-то плохо стало: чуть в отверстие не выпал — и за сердце, и на носилки, и с пирса долой. Передал мне через кого-то чемодан со своими стеклянными глупостями — индикаторными трубками — и инструкцию на 127 листах, чтоб я не спал, не жрал, а только ходил и мерил. По телефону проинструктировал меня и отъехал.

Я немедленно вызвал своего мичмана Червякова, который всегда потел в преддверии работы, и назначил при нем себя старшим научным сотрудником, его — младшим, после чего поручил ему спустить чемодан с этим дерьмом драгоценным внутрь прочного корпуса. Червяков отправился наверх, обвязал там чемодан веревками и только собирался его в дырку окунуть, как веревки соскочили, чемодан вывалился, пролетел с веселым свистом метров двенадцать и рассыпался по палубе. Трубок уцелело только три — и все, что удивительно, на аммиак. Мы решили их на галюне 3-го отсека испытать. Там от аммиака просто глаза резало. Зашли внутрь, дверь для приличия прикрыли и по инструкции через трубку все прососали, а она показала,

что аммиака нет. Мы тогда так в отчете и отразили — аммиака нет!

Вова, между прочим, конструктор подводных кораблей. Правда, он их живьем никогда не видел, только на бумаге, а тут зашел и обомлел — теперь лежит и боится за свою жизнь малоприятную, а мы уже в море далеко. Часов шесть как от пирса оторвались.

Я ему говорю:

— Вова, ты за свое тело волосатое не беспокойся. Если эта лохань Крузенштерна тонуть начнет, лежи и не дергайся — все равно ничего не успеешь, только пукнуть: раздавит и свернет в трубочку, а аппараты наши индивидуально-спасательные, вами, между прочим, изобретенные, рассчитаны только на то, что эта железная сипидра, утонув и не расколовшись, тихо ляжет на грунт на глубине 100 метров, так что и искать его в отсеке не следует.

Чувствую, Вова подо мной заерзал, койка так и застонала жалобно. А для меня это как ветерок для прокаженного. Я вдохновился и продолжаю.

— Если пожар, — говорю, — ваши же придурки, сам понимаешь, спроектировали все так, что у нас тут как в камере внутреннего сгорания; всё рядом: и горючее, и фитилек; так вот, если пожар, тоже бежать никуда не надо — на морду пристраиваешь тряпочку, смоченную в собственных сиюминутных испражнениях, потому что из-за дыма все равно ничего похожего на противогаз не найдешь, хоть держи его все время возле рта; так вот, тряпочку, чтоб не першило, на носик — и через несколько вздохов вся кровь в легких прореагирует с окисью углерода, и заснешь ты, как младенец, навсегда.

Вова опять подо мной — шур-шур, а я ему:

— А если, — говорю, — заклинка рулей на погружение, держись за что-нибудь ручками, а то еще забодает какой-нибудь ящик, а там — очень ценные запасные части.

Только я открыл свой рот, чтоб его еще чем-нибудь ухайдакать, как тут же из «каштана» понеслось:

— Аварийная тревога! Пожар в четвертом! Фактически! Горит...

И тут же все оборвалось; что горит, непонятно, и сейчас же топот ног — туда-сюда побежало-закричало-упало-встало-прибежало, назад на дверь бросилось.

Чую: Вова вытянулся как струна или как тетива, я не знаю, лука, что ли, — и все вытягивается и вытягивается, скоро ногами в переборку упрется, а башкой чего-нибудь наружу продавит.

Решаю его утешить.

— Слушай, — говорю, — давай спать, а? Ну чему там в 4-м гореть? Это у них фильтр польхнул или на горячую плиту у кока масло вылилось. Если они не идиоты, то через минуту отбой тревоги. Хочешь поспорим, что так оно и будет? Вот следи за временем.

И Вова полез за часами. Все-таки великое дело в такой момент занять человека чем-нибудь.

Ровно через 50 секунд: «Отбой аварийной тревоги! Пожар потушен!»

— Ну вот, видишь, — говорю я, — и ничего особенного.

И тут Вова стал шумно воздух из грудной клетки выпускать. Выдыхать то есть. И так долго он выдыхал, что я за него даже беспокоиться начал: что он там, цистерну, что ли, про запас набрал?

— Фу! — выдохнул Вова. — Закурить бы.

— Да я ж не курю, — говорю ему.

— А я вот теперь курю, — сказал Вова. Потом он встал и вышел.

«Пусть погуляет, — подумал я и повернулся на другой бок. — А вот мы спать будем. Теперь еще долго-долго ничего не случится».

А озон мы тогда так и не нашли, чтоб их всех закапало.

ПРИШЛИ

Лодка пихнула пирс. Пришли...

В рубке пахнет дохлой рыбой. Как всегда...

Мороз. Градусов двадцать. Ночь. Свежий воздух...

Это вкусно, когда свежий воздух...

Другой мир. Не попадаешь в улыбки, в ответы...
Мы не из этого мира.

Построение без музыки и слов. Так лучше.

На пирсе начпо.

— Здр-рра-вст-вуй-те, товарищи подводники!

— Здравия желаем...

Мы всегда здороваемся негромко.

— Благодарю за службу!

— Служим...

— Вам предстоит участвовать в учении... по загрузке продовольствия...

Учение по... Учение тыла флотилии. Кто только на нас не учится, точно мы кролики. Интересно, по домам сегодня отпустят или как? Скорее всего — «или как», черт.

— Учение начнется еще сегодня и продлится завтра и послезавтра...

Очень хорошо...

— ...и еще у вас два выхода в море на расширенные гидроакустические испытания... для научных целей...

Подводник всегда используется расширенно, как некое резиновое изделие...

— ...оргпериод...

Пошли сладости. Хочется работать в режиме погремушки: череп толстый — мозг в горошину; идешь и гремишь. Вот были бы испытания... гидроакустические. На-у-ка, слу-шай, как мы гремим. Подводники... Про отдых ни слова... А, вот, есть чуть-чуть...

— Потом у вас отпуск до 20 марта. Отпуск за 1985 год.

В декабре, значит, гонят. А долги?

— ...а за 1983 год вам вернут в середине года... я вам это могу твердо обещать...

Ну, если у вас твердо... Может, и вернут... а может, и простят. У настоящего подводника отпуск кастрирован с обеих сторон. Воруют, прощают... Зимой, значит, отпуск. Зимой везде хорошо.

Жены мерзнут на КПП. Скорее бы эта бодяга кончалась...

Жена... Непривычно как-то... Тепло. Жена. Щека к щеке... Вспомнил — моя жена... Почему-то смотрит в сторону. Наконец-то получилось: теперь смотри по-человечески — в глаза. Говорим, говорим...

Смеяться пока не получается... а вот, получилось... Автономка копчилась...

Пошла погрузка. Пять «камазов» продовольствия. Горы коробок. Ни спать, ни жрать — грузить! До упора! Упор у нас раздвижной, чтоб ему...

Давай, давай, славяне! Нада! Навалились, оно провались!

Ящики, ящики... ящики...

— Меш-киии! Мешки наверх!

Банки... Пакеты... Сахар по палубе... за ним мясо — в грязь, потом пойдет на котлеты...

— Дер-жи! Кто в ЛЮКЕ?!! Какая сука на подаче?!!

Семь ящичков с сахаром на одной веревке.

— Порвется же!

— Не порвется, закидаем по-быстрому — и спать!

Чуть не улетел вслед за ящиками.

— Па-ра-зи-ти-на! Гробиуться захотел?!!

Семь ящичков сахара — сто пятьдесят кило.

— Эй, наверху, полегче!

— Не держат, суки!

— Перестаньте бросать!

— Я кому-то по роже сейчас настучу!

Сахар по палубе. Пачки хрустят под сапогами; банки, пакеты, почки, рыба, компот — все это летит вниз, падает, бьется.

Наколотый компот не идет из банки — замерз. Черт, пить хочется. Куда его теперь, наколотый? За борт!

— Куда бросил?! Отогреть же можно — поставил на транс (трансформатор) — и пей!

— Не сообразил.

Погрузка. Всего будет пять «камазов», закидаем — и спать!

Спать...

День с похмелья. Он еле открывает свои мутные глаза. Хоть спички вставляй.

Полярная ночь. Рассвет в двенадцать, а в два уже темень.

Небритый. Бритый — значит, выспавшийся.

Снег валит. На пирсе гора мусора, занесенная снегом; затоптанные коробки — погрузка идет.

— Давай! Что стоим? Навались, ребята, скоро кончим!

— Когда кончим! Конца не видать.

— Наверху! Заспули, что ли? Сволочи, там же нет никого! Все разбежались. Петров, ядрена корень!

— Да что я, один, что ли, здесь буду, чуть что — сразу Петров, а все спят в каютах, как сурки.

— Михалыч! Играй большой сбор! Нужно пройти по каютам и шхерам! Пинками поднимай...

В каюте кто-то лежит; темно, как у негра... с пакетника клювик сняли, сволочи, чтоб их не беспокоили. А мы их без света, за ноги — и на палубу...

— Почему спим?! Там люди уродуются, а у тебя здесь лежка? А ну встать!

На пирсе гряда мусора, а завтра — в море. Любовь к морю прививается невыносимой жизнью на берегу.

— Почему сбежали с погрузки? Почему, я спрашиваю?! Так, в трюм его, и чтоб только уши торчали!..

— Боль-ша-я-при-бор-ка!

— Внимание по кораблю! Пришла машина за мусором! Вынести мусор!

— «Вы-ни-ма-ние, вы-ни-ма-ние», эй, страшилище, вынеси мусор...

— Говорят, за пять автономок теперь орден дают.

— Это уже пять лет говорят, пусть они его себе на жопу повесят, а моя и так блестит...

...Ночью матросы напились и подрались. Утром пришел командир. Он вчера тоже успел — пьян капитан. Кэп у нас с недавних времен инициатор соцсоревнования. И вот теперь инициатива попала в руки инициатору. Повел моряков на гауптвахту. Как бы их там на губе вместе не оставили — еле лыко вяжет. Прямо из отличников БП и ПП* — в алкоголики; из алкоголиков — в отличники. Такое у нас бывает — флотская метаморфоза. А что делать? Не придумали еще средства для быстрого снятия автономки с организма. Спирт — самое надежное дело. Командир не спал всю автономку — вот теперь и отходит, нервы. Долго сжимало — теперь резко отпустило, обычное дело...

Вечером наука прибыла — целых три орла.

* БП и ПП — боевая и политическая подготовка.

Этих будем катать.

Почему-то пьяная наша наука. Но языком, язва, владеет; ишь ты, «научно-ис-седовательский», выговорил.

Красавец мужчина.

Исседователь!

Нансен-Амундсен.

Ис-седовать нас сейчас будет.

Покоритель Арктики.

Не упал бы по трапу, хороняка. На палубе скользко — говяжий жир, — не упал бы. Умрет еще на боевом научном посту, не доделает труд всей своей жизни.

Наш благополучно вернувшийся с губы в меру пьяный капитан встретился в центральном с в меру пьяным ученым.

— Выкиньте его наверх, только пьяниц нам не хватало... выкиньте...

— Па-чу-мууу? Я прибыл с научными целями... свяжите... меня с... этим... как его... ну, этим...

— Сейчас свяжу, только штапы сниму и свяжу. Разрешите обхезаться в вашем высоком присутствии...

Растащили, а то б побил капитан науку по роже... Через какое-то время в центральном появляется никому не известный капитан:

— Товарищи! Холодилку сделают, или мы сорвем эти мероприятия!

— А ты кто такой? — оживает командир первого дивизиона.

— Я из штаба.

— Значит, только проснулись и сразу к нам?

— Товарищи! С кем я могу здесь договориться!

— С кем угодно, только не со мной. Я — пустое место, я спать хочу... лучше бы мы не приходили... лучше б сошли сразу...

Той же ночью мы ушли в море...

Какое счастье...

ПОРОСЯТА

Свинья Машка с образцового подсобного хозяйства, предназначенная в конце концов для улучшения стола личного состава, белесо взирала на вылезших из «газика» людей.

Через всю спину у Машки шла надпись: «Северный флот». Надпись была нанесена несмываемой зеленой краской. Надпись осталась после очередного переназначения Машки: в свое время Машку поместили, она должна была добавить в дыхание прибывшей комиссии Северного флота запах перевариваемых отбивных и помочь ей, комиссии, правильно оценить сложившуюся кругом ситуацию.

Но в случившемся ажиотаже, среди мата и судорожных приготовлений, тогда все перепутали, отловили другую свинью, и Машка отпраздновала свое совершеннолетие, а когда пришло время доложить: «"Северный флот" опоросился», — присутствующим не нужно было объяснять, где искать эти сладкие попочки.

Солнце весело играло на вершине павозного холма. Машка втянула воздух и хрюкнула навстречу очередной комиссии. Этот волшебный звук в переводе со свинаячьего означал «Стаповись», и рядом с Машкой мгновенно обозначились двенадцать нетерпеливых пороссячьих хвостиков.

В один момент Машка оказалась на земле, и поросята, завизжав и на ходу перестроившись в две шеренги, бросились к ее соскам.

После небольшой трехсекундной давки, которую можно было бы сравнить только с вбрасыванием в общественный транспорт, обе шеренги упрямо трудились.

Перед начпо и комбригом, прибывшими обзреть образцовое подсобное хозяйство, открылась широкая, мирная сосательная картина.

Комбриг улыбнулся. Начпо улыбнулся вслед за комбригом. Улыбка начальства передалась по эстафете и украсила полусогнутый личный состав подсобного хозяйства.

— Хороши! — сказал комбриг и ткнул пальцем. — Этого.

— Да, — сказал начпо и тоже ткнул. — И этого.

Светлее майского дня сделалось лицо заведующего, когда он оторвал и поднес начальству двух визжащих поросят для утверждения принятого начальством решения.

— Самые быстрые, — неумно расцветая, резвился заведующий.

— Пометить! — сказал он матросу и передал ему двух поросят после утверждения принятого решения, и кисть художника замахала вслед убывающему начальству. На одной розовой спинке появилась надпись «Комбриг», на другой — «Начпо».

Со стороны казалось, что помеченные припились сосать Машку — «Северный флот» гораздо исправнее.

Когда через несколько дней на свиарнике появилась очередная комиссия, на этот раз народного контроля, двенадцатисосковая Машка вновь уставилась на посетителей. Потом она попохлала воздух, хрюкнула и рухнула как подкошенная. Со всех сторон к ней бросились исполнительные поросята. Раньше всех успели «Комбриг» и «Начпо».

На глазах у изумленной комиссии поросята «Комбриг» и «Начпо», а за ними и все остальные мощно и взахлеб сосали Машку — «Северный флот».

ОРГАНИЗОВАННЫЙ ЗАЕЗД

Организованный заезд — это когда нужно организовано заехать; причем все равно куда: хоть — в морду, хоть — в дом отдыха*.

Была вторая автономка в году, и с самого начала думали только об отпуске. На докладах командир вы-

* После похода экипажу должен предоставляться дом отдыха.

тягивал шею по-змеиному и шипел, вращая белками, как безумный мавр:

— Шиш! Чужое горе! Шиш! Все заедут только организованно. И чтоб никто не подходил! Послепоходовый отдых для подводника — это обязательное мероприятие, это продолжение службы, служебная командировка. Туда же командировочный выписывают, а не отпускной. И передайте всем, чтоб перестали ко мне лезть. Не успели оторваться от пирса, а уже подходят: «Товарищ командир, разрешите на родину, можно мне вместо дома отдыха?» Шиш! Никто не улизнет на родину. Все заедут только организованно.

Командир Горюнов с мелкого детства, когда впервые укусил маму за палец, имел прозвище Горыныч, или просто Змей.

Личный состав, который за скользкость экипажного характера звался «змеенышами», молчал и вздыхал.

Дело в том, что подводник старается избежать организованного заезда. Не любит он организованного заезда. Он любит что-нибудь неорганизованное, внезапное, спонтанное, на родину он любит. И всегда находят отговорки — жены, дети, сопли, пеленки.

Но теперь, но в этот раз — все! Шиш в этот раз! Все заедут только организованно. Сначала организованно — в дом отдыха, потом организованно — в отпуск. И так будет всегда.

Автономка закончилась, как и все в этом мире. Только пришли и не успели привязаться, как тут же ушли на учение.

Проживу ли я еще пятьдесят лет? Хочется прожить, хотя бы для того, чтоб увидеть, как космонавты будут улетать в свой запыленный космос на заезженных космических кораблях, отчаливать, закидывая на борт последние ящики с продовольствием, забывая скафандры на земле.

И только прилетели — сразу же под руки, по традиции, и на стул, бережно, как стеклянных. И корреспонденты, бросающиеся к ним как к родным: «Как ваше самочувствие? Самочувствие у них хорошее, а как они соскучились по травке? Вот я сейчас держу

шнур микрофона и не могу! Как они сос-кучились! Вы бы видели! Но они опять готовы...»

А рядом уже разводит пары другой чудесный космический корабль, и камеры стыдливо отводят свой глаз от пронзительной сцены: один из космонавтов плачет и надсадно, животно, высоко кричит: «Нехачу-у-у!!!» — и старается задержаться за кого-нибудь руками, а его по траве, по той самой, по которой он соскучился, вверх ножками, ко входу, и вот и перевернули, и уже под руки, два здоровенных дяди, переодетых корреспондентами, — и запихивают, запихивают... и запихали...

Но вернемся на пятьдесят лет назад. Сюда — туда, где подводники все еще ходят в автономки, а космонавты все еще смотрят по телевизору у себя на орбите певцов и певчих и беседуют запросто с родственниками и президентами. У них все впереди...

Отпуск! Мама моя, отпуск! Ради тебя стоит жить! Ради тебя подводник готов дни и ночи целовать все равно кого, вылизывать все равно что и кивать все равно кому, работая в режиме жеребца, поршня, сторожа, пугала, говорить: «Так точно, дурак!» — и предлагать себя.

«Отпуск» — при звуках этих выпадают рядами, сердце замирает, слезы душат, слизь в носу, и в горле поперхнутость, а в животе нехорошо, как с прошлогодней квашеной капусты.

Отпуск, возьми меня к себе!

Перед тем как убыть в отпуск, а равно как и в дом отдыха, подводник сдает на время свой подводный корабль другому подводнику.

После сдачи корабля отпуск у всех пошел с 25 декабря. Об этом стало известно только 29 декабря, да и то не всем. А 12 января спланировали для экипажа организованный заезд в дом отдыха.

Деньги отпускные выдали только 5 января, потому что в прошлом году они кончились. А отпускные билеты?

— Будут у меня! — командир завращал головой, выискивая недовольных. — Я сам поеду в дом отдыха

старшим. 9 января сбор у Дофа. Катер для нас заказан.

Куда же офицер денется без отпускного билета? Никуда не денется — покружит, поскулит да и поедет в дом отдыха, и там уже, в последний день отдыха, его вызовут и вручат его отпускной — дуй на все четыре!

9 января была сказочная метель. Именно в такую метель пропал сказочный мальчик Кей, и сказочная девочка Герда его замучилась потом разыскивать.

В десять утра собрались у Дофа: жены, дети, коляски, пеленки — полный комплект. Ждали командира, который вот-вот должен был подойти.

Вера в будущее падала с каждой минутой. Поезд был в час ночи уже 10 января. Наконец пришел командир, и через двадцать минут, после обмена выражениями через телефонную трубу, стало известно, что катер, который заказали для экипажа давным-давно, внезапно, скоростно ушел куда-то с какой-то комиссией.

— А что же вы не поинтересовались? — сказала трубка на том конце и повесилась.

Горыныч брякнул шапкой об пол и, закатив глаза, покачиваясь с пятки на носок, чуть слышно красиво завыл.

— Найдите мне любое транспортное средство, — сказал он минорно, когда закончил красиво выть.

Некоторые из тех, что всю жизнь паслись на асфальте, скажут:

— А чего же они не поехали на автобусе?

— Хи-хи, — скажем мы, — автобусы в нашей тундре тогда с трудом водились.

И потом, какие автобусы рядом с военно-морской базой? Дорог нет, метель, пурга, заносы, полярная ночь, северное сияние, росамахи...

Через часик достали воина-строителя на самосвале. Вы ездили когда-нибудь на самосвале? Нет, не в кабине, а сверху, когда кузов подпрыгивает подкирпиченным верблюдом, а ты стараешься держаться руками

за борта, приседая в остатках железобетона. Жаль, что не ездили.

Когда воин-строитель вылез из своего самосвала, получилось незабываемое зрелище: капитан первого ранга и воин-самосвальщик говорили друг другу «ты» и, разгорячившись, пихались в плечо с криками: «Да брось ты... Да иди ты...».

Сторговались по пятерке с носа. Он согласился сделать только двадцать ходок до того места, где водятся автобусы.

— Запомнили? — спросил воин. — Только двадцать!

Все запомнили, он повернулся к самосвалу, и началось: жены запикивались и уминались в кабине вместе с колясками и детьми; двадцать первая жена зря волновалась — ее запикинули вместе с двадцатой. Кузов самосвала был совершенно ни к чему не приспособлен, и мужья добирались самостоятельно.

Через восемь километров жены выбрасывались вместе с колясками и ждали. Ветер и снег в несколько минут делали из обычного человека снежного. Мужья бежали восемь километров бегом, и перед ними висели мокрые лица их жен.

Автобус пришел ровно через полчаса после того, как самый дохлый дотащился до стан. И в Кислую, в губу Кислую. Вы не были в Кислой? Прекрасная губа!

Набитый желающими доверху портопункт влажно прел. Теплоход «Хабаров» не хотел идти даже по туманному расписанию.

Жаль, что мы — подводники — никого не возим! Они б у меня настоялись, все бы толпились, заглядывали бы в глаза, улыбались бы после ночи, проведенной на креслах, — конфеты, шоколад, «поймите меня, поймите», а я б им: «Хотите — плывите, хотите — летите, но только сами. Ну! Полетели, полетели... фанерами... холе-ры!»

Не шел «Хабаров». Командир Горюнов шмякнул шапку об пол и застонал. Бездомные собаки за окнами ответили ему дружным плачем, улетающим в пургу.

Горыныча охватило бешенство. Ближайшим его соратникам показалось, что он сейчас умрет, вот здесь, на месте прямо, подойдет: белки стали желтыми; изо рта, утыканного зубами, с шипеньем вылетел фонтан слюней. Народ вокруг расступился, и образовалась смотровая площадка, на которой можно было помахать руками и ногами. Горыныч тут же воспользовался и помахал, а потом он сказал, озираясь, своим соратникам:

— Добирайтесь как хотите, чтоб все были на вокзале! — сел в папелевоз и уехал в метель.

Как добирались, неизвестно, но двое суток в вагоне ехали весело: просыпались, чтобы что-нибудь выпить, и засыпали, когда заедали.

Их встречал полковник медицинской службы из того самого дома отдыха, куда они собрались, удивительно похожий на любого полковника из учебно-лечебного заведения.

— Товарищи! — сказал полковник, когда все вокруг него сгрудились, откашлявшись, чтоб лучше получилось. — А мы вас принять не можем, у нас батареи не в строю, и система разморожена. Мы же вам слали телеграммы.

— Слали?

Горыныч, казалось, получил в штаны полную лопату горячих углей. Он подпрыгнул к полковнику и сорвал с себя шапку.

Никогда не пуганный полковник закрылся руками. Ему стало нехорошо. И даже как-то отрыжисто ему стало. Он так растерялся, что с него тоже можно было сорвать шляпу и ударить ею об пол.

— С-С-С-ЛА-ЛИ?! — зашипел Горыныч.

Казалось, чуть-чуть еще — и он начнет откусывать у полковника все его пуговицы. Одну за другой, одну за другой. Кошмарным усилием воли он овладел

собой и, подобравшись к полковнику снизу, устави-
лся ему в нос, в самый кончик.

— Но вы на нас не в претеп-зи-и, ко-не-ч-но, — за-
нудно, как кот перед боем, протянул он.

— Нет-нет, что вы, что вы, — залопотал полковник
и отгреб от себя воздух.

— Все по домам! — повернулся Горыныч к своим,
а когда он снова вернулся к на секунду оставленному
носу полковника, он не обнаружил самого полковни-
ка. Пропал полковник. Совсем пропал. Где ты, полков-
ник? Ме-ди-ци-на, ку-ку!

ФОНТАННАЯ ЧАСТЬ

ФОНТАННАЯ ЧАСТЬ

ПОЭМА

Ах, если б вам не лететь за дикими гусями, а сразу сбиться с пути — так, чуть-чуть в сторону, в сторону, — то тогда, промчавшись над Мурманском, а потом еще над несколькими столь же благими местами, вы в конце концов приземлитесь на одной из крыш нашего военного городка — сухопутного пристанища земноводных душ — и сейчас же с этой крыши, полководца среди крыш, все осмотрите кругом.

Ах, какую радость для любителей плоскостопного пейзажа принесет повесть о том, что для того чтобы поместить среди величавых и плешивых от времени сопок сотню-другую этих многоглазых многомерзких бетонных нашлепок — страшилищ домов, — понадобилось засыпать пыльным щебнем торфяные озера, вода в которых столь же тиха и глубока, сколь и петроплива, будто бы самим существованием окружающих говорливых ручейков и скромнейших болот она убеждена в том, что вечна, как вечен сам воздух, изнемогающий от собственной свежести и от гула целой кучи комаров — этого вольного цеха бурильщиков человеческой кожи.

Сверху сразу видно все. Вот и серая дорога — по ней как-нибудь с завыванием привезут всякую дребедень: то ли песок, то ли дополнительный щебень — и, просыпав везде, свалят где-нибудь. Но сейчас дорога еще не разбужена, лежит, словно в обмороке, и кажется: только тронь ее — и она тотчас же убежит еще дальше за сопки и, возможно, там уже заденет за небеса, такие низкие порой, порой такие голубые.

На этом лирическая часть нашего повествования заканчивается: хватит, пожалуй, а то еще подумают обо мне не Бог весть что, — и начинается

прозаическая ее часть.

А я знаю, где вы находитесь. Вы на крыше 48-го дома: он стоит на пригорке нашего поселка, и с него начинается здесь цивилизация, если идти со службы, и им же она заканчивается; если двигаться назад: стекла выбиты, двери вынуты, кое-где на этажах кое-

кто еще живет, а в подвале течет, а при входе в парадное — электрический щит, весь растерзанный и в середине — ослепительная дуга и днем, и ночью, потому что как же, холодно, батареи-то не работают, вот и обогреваются электронагревателями, вот щиты и не выдерживают, и вот кто-то пошел рельс и его там пришмаандорил, и теперь автомат не вышибает от перегрузок — его просто нет, этого автомата, а есть дуга в 48-м доме, где обитают, как уже говорилось, подвонники, или их семьи, или то, что осталось от их семей, или бомжи, или калики перехожие.

Вызовут, бывало, из комендатуры патруль в тот дом усмирять мужа, пытавшегося кортиком к новогоднему столу заколоть жену, — и входишь в подъезд с опаской: все-то мнится тебе, что сейчас по башке трубой треснут или крыса, находящаяся в интересном положении, на ногах, завизжав, разродится.

Сколько мыслей

при этом появляется.

И все о ней, о жизни.

«Сюда я больше не ездец!» — как, я думаю, воскликнули бы классики, или «не ездун», как сказали бы мои друзья.

А жаль, черт побери! Походил бы по разным дорожкам — они так и кружат по волнам моей памяти — вокруг госпиталя, магазина, домов, а вот и площадь с лозунгами, плакатами и всякой ерундой, и Доф с библиотекой, буфетом, вечерним университетом марксизма-ленинизма, зимним садом и прочей невероятной глупостью.

А в центре — озеро с искусственными деревянными лебедями и такими же сказочными богатырями, выходящими из воды, по которым пьяные жители столько раз из ружей палили по почам, а вокруг него дорожка, чтобы в трезвом виде люди там гуляли или бегали бегом.

Про начпо

Наш начпо каждое утро выбегал и галопировал вокруг этого озера с высоким подниманием бедра

под музыку Брамса, конечно, звучавшую в моем сердце тогда, когда я всю эту патефонию из окошка наблюдал, или нет — лучше под музыку Грига — та-та-татарам! — названия, конечно, не помню, дивная музыка, или все-таки под музыку Дунаевского, ну конечно, Дунаевского, из фильма «Дети капитана Гранта» — там-там-тарарам-тарарарам-тарарарарарарам! (хорошо!); в общем, он бегал, а потом приезжал на камбуз в полном одиночестве, потому что к тому времени все уже на лодке всю заняты проворотом оружия и технических средств, сжирал на столах все буквально, и еще ему заворачивали с собой в газету кусок колбасы, очень напоминающий сушеный фаллос осла: так называемый «второй завтрак»; он говорил всегда дежурному: «Заверните мне второй завтрак», — и ему заворачивали и вручали — фаллос осла, и он его поедал. И это ежедневное поглощение сухого — все эти упражнения с ним — сообщало его взору задумчивость и, я бы даже сказал, судьбоносность, потому что во взоре у него ощущался кол хрустальный, который его, видимо, беспокоил, отчего, должен вам доложить, воздух в помещении выглядел ужасающе спертым.

После этого можно было читать только постановления ЦК, и ничего кроме этих постановлений, разве что еще «решения» или всякие там «обращения», в которых никто не петрил, но взор имели.

Или можно было забавляться сверкающей, как полуденная змея на солнце, военной мыслью. «Читайте "Военную мысль", — говорил он. — Это лучше, чем Проспер Мериме». (И я думал: «Бедный Проспер, не дотянул до "Военной мысли"».) После чего он, несчастный, вдохновлялся, вставал, если перед тем он проводил свою жизнь сидя, и смотрел так, будто перед ним были не мы, а толпы жаждущих политического слова, и у него поздри развевались, то есть раздувались, я хотел сказать, и внутри них — ноздрей, разумеется, — если заглянуть туда поглубже, конечно если будет позволено, разрешено, что-то клокотало-колотилось и болталось-бормоталось, и волосы на его голове, которые не до конца еще развеял вихрь удовольствий, тоже шевелились в такт ноздрям.

Любил он прекрасный пол.

А что делать?

Любил всех этих жеи лейтенантов, которые приехали и им пегде было жить.

А он их голубил.

Да и как их было не голубить, едрена Матрена, если они сами голубились,

причмандорившись игриво,

попку с ходу приготовив

и чулочки приспустив!

Как их было не лопапить и не конопитить (триста пьяных головастиков!), если все к тому буквально располагало. И я считаю прежде всего, что все это расположение возникло из-за той колбасы, которую он подал, то есть я хотел сказать, из-за того фаллоса, который ему заворачивали, и еще все это, возможно, возникло из-за вертикально расположенных баллистических ракет, напоминающих снявший шляпу вставший член.

Даже подводники, по утрам стынущие в строю (много-много человек), из окна кабинета тоже папоминают вы догадываетесь что, если смотреть на них сверху, потягиваясь и зевая от восторга. Может быть, когда это лезет на глаза каждый день, а другого ничего не лезет, и возрастает известная активность? Как вы считаете? А?

Ведь у нас и памятники все до одного похожи или на космонавтов в шлеме, или на наш замечательный половой орган со счастливой головкой и надпись под ним: «Посвящается тебе...» — и дальше буквы отвалились, а в соседней губе было ровно 50 статуй напряженного бетона, которые, словно рог носорога, являлись символом оцепеневшего нетерпения, за что животное и страдает до сих пор, и пионеры в дни торжеств обкладывали их цветами. И когда все это все время на тебя отовсюду прет, то что же в конце концов с тобой получается? Ты возбуждаешься. И не только ты.

Это удивительно,

до чего у нас в поселке любили половые отношения. Во всяком случае, жены начальников искали лей-

тенантов, и лейтенанты кормили их морковью, лили им воду на мельницу, крутили им жернова и мылили их всячески, столпившись вокруг одной норки, опускали туда свои мармышки и, сощерившись, выдергивали, опускали и выдергивали, а начальники потакали женам лейтенантов и открывали перед ними грандиозные сексуальные дали, отчего впоследствии совершенно забывали о собственных женах, которых запирали, уходя, на ключ на втором этаже на два дня и которые вылезали из окна по веревкам, и их впризу подхватывали на мохнатые руки и несли до ближайшего подвала, где они мясисто отплясывали на столах (иейух!), заливаясь серебристым многодневным смехом, и отдавались всем подряд, а потом они делали друг другу аборт и, чтоб скрыть выбритые места, приклеивали там куски шиньона, которые отваливались, когда муж входил в комнату.

Скороговорка

*Остальные занимались скотоложством.
Я считаю, от полноты жизни.
Отчего же еще занимаются скотоложством?
Только от полноты.
Для чего лучше всего подходили собаки.
Кошки тоже подходили, но они царапались.
Да и с кошками занимались молодые матросы.
Да и то, когда их старослужащие заставляли.
Кур не было, а то бы занимались и с курами.
Так что лучше всего подходили собаки.*

Словом, так.

Одна, можно сказать, супруга ежедневно растравляла себя совершенно со своим кобелем — аппетитной величины была овчарка, даже вспомнить жутко.

Однажды не получилось у них гармонии, не сложилось, видите ли, я бы сказал не вышло, и кобель, заменяющий раскоряченного папу, принялся кусаться, а она давай лягаться и орать, и прибежал сосед с топором и простым лицом и порешил обоих, то есть только кобеля, я хотел сказать, а потом их на посылках —

в госпиталь и только там расчипиздрили, то есть разлучили, я хотел сказать.

Нет! Все было не так.

Все было по-другому. Сосед привел к соседке сучку на случку. С собаками такое бывает. И пока собаки не теряли времени в одном углу квартиры, хозяева не теряли — в другом. А потом кто-то кого-то укусил — теперь уже не упомнишь, — и все разом завопили, и прибежал другой сосед, который с топором в руках заранее караулил все виды скотоложства, и всех с хряком уложил, вернее, он парубил собак на волосяные котлеты, а тот тип, что пришел с сучкой, посчитав, что это муж из похода явился, поскольку он его никогда до этого в светлое время года не видел, успел все же влететь в шифоньер и там уже подавился насмерть, потому что ему в дыхательное горло наполоам с шелковым рукавом попал целый рой вспорхнувшей моли, после того как в щель он узрел топор окровавлённый.

Там его и нашли,

а моль взметнулась стаяй вверх, как бешеная, потому что испугалась его вздыбленного члена.

Таким его и обнаружили.

Таким он и остался, и окаменел.

Этот член.

Просто какая-нибудь кантата в этом месте должна грянуть при прочтении, я считаю.

Потом зоологи проводили экспертизу и выяснили, что причиной коллективного сумасшествия моли мог быть только член. В смысле такой величины.

(Еще одна кантата.)

Ну не чушь ли это, задумчивый мой читатель?

Вы только послушайте баб в нашем поселке, они вам и не такое расскажут: и про начальников, и про жен, и про лейтенантов, и про топор, и про кобеля. Конечно, чушь, мура, брехня! Я так и скажу официальным органам, если они у меня поинтересуются. Я так и скажу: брехня! Никто у нас не ловил чужих жен, не совращал их стоя, не зажимал (не говоря уже о скотоложстве), не согревал, не горячил, не корячил,

не титькал. Девочки не почевали по подвалам, не кончали где попало, а заканчивали школу девственницами, а мальчики — девственниками, никто не играл ни в «ромашку», ни в «замарашку», не набирал в шприц шампанское, не впрыскивал его в девичью грудь или еще куда-нибудь, а потом не высасывал.

Все сидели и смотрели программу «Время». Сложив руки на коленях.

И я сидел. А если звонили в дверь, то шел и открывал ее рывком и в трусах. В 21 поль-поль я открывал дверь только рывком и только в трусах, и чтоб кончик выглядывал. И тогда все внимание сосредотачивается на этом кончике, потому что он вроде бы подмигивает, одноглазенький мой. А ты еще шкурку благородной рукой беспокоишь, теребишь, до того как появится твоя слива, в которой и откупоривается глазик-то! И в этот момент можно подумать о том, что, в сущности, член человеческий — это ведь не орудие нападения, отнюдь! Это инструмент очень ранимый, где-то даже тонкий, жалкий и должен напоминать человеку о его незащищенности, о необходимости утешения и прочее и прочее... Был момент, когда я так и думал — открывал, обнажал и думал.

А между тем...

Звонит замполит. А ты дверь на себя — хась! — и говоришь ему, помня о ранимости, член несчастный теребя: «Ну?! Вагина-Паллада!» А он тебе: «Программу "Время" смотрите?» А ты ему опять: «Ну?!» — или можно заорать: «Перестаньте мне спать по почам!» И тогда у него улучшается пищеварение и калоотделение. Немедленно просто. Вовремя подставляешь под него калоприемник — и никаких проблем. И чесаться он начинает немедленно. Тут мне, кстати, вспоминается одна история с замом и с тем, как он после одной бабы чесался, но мы ее рассказывать не будем. Не стоит. Лишнее это. Ну к чему? И так им достается. *Трудная потому что у замов жизнь.* Вы думаете, так просто, что ли, замами становятся? Нет, не просто. Нужно все время что-то удобрять. Какую-нибудь шиву. Или чушь пороть несусветную, а от этого страдают мозги, потому что они всю дорогу набекрень. Вот наш первый зам. Тот попал в замы лишь только потому, что все время плясал лезгинку. Вызовет его член

военного совета (сокращенно ЧВС) и скажет: «Слышь, лейтенант, спляши, а». И он плясал, а ЧВС сидел, и ему все это ужасно нравилось, а потом он говорил: «Хорошо-то как, лейтенант, хорошо!» — и еще говорил: «Сразу тебя на лодку замполитом назначить не могу. Должность, понимаешь, там капитана второго ранга, а ты у нас лейтенант, вот как будешь капитан-лейтенантом, вот тогда конечно. И еще: у нас банкет намечается, так сказать с женами, так ты там тоже организуешь танцы и все такое веселое что-нибудь, смешное и за курами проследи».

И он следил — за курами, за петухами, за потрохами петухов, а потом он следил за нами, чтобы мы, если уж и вставляли кому-нибудь радостно свой член, то при этом заботились бы о чистоте линий и чтобы — ни-ни! — все было шито-крыто. А потому, конечно, если меня спросят официальные органы, то я так им и отвечу — ни-ни, шито-крыто; а если спросят неофициальные (запятая) органы, то я им так прямо все и выложу, что в поселке у нас все насильствовали всех, а также причихвостивали, засандаливали и впердоливали. Спрашивали иногда: «Разрешите вас причихвостить, а затем и впердолить?» — и впердоливали! Чаще безо всякого на то разрешения. И если посмотреть сверху, с высоты птичьего полета, на нашу базу, то у нас никто не занимался боевой подготовкой — только пыхтели, кряхтели, мычали, стонали и мямлили, добавляли с плачем смазку в тормоза, обнимали за яйца и собирали их в лукошко, предварительно клещами зажав.

А командующий — наш любимый главночлен, по ужасу исходящему от которого мы тоскуем до сих пор, — насильствовал командиров дивизий и кого попало. Вызовет, бывало, кого попало и скажет: «Вам наступил пиззззееец!» — и ты чувствуешь, что действительно наступил. Он. Он самый. И никуда не денешься. Не взлетишь. Не взмоешь. А если и оторвешься от земли на пять сантиметров, то сейчас же на нее жопой трахнешься.

А командиры дивизий, затрапезничав, хватали за срамное командиров кораблей и дежурных.

А командиры — офицеров за цугундер и на палкиштрассе; и шипели при этом ядовито: «И это только начало! Вы у меня будете лизать раскаленное железо!» — отчего у офицера внутри сразу же что-то рвалось рывками, что-то дорогое и ценное, сокровенное рвалось и ломалось, и не один раз в год, а по нескольку раз в день, из-за чего офицер (наш) ежечасно и ужасно был готов к подвигу или к чему-нибудь такому, что помогло бы ему оставить на время в покое то драгоценное и святое, что у него, может быть, все еще находилось внутри и что наверняка, приди за ним когда-нибудь, ни за что там не нашарилось бы, ни за какие коврижки, фигурки потому что, улетучилось потому что, рассосалось, и если не получалось защитить то, что внутри, то есть заслонить то, что уже давно улетучилось и рассосалось, офицер брал пистолет, вгонял в ствол патрон, сэкономленный на стрельбах, и шел на торец пирса расстреливать какого-нибудь негодяя матроса, и там, на торце, он некоторое время с удовольствием наблюдал на лице у того матроса все муки собаки Муму, а потом стрелял ему у уха, отчего что-то там происходило с барабанной перепонкой.

Оно, конечно,

член с ним, с матросом, но от всех этих переживаний, от всех этих «туда-сюда-сжимай» у офицера гипертрофировалась железа, вырабатывающая семенную жидкость, она распухала у него этакой цистерной, отчего у него даже изменялась походка: вы только посмотрите, как ходят у нас офицеры, это сразу заметно, потому что жидкости много семенной — и оттого, конечно, если уж он находил себе бабу, то, естественно в этом положении, он слезал с нее только по большой нужде (или по малой) или в случае ядерного нападения.

Вот как ухнуло тогда в Окольной

(все равно не знаете, где это, к чему уточнить?), как разнесло там в шелуху склад боепитания, как вырос при этом умопомрачительный белый гриб над городом, вот тогда и побежали все, причем у всех оказались надеты только рубашки, а под ними — ничего,

кроме отдельных сморщенных деталей, а некоторые успели в таком виде до Мурманска доскакать, все свое потомство многоплодное прихватив, и все они оказались замполитами. (Эскадрон блядей летучий!)

А я знаю героев,

не замполитов, конечно, которые, не бросая начатого дела, только в окошко глянули тогда на расплзающееся по небу безобразие и зашептали страстно своим косоглазым певуньям: «Пока до нас долетит, десять раз успеем кончить!»

И кончали.

Десять раз.

О чем всюду потом напоминали многочисленные свидетельства — бледные сливки презервативов, — которые по весне при вытаивании усеивали откосы и собирались с гримасой омерзения палками в ведра и относились, сморщившись, в мусорные бачки.

И полны были те бачки.

И приезжала машина из тыла, и грязношый молчаливый матрос, которому до этого 10 лет в голову вдолдонивали, что он на службе Родину будет защищать, грузил все это дерьмо, переворачивал сочащееся и чмокал, утрамбовывая.

А офицеры помогали грузить.

Мичмана и матросики по воскресеньям влажнели в тесной войлочной промежности где-нибудь на галере, а офицеры — в поселке. Они поначалу взбунтовались было («мы же в погонах!»), а их быстренько переодели в гражданочку и успокоили дисциплинарно всячески, и напрягаешься, бывало, встаешь на цыпочки, чтоб эту драгоценную бадю с дерьмом через борт машины перевалить, а с нее льется, льется и на плечи тебе, и в открытый от усилия рот.

И никто не заболел простудными заболеваниями, никого не скашивал австралийский аптиген, даже отрыжкой никто не страдал.

Все! Решительно все.

Все решительно были красивы, полны и сильны, как крокодилы. Таким дай что-нибудь в руки и потом не вырвешь. Таких пошли куда-нибудь и потом концов не найдешь. Таких выпусти в поле, и они тебе

все поле проскачут — на́косят-вы́косят-выгробут-вывезут — или картошку собирают: у себя и в соседнем государстве.

Вот вызывают лейтенанта и говорят ему: «Поедете немедленно замените старшего на картошке в Белоруссии, а то от него, чухонца недорытого, месяц ни слуху ни духу».

И он едет.

В Белоруссию.

И там находит какое-то Богом забытое место — не то склад, не то планетарий, — напичканное в три яруса койками. А за столом там сидит недоразвитый замполит картофельного батальона и из лапши — знаете, была такая лапша в виде букв — пытается выложить слово «солитер». Лейтенант входит, говорит, кто он и все такое, а замполит поднимает на него свои синие-синие очи, во взоре которых ничего нет, кроме мутной муки творчества, и спрашивает:

— Слушай, как правильно: «солетер» или «селитер»?

И сейчас же находится командир батальона, который, оказывается, нигде не прятался, просто здесь на койке лежал трупом. И его с койки сдергивают, и он, обалдевший от столь обильных переживаний — лейтенанта на замену прислали! — сначала ничегошеньки не может понять, а потом до него доходит, и он бросается к лейтенанту, как Бойль к Мариотту, как Гей к Люссаку и как Левен к Гуку, и трясет его за грудки, и сжимает страстно, и кричит: «Повтори, что ты точно меня меняешь», — а потом он сходит с ума, бегаёт кругами по кубрику, орет и пинает кровати, а на вопрос: «Где все люди?!» — отвечает, радостно поперхнувшись: «Хрен их знает, коров где-то (эх!) е-е-ебут!»

И лейтенант немедленно садится в командирский «уазик» и долго-долго едет по безлюдной степи, воспетой когда-то Чеховым, в сопровождении мичмана, не воспетого пока никем, который говорит только о бабах, советует лейтенанту, как их выбирать, и сочится слюнями, приговаривая: «Порево-жорево-здорево» — и потирает свои маленькие потные ручки.

И первый же матрос, которого удаётся обнаружить, смертельно пьян и приклеен между чудовищными титьками у пожилой доярки — она так с ним вез-

де и ходит, его никак не оторвать; а доярка при отбирании поднимает такой ужасный вой, так по-бабьи и зашлась, воет, как по покойному, а потом она спускает на лейтенанта всех своих коров: «Фас! Возьмите его, ирода окаяшного!» И коровы долго гопают его по навозу; всё пытаются забодать вместе с мичманом, слюнявым головопятом, и машиной.

Но лейтенант не сдается, не из такого сделан, он едет в милицию, и там ему обещают помочь, дают молодца гаишника, и в первом же кювете они находят перевернутый самовал с пьяным водителем из батальона, и лейтенант мнется, не знает, что ему предпринять, а матрос кричит ему: «Лейтенант! Да я тебя видел на...» — и дальше он просто не успевает сказать, потому что гаишник хлопает его по лбу полосатой палкой и уже у рухнувшего тела проверяет документы, находит водительское удостоверение и с остервенением его рвет.

Итак, лейтенант собирает всех людей и все машины, за исключением двух тараптак, сгоревших вместе с картошкой синим пламенем, и привозит их назад, за что его обнимает и пожимает ему все его руки начпо тыла Северного флота, контр-адмирал, приговаривая при этом: «Удружил, лейтенант, все, значит, живы у тебя? Спасибо, удружил!» А когда лейтенант заикается насчет того, чтобы те сгоревшие самосвалы списать, адмирал ему обещает, что немедленно вызовет мичмана, в чьем заведовании они до Белоруссии находились, и тот этим сейчас же займется.

И приходит мичман. И только адмирал открывает свой рот насчет списания инвентарного имущества, павшего в борьбе за урожай-70, как с мичманом тут же случается истерика — натуральная беда, — и он, словно только что сбрендил, ругается при адмирале матом, кричит, тыча скрюченным пальцем в лейтенанта: «К-хуй ему, к-хуй!» И его уводят под руки, плачущего, а он все пытается обернуться и еще в него ткнуть.

— Вот видишь? — говорит адмирал и разводит руками. — Ничего у нас с тобой не получается.

А получается только через год, когда лейтенант находит наконец того, кому можно вручить 40 литров

чистейшего корабельного спирта и списать те два самосвала.

А потом лейтенант до того поднаторел в списании всякого военного барахла, до того он во вкус дела вошел, что мог запросто подводную лодку списать со всем, что у нее внутри напичкано — с людьми и механизмами, — отвезти все это в сторону и утопить в болоте к едрене Фене, или мог за два старых дизеля поставить на Северный флот 10 вагонов леса, или чего-нибудь там еще добыть, оторвать, выкрасть, выпросить.

Отчего и сделался ценнейшим кадром. А когда его — по дуге большой окружности — занесло в Москву, он вместе с корешом — за одной партией сидели — попал в Большой театр, и до начала представления, обшарив театр совершенно в поисках свежего пива, они забрели в правительственную ложу, где, закинув ногу на ногу, стекленеющим взором следили за началом оркестровки и наполнением партера, а когда партер заполнился до необходимой величины, его кореш — вместе за партией — вдруг встал и громко сказал:

— Товарищи! Проездом в нашей родной столице большой друг Советского Союза господин Замирюха! Поприветствуем его, товарищи, поприветствуем, — и заплодировал.

И весь зал тоже встал и заплодировал.

Через минуту их уже вели в комендатуру, а потом первым же рейсом отправили в Мурманск с подробным описанием событий.

И командующий Северным флотом, получив то послание, заметил командующему флотилией:

— У вас что, этого лейтенанта нечем занять?!

И тогда его прикомандировали еще на один экипаж, на который давным-давно повесили лишний винт — ну, то есть на этом экипаже и с кораблем, и без него всегда лишний винт числился, — так вот, прикомандировали этого орла, и он списал им все винта вообще — два настоящих и один тот, что повесили, — то есть лодка была, а винтов у нее уже не было.

И тогда на том корабле возник праздник, и командир корабля капитан первого ранга Титьков по кличке Чума, который был таким интеллигентом —

просто жуть: матом не ругался и был вообще весь никакой, который даже экипаж самостоятельно не мог по домам распустить — все звонил комдиву и спрашивал разрешения, а если кого из офицеров хотел обзвать, то говорил в сердцах: «Негодяй! У меня нет слов, негодяй!», — так вот, этот командир, на которого обожали вешать всех собак, после списания всех винтов впал в натуральное счастье, носился по пирсу, как оглашенный, ненормальный философ, как какой-нибудь Гракх Бабеф, и, наверное, первый раз в жизни ругался по-нехорошему и, показывая рукой на свое причинное место, предлагал кому-то, неизвестно кому, где-то там наверху — его попробовать.

И все его понимали, потому что сами только этим все и жили.

В смысле этим самым местом.

Ой, городок!

Ой, городок, городок, и чего ты только не видел, чего тут только не было, не происходило: я имею в виду жизнь как непрекращающиеся половые взаимоотношения, и половые взаимоотношения в лучшем смысле этого слова, под которыми я всегда понимал настоящую жизнь.

Представьте себе все дома у нас в городке в разрезе, и ведь на всех этажах одновременно и порознь, чаще всего глубокой ночью, реже по утрам, прошибает пот, скачут, дрожат кровати — идет результативная работа. За исключением, конечно, адмиральского домика, потому что если его утром разрезать быстренько, то все адмиралы окажутся на горшках, и думать они будут только о росте нашей боеготовности. (Давно замечено: чем меньше у человека семенной жидкости, тем больше он думает о росте боеготовности. И чем больше у человека семенной жидкости, тем меньше он думает о всякой ерунде.) Зато во всех других домах все мысли были только о самом необходимом, о самом осязаемом, и трудились люди на ниве половой — я не знаю — просто не щадили себя, и если бы атмосфера позволяла, то трудились бы не

только в домах, но и вокруг: на чердаках, в подвалах, в кустах. И казалось, все здесь ощущают, что им мало осталось жить — может быть, два года, или два месяца, или два дня, а возможно, и два часа, две минуты, две секунды, и за это время нужно кого-нибудь поймать и вмочалить.

Просыпается наутро лейтенант и говорит «маме Буденного»: «Где я?» — «У меня», — говорит ему «мама». И он сейчас же приходит в себя и, весь в ужасе голубом, замечает, что у нее растут усы и на стене висит нога. «Что это?» — говорит лейтенант блеклым голосом. «Это моя нога, — говорит ему она. — Ты вчера так безобразничал — обнимал ее, целовал и все на ней, как на гитаре, играл». — «Иии-я?» — выдыхает несчастный, и ему объясняют, что «мама» — инвалид и тоже лейтенант, но Великой Отечественной, и это ее нога на стене висит, в смысле протез, и грудь у нее, которую он вчера со стоном посасывал, полна медалей за оборону Ханко, где она гранатами кидалась, как снежками, а теперь она строит подводные корабли, и когда чего не ладится, ей выписывают молодого лейтенанта, чтобы силы юные вкачать, то есть, я хотел сказать, вдохнуть, и у лейтенанта от всех этих объяснений пересыхает слюна, и он еще два дня себя совсем не помнит.

Ой вы, лошади хмельные, да до чего же жизнь была вкусной! До чего ж она неслась, не оглядываясь, не задумываясь, не разбирая дороги!

А как жрали, извините меня!

Как лопали все подряд! Как чавкали, обмусоливая пальцы, как всасывали мозговые косточки, как хрумали, хрустели мелкими ребрышками, трясли грудями и подбородками, как набивали себе брюхо вареными яйцами по 16 штук зараз, как поедали мясо, паштет, курицу вареную, селедку, шпроты, уверяя всех, что здесь все так вкусно и так все полезно, что все, абсолютно все, усваивается, из-за чего даже по трое суток и в туалет-то ходить не приходится; и как потом, выпучившись, на четвертые сутки, вывалив язык и глаза беспокойные, и без того лупоглазые, неслись в од-

ном упомягнутом месте одним огромным и сильным яйцом.

А адмиралы собирались на «адмиральник», куда приглашались и командиры с командиршами, и выбирали из молодой кипучей командирской мелюзги тамаду, например, недавно назначенного командира Сатонова, который в Северомысске, откуда он и явился к нам, по воскресеньям гонялся за женой с кортиком или влезал без очереди за пивом, а когда работяги возмущались, обещал им так в рожу дать, так дать, что они все одновременно наложат больше лошади, а еще в ресторане укусил за ухо замполита, как выяснилось, лишь только потому, что промазал, нацелившись кусать его за совершенно другое место.

И Сатонов встает

и говорит: «Товарищ командующий и вы, товарищи офицеры, как тамада я отрежу галстук любому, кто здесь заговорит о службе».

И все его шумно поддержали, но как только шило корабельное потекло рекой, как только все эти украшения флотской жизни: куры; утки, семга, икра и говядина из закровов Родины — сильно перекечевали в желудки командиров и начальников, первым о службе заговорил, естественно, командующий.

— Раз-ре-ши-те, — протиснулся к нему тамада Сатонов и, наклонившись, искал, нащупал и отрезал ему под самое горло его любимый шелковый галстук.

Секунд десять происходило созревание, а потом командующий начал кидаться цыплятами и вопить, что это его самый лучший галстук.

А жена тамады Сатонова бросилась к жене командующего, уговаривая не обращать внимания на ее придурка.

А начальник тыла — тот тоже срочно подбежал, расшаркался, как клоун, и предложил командующему новые шифроновые туфли, на что командующий заржал, что его лишили галстука, а не туфель, потом он в сердцах сдернул с шеи тот сраный охнарик, что ему Сатонов оставил, и швырнул его в тарелку начальнику штаба, а Сатонов при этом, совершенно равнодушный к поднявшейся суете, наливаясь скорым соком,

дозревал в углу и с безучастным видом щелкал пожницами, нацелившись еще у кого-нибудь чего-нибудь отыметь.

То был чудный объект для наблюдения.

Это я не про галстук, это я про Сатонова. Я сам с ним как-то столкнулся на трапе. Шла приемопередача корабля, и всюду было полным-полно посторонних. Я лез вверх; а он — вниз. Мы столкнулись, и я надавил ему на лоснящееся брюхо, потому что, во-первых, я его совсем не знал и, во-вторых, у него не было на кармане бирки, где было бы написано: «Я — командир», — а все мы были в синем белье без погои, и у меня бирка была, и я абсолютно справедливо решил, что это лезет охамевший интендант.

— Ну ты, — сказал я ему, — вор в законе! — на что он горлом зашелся, захрипел, а потом кто-то рядом заметил: «Это командир принимающего экипажа», — и я задом слез, его пропустил, извинился и за чем-то руки отряхнул.

А какое было небо голубое!

А какая вода и скалы!

И солнце расшибалось о воду, превращаясь в солнечных зайчиков-кошечек-рыбок-птичек, заставляя жмуриться, гримасничать, а воздух сам, казалось, наполнял легкие, холодил внутри, и отчего-то думалось, что все вокруг твое личное и можно все это неторопливо употребить.

А сколько было ковров,

гарнитуров,

холодильников,

чешского стекла,

сапог,

колготок,

лифчиков и

прочего дерьма.

Но еще больше того дерьма не доезжало до нас вообще, а поворачивало на юг, на Кавказ. И все благодаря начальнику военторга полковнику Маргуле по кличке Маргарин. Это он был связан своей пуповиной с Москвой,

Кавказом,

опять с Москвой,

Академией Генштаба и Мурманском.

А ты стоишь перед его дверью, бывало, и она открывается: «Слушаю вас», — и ты не знаешь, что сказать: то ли о том, что в банке меда на самом дне нашел сливовую косточку, то ли хочется у него колготок для жены попросить.

Ему как-то позвонили из Москвы

и сказали: «Ты что ж это, сморчок недодавленный, змей гремучий, совсем, что ли, намека не понимаешь? Если тебе "Жигулей" в прошлом месяце не прислали, значит, что-то не так. Позвонить надо, справиться. Ты что ж это, титька кастюлькина, думаешь: если тебя никто не трогает, значит, все тебя любят, что ли? А-а-а? Просто место берегут, дурашка противная, место неиспоганенное, чтоб туда можно было человека посадить, который давно созрел. Ты чего это рапорт на пенсию не подаешь? А-а-а? Ждешь чего-нибудь? Или ты там вечно собрался малину жрать? Вот мы пришлем тебе комиссию!» — и повесились.

А он так и остался с трубкой у уха.

А он абсолютно все здесь наладил. Сделал все, как для себя. В Мурманск спирт — а ему оттуда палтус холодного копчения. И засосало у него при мысли о палтусе, и ощутил он его вкус и тут же умер.

Вся база стояла с непокрытыми головами и неделю собирала по рублю, и все его жены, дети, любовники жеи, любовницы и их закоштые мужья — все решительно оплакивали его кончину и невыносимо, необходимо рыдали.

Оборвалась пуповина, связывающая нас с Москвой,

Кавказом и еще раз с Москвой.

С пезообразимым треском.

Правда, ненадолго.

Скоро ниточки все починились, и все закипело по-прежнему.

И если главному требовалось какой-нибудь боевой корабль в Индийский океан за кораллами послать, чтоб потом те кораллы аккуратненько в ящички уложить и доставить в Москву и чтоб потом, как проно-

хаешь о переменах в верхах, сразу же у двери, за которыми ожидаются перемены, с тем кораллом стоять, и только она приоткрылась — сразу же туда втиснулся: «Вот вам наши кораллы», — так, знаете ли, лучше нашей базы никого бы не нашлось.

А всё потому, что понимали все, что жизнь и всё в этой жизни появляется из малого и, может быть, даже из такой мелочи, как кораллы, — семенная жидкость и половые отношения.

А вы думаете, что муж, ждущий назначения и перевода, не знал, что за наставления дает его жене начальник отдела кадров? Знал и уходил в наряд, а когда приходил ненароком, то всегда давал возможность «дяде Толе» уйти невредимым.

А «*дядя Толя*», очаровательный, изумительный, неисправимый охламон, все считал, что восхищаются его мужским достоинством, хотя все же, по-моему, некоторые объективные размышления на этот счет его посещали и, оставшись один, он даже доставал свое «достоинство» и несколько раз его с сомнением пристально разглядывал, но масляные глаза плутовки, все эти ее отправления совершали над ним волшебство, и стоило только чаровнице дотронуться пальчиком до его трико с помпоном в середине, как в них развивался пожар, и он немедленно хотел перевести ее мужа в Москву, в войска центрального подчинения, потом, правда, это желание несколько ослабевало, но стоило только паршивице еще раз качнуть утешка в колыбели, как оно сейчас же укреплялось, постыдное. И они так пыхтели, и кровать колотилась в стену, как паровоз Черепановых, а за стенкой сидел я и пытался на бумаге отразить все их невероятное старание.

А как пили? Пили-то как, Господи! Сколько было спирта! Какая была благодать! Пили — и отбивали четочку. Пили — и говорили о службе. Пили — и решали государственные вопросы. А потом привязывали какого-нибудь начальника штаба 33-й дивизии и выгружали его из лодки по вертикальному трапу ногами вверх: «Переверните! Переверните!» — и переворачивали, и говорили, что у него инфаркт.

— Сердце не выдержало! — сокрушались на партийной научно-практической конференции и качали головами.

А у него не выдерживало не только сердце, но и — что особенно печально — мочевого пузыря, и все это на тех, кто выпихивал, особенно когда перевернули.

— Запишите в вахтенный журнал: «Капитан первого ранга Протасов в 137-й раз входит в Палу-губу!»

Ну, конечно! Потрясающе! Натурально, красиво! Вошли да как трахнули соседнюю лодку по стабилизаторам, а у них — отчетно-выборно-партийное собрание, и в кают-компании все посыпались, как горох, и лочки на подволоке отвалились, и сверху на лежащих полетели крысы, которые, как оказалось, тоже присутствовали на партийно-выборно-отчетном.

Вот от этого рождались дети-идиоты, которых кормили с ложечки ворованной красной икрой, а они ту икру жрали не переставая и все равно оставались идиотами, и вместо мозга у них вырастал только ствол тикающий, то есть я хотел сказать: огромный детородный орган. И все родственники, кормя его с ложечки до пятнадцати лет, с ужасом наблюдали это заметное увеличение его в размерах и заранее хлопотали о поступлении ребеночка в Высшее военно-морское училище связи, то есть не связи, конечно (что это со мной?), а туда, откуда потом можно попасть в долгожданные командиры подводных лодок. И его туда запикивали — с дядями, с тетями, со звонками в Москву, а он все равно идиот, хоть ты тресни, не проходит он в училище по баллам — и вот уже икра потекла в училище рекой, и спирт туда же — и вот он уже становится командиром, и при перешвартовке его лодка жопой вылезает на остров.

А какие бакланьи яйца были на том острове — можно было ведро набрать — и собираешь с опаской, косишься на небо, потому что переполошившиеся бакланы, которые в таком состоянии обладают коллективным разумом, взмывают вверх и очень ловко на тебя сверху коллективно серят.

А хорошо в сиротстве разбить целую сковороду бакланьих яиц и зажарить, они все равно что куриные: ничем не пахнут. И я думаю, с таким же успехом

можно было бы зажарить бараньи яйца или даже человечьи.

И, может быть, за эту гастрономическую страсть к различным видам яйцеклеток или яйцекладок, в скорлупе или без, а может, еще за что-нибудь этакое, сюзетное, военнослужащих у нас называют «яйцекладущими» и «яйценесущими» — а несут они их в штанах, а кладут они их под себя, на стул при посадке, и никогда про них не забывают: взмывая, всегда их подхватывают, и это — после Родины, конечно, — самое необходимое и дорогое; может быть, поэтому у военнослужащего так часто интересуются: «А по яйцам хочешь?»

Отчего и происходит изменение в лице.

Именно поэтому военнослужащего всегда хочется наблюдать. Хочется его наблюдать в боевой обстановке, когда он, стиснув зубы, идет на врага, и еще при пожаре его хочется наблюдать, когда, выпучив свои очаровательные зенки, он лезет из огня. И в промежутках его хочется наблюдать, тогда — в промежутках — он варит себе макароны где-нибудь в теплушке или на заброшенном КПП, где, впрочем, есть и тепло, и вода — он тут все починил, — и посреди бетонного пола имеется его коечка с верблужьим одеялом и канализационный люк — отодвинул его и в журчащий поток с удовольствием справил нужду.

Наш военнослужащий!

В канаве рожден,

канавой вспоен,

дерьмом вскормлен!

И Родину любит!

Красота-а! Яйца потные!

А вокруг — солнце, как мы уже говорили, кислород, вороны и прочая летающая дребедень, как, например, все те же бакланы, которые криками будят тебя лучше будильника, особенно когда крысу поймают. Схватят ее за холку, поднимут вверх и бросят, чтоб разбилась о скалы, а внизу ее еще один баклан подхватит, так и не допустив до скалы, и опять поднимет и так швырянет, что крыса летит сверху и верещит что-то по-крысиному, может быть: «А-а-а, бляди...»

А от импотенции лечились в госпитале.

Там была замечательная операционная сестра Маша — огромная девушка лет тридцати пяти. А у Маши был гюйс, вырванный с ключьями из белой форменки, и с обратной стороны Маша палочками отмечала тех, кого ей удалось вылечить от импотенции.

И вы знаете, у нас Геша однажды заболел. А Геша такой интеллигент — дальше некуда. Мы ему: «Геша! Да сходи ты к Маше, она мертвого поднимет.. У них в госпитале даже у забинтованных, без рук, без ног, с обморожением при виде Маши на кончике члена бугонь распускаются».

А Геша — балда узкорылая — пам: «Неудобно», — а чего неудобного-то, моченый корень короля Лира, ей же всех нас жалко, у нее же для всех и ласковые слова найдутся, и все такое. «Бедненькие вы мои, — только так она и говорила — или же: — Чего тебе, родненький?» И у всех после таких слов внутри сейчас же исполняется общепринятый гимн: «Как увижу Валентину, сердце бьется об штапину».

Ну, наконец затолкали мы Гешу к Маше — отвезли его чуть ли не на саночках и впахнули, — а сами ушами влипли в переборку.

А Геша ей: «Не могли бы вы, Маша, положить себе в рот мой... чувствительный сосок?..» Чувствуем, положила. «Не затруднит ли вас, Маша, пройтись губами от середины моей груди и до низа моего же живота?» Чувствуем, не затруднит. «Не будете ли вы столь любезны приласкать моего котепочка?» Все в порядке, с котенком разбираются. «Не случится ли такого, что вам вдруг захочется попробовать моего младшенького губами?» Конечно, случится.

Через полтора часа мы изнемогли. А Геша все — то туда его целуй, то сюда лизни, то там подними, то взамен опусти, а потом потряси, обними, тут проводи, там захвати. Черт!

Сейчас войдем — решили мы — и скалкой дадим ему по лбу, может, тогда у него встанет?

И тут — о чудо! — начались охи, вздохи, крики «Маша, я тебя люблю!»

Фу! Выдохнули мы.

Еще одна ПОБЕДА отечественной медицины!

Еще один ВОЗВРАЩЕН в строй! И Маша счастлива, и мы все довольны.

Сварили мы тогда ведро подосиновиков, маслицем заправили, лучка не пожалели, перчиком припорошили, уксусом сдобрили, и картошечкой рассыпчатой это дело усугубили, и водочкой из хрустального графина запотевшего по всем рюмочкам прошлись.

Два часа хруст стоял ослепительный, а потом все отвалились и паперделись всласть.

А Серега из нашей компании, уходя, все сокрушался, что он пятнадцать лет женат, а до сих пор у жены куночку не видел, не разрешает она ему смотреть. И вот сейчас он решил положить этому конец («Где наш конец?») и постановляет отправиться к ней и, проявив последовательность и осмотрительность, разложить ее на койке и все досконально там распердолить.

И мы Серегу благословили. Мы его Галку знаем. Сейчас она ему самому рожок в тушку вставит, уксусом облагородит и все там потрогает, расшевелит и распердолит.

А Толик отправился к очередной бабе. Наверное, только затем, чтоб получить в торец. Приходит Толик к бабе, дверь раскрывается, и Толик получает в торец, распластавшись в воздухе. Конечно, не везде его приветствовали подобным образом, но иногда бывало. На каждой экипажной пьянке он обязательно представлял заму свою новую бабу: «Моя жена». И зам смущался, расшаркивался, ручки лез целовать. Может, нравилось Толику, что зам каждой его бабе ручки целует. Уж очень он настойчиво ее к нему подводил и все поровил встать так, чтоб у нее ручки были не заняты.

Я уж не знаю, на какой Толиной бабе зам сломался и потерял интерес к этой стороне Толиного существования.

А все оттого, что Толя развелся со своей первой женой при весьма интимных обстоятельствах.

Как-то в отпуске отправился он с женой и компанией в лес на шашлыки. Наелись, и Толя в кусты захотел. Пошел он туда, штаны спустил, сел и, только поднатужился, чтоб метафору выдать, как почувствовал неудобство какое-то, веточка, что ли, по голой

жопе елозит; он, не оборачиваясь, ее рукой отводит, а она ни в какую, ну тогда он по ней — тресь! — а она его возьми и укуси, потому что это не веточка вовсе, а гадюка.

Толя — совершенно белый, с трясущимся нутром, в собственном дыму — из кустов выполз без штанов и на четвереньках, а на его чувствительной заднице красовались две капельки крови — следы гадючьих зубов. И все тут всполошились — что-то надо делать, — решили, что надо высасывать, и решили, что высасывать должна жена, а она в руках билась и кричала, что у нее пародонтоз и все дупла червивые, и ни в какую не сгибалась до нужного места даже силой. Отчего задница распухла, а потом сама как-то угасла, улеглась, опала, то есть частично излечилась, видимо, от злости.

Разозлился Толя на жену за то, что она не захотела ему яд из жопы высасывать.

И тут мы с Толей были солидарны. Позор! Жена не хочет у мужа яд из жопы высасывать! Я считаю, что это неправильно и даже ненормально. По-моему, если есть в жопе яд и есть жена, то совершенно нормальным будет его высосать.

И не только я так считаю, все вокруг в этом уверены, весь поселок, который обсуждал проблему высасывания яда из Толиной жопы недели полторы.

Были, конечно!

Были, конечно, отдельные моменты или даже мгновения, когда многие наши дамы полагали, что жена военнослужащего или его подруга должна быть готова ко всему. В любой момент ее мужа или хахеля могут во что хочешь опустить или над ним могут совершить какой-нибудь акт морального и физического насилия. И тогда она с ним должна его поделить, примерив на себя смирительную рубашку, в которую его собираются облачить, вылив на себя ведро дерьма, которым его собираются окропить.

Но потом

ветер, что ли, менялся или положение облаков на Марсе, и те же самые дамы начинали полагать, что какого черта тратить свою молодость, мораль и упругое тело на этого зачуханного обормота, когда их можно с большим толком потратить где-то рядом еще.

И тратили.

И если какая-нибудь слишком увлекалась и снабжала полпоселка венерическими недомоганиями, то ее — лилейнораменную — в 24 часа — выселяли с треском в тканях из нашего лучезарного городка. За подрыв боеготовности.

Именно — за подрыв! И за потери среди личного состава!

А как же!

Черт побери!

Что вы себе возомнили! Пеннистые члены — членистые пены!

Ради чего мы, по-вашему, существуем?

Мы существуем ради нашей боеготовности. Мы ходим, бродим, дышим — ради нее.

Для нее же мы едим, пьем, а потом с легкостью отправляем естественные надобности, то есть грациозно гадим.

А лечили от подобных неприятностей только на БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕ — в Мурманске или еще дальше, может быть, даже в Ленинграде, в Военно-морском орденоносном госпитале имени Жоржа Паскаля (или, может, не Жоржа) в девятом отделении, где в мое время самый лохматый сифилитик матрос Карапетян, повышенной угреватости, старательно клеил картонную коробочку, а потом опускал ее на веревочке в окошко с запиской: «Палажите, пажалуста, сюда адну сигарэту» — и где дежурный врач, увидев вновь постукивающего разносчика заразы, кричал:

— Карпинский! Опять?! В пятый раз?! Я что, напялся, что ли, твой свисток прочищать? Только ампутация! Сестра! Сестра! Карпинского готовить к ампутации! На стол суку! Я тебе выскоблю эту любовную железу!

И выскабливали — будьте покойны.

А на большом противолодочном корабле «Адмирал Перепелкин» перед гигантским строем старпом выводил трех матросов, которые в погоне за половыми успехами раскроили себе головки членов и вшили туда стеклянные шарики, и все это безо всякого наркоза. Старпом заставил их спать штаны и показать всем это армейское уродство, потом он скомандовал корабельному врачу: «Два шага вперед! Кругом! Майор медицинской службы Бобров! Отрезать им хуй напроць!»

И отрезали.

А все это получалось, я считаю, потому, что не проводилось встреч с ветеранами войны и труда. Если б больше было встреч, меньше было б венерических заболеваний. Где-то у нашего зама даже валялось исповедальное исследование, посвященное этому исподнему и злободневному педагогическому вопросу, и один из выводов гласил: больше встреч!

А встречаться можно хоть в нашей казарме. Вы еще не были в нашей казарме? Ну, не все еще потеряно, сейчас я вам ее опишу. У нас какходишь — сразу патыкаешься на невыразимо огромный гипсовый бюст В. И. Ленина. Он стоит на кумачовом постаменте, зловеще подсвеченный лампочками со всех сторон. Блеск такой, что глаза слезятся. Направо — галлеон с дерьмом и сундучная-рундучная, куда матросы баб таскают и все такое. А налево — ленкомната, где воины проводят время за чтением политической литературы. Там потолок набран витражами, изображающими — с поразительным мастерством — картины битв в Великой Отечественной войне, причем все герои своими лицами походили или на командира, или на зама, или, в крайнем случае, на старпома, потому что художники все свои, с нашего экипажа, где ж им другие героические лица взять? Вот они и намалевали.

Так что обстановка очень располагала.

Так нам и начпо Северного флота заявил, проверив нашу ленкомнату.

— У вас, — сказал он, — обстановка располагает, — и все сейчас же закивали головами, как ящери-

цы-круглоголовки в период брачных игр, и заулыбались, и наш зам как-то особенно сильно головой задергал, завращал и при этом все что-то лопотал, лопотал — ни черта не разобрать, кроме одного слова — «очень».

— Очень... чоп... на-птух!.. ..уи... — говорил он, — очень! — А потом с ним родимчик случился.

Не у всех, конечно, замполитов внешний вид начальства вызывал такие содрогания члена и сознания, у некоторых, наоборот, развивалась инициатива и какая-то особенная задористость козлиная и сволочная прыть.

Как-то вели главкома под руки по главной улице нашего городка. (Почему «вели»? А потому что сначала его везли на машине, а потом у нее бензин кончился — шофер не успел заправиться, потому что это был совсем не тот шофер, которого должны были под главкома подготовить, того — долбоеба — куда-то дели, а этот просто на глаза попался, его и заграбастали, а он проехал метров пять и говорит на ухо старшему над церемонией: «У меня бензин кончился», — а старший не растерялся: «Товарищ главком! Давайте пешком пройдемся, здесь два шага». И прошлись.)

А улица как вымерла: всех загнали по порам, а в подъездах выставили вахтенных не ниже капитана третьего ранга, чтоб они никого не выпускали, а то вылетит какой-нибудь наш албанец с ведром мочи и артиллерийского кала, споткнется и ведро главкому под ноги вывалит.

И вот на пустынной улице — где-то там далеко — показался заблудившийся, видимо, замполит.

Заметив главкома и свиту, он сперва заметался, как кот перед собачьей упряжкой, не зная, куда ему вломиться, а потом отчаянным прыжком, выставив входную дверь, влетел в оранжерею — ту, что рядом с тыловым камбузом, сорвал там длинный, кривой, как казацкая цапка, огурец и, одним махом взметнувшись на косогор, оказался перед главкомом, размахивая этим своим поэтическим приобретением.

— Вот, товарищ адмирал флота Советского Союза! — сказал он, протягивая ему это зеленое чудовище. — Выращен! В нечеловеческих условиях Советского Заполярья!

Главком умоляюще покосился на сопровождающих и попросил тонким голоском:

— Уберите от меня этого сумасшедшего.

А те будто только этой команды и ждали: подхватили несчастного, того зама кисловатого, под руки и, поднимая фонтанчики серой пыли, с азартом поволокли его куда-то в овраг, чтоб там кончить, наверное, а он по дороге дрыгал суставами и то ли читал вслух окружающие лозунги, то ли кукарекал. И вы знаете, мне кажется, что все недоумение у замов оттого, что у некоторых представителей этой славной профессии по всем признакам головка члена все же прищипнута была в детстве, как это делают с растениями — кабачками, например, чтоб они не очень вытягивались, отчего он у них и вырастает только вбок.

НУ КАК С ТАКИМ ЧЛЕНОМ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ ИЗ СЕБЯ ЛОМАНУЮ ЛИНИЮ, МОЖНО БЫЛО ЖЕНЩИН ЗАБАВЛЯТЬ? Только демонстрируя его на расстоянии, я считаю.

И в море они, видимо, по той же причине, всегда мыслились не с личным составом, а отдельно. Исключения — в смысле того, что не всем прищипывали, — конечно же, были. Некоторым, видимо, удавалось отвертеться. Вот наш Тихон Трофимыч, с которым мыться в одной душевой можно было — пожалуйста, заходи, — но с которым матросы в этом месте стеснялись встречаться. Только самые неопытные просились: «Разрешите с вами помыться?» И тут же в ужасе назад выскакивали и потом по отсекам разносили весть о том, что у зама заморыш совершенно не прищипнут: до колена и в толщину как хорошая осина, и трет он его обеими руками, будто стружку снимает.

ТО-ТО МЫ ПОДОЗРЕВАЛИ, ЧТО У ЗАМА ЧТО-ТО НЕ ТО! Уж очень много страсти вкладывал он в учение Маркса и Энгельса.

В смысле излагал его очень убедительно.

Что и было подозрительно, потому что остальные замполиты, видимо, с членами мелкими, своевременно прищипнутыми и растущими в сторону, заметно тушевались при изложении работ, касающихся происхождения семьи, частной собственности и государства.

А этот не смущался, так прямо и рубил: «Человек — это обезьяна!» И мы ему внимали, а в задних рядах всегда робкий гул стоял. Там решали, как зам свой шланг в штанах укладывает.

— Бухточкой, бухточкой! — шипели самые нерадивые.

И, видимо, были правы, потому что впереди у зама невероятно подвижный ком красовался, что при экономии материала, отпущенного Родиной на штаны, делало его заметным, особенно во время лекций и бесед. Особенно когда он в середине фразы в сердцах хватал его рукой и вниз оттягивал.

Только зам спросит: «Как у нас воплощается забота о личном составе?» — и все сейчас же уставятся ему в ширинку и следят за рукой, которая в ту сторону направляется, и ухмыляются, будто именно там и находится правильный ответ.

И тут я должен, нет, я просто обязан сделать заявление!

И тут я обязан заявить, что, конечно, многие полагали, что мужской детородный орган — это и есть тот продукт, которым долгое время у нас партия кормила народ!

Но! Непосредственного подтверждения этому вы нигде не найдете.

Разве что в какой-нибудь заброшенной казарме, на Богом забытом стенде с наглядной агитацией, где политически незрелые негодяи рисовали все подряд, в том числе под органом политическим всем знакомый орган половой.

Но на боевых постах и в зоне, где у нас лодочки имелись, нашу наглядную агитацию берегли, холили и постоянно обновляли, а в ночь перед комиссией главокома ее даже охраняли, чтоб не изгадила сволочь какая-нибудь или чтоб бакланы с аппетитом сверху на нее не нассали.

Ходил туда-сюда офицер и кричал этим проклятым птицам:

— Кыш! Брысь! Гесь! — и веткой отгонял.

И они его прекрасно понимали, и с пронзительными криками срывались с места и летели куда-нибудь подальше на памятники ночевать.

А командующий утром приезжал и, чуть чего, брал за шкурку того офицера, если он не успевал до очередного лозунга раньше бакланов домчаться или если домчался, но постеснялся рукавом стереть.

И еще он его брал за это малопривлекательное место, когда находил вольно шляющегося воина-строителя. Тот воин от него сразу же давал деру — вверх по скользким скалам, с ходу врезаясь в колючее заграждение и споя его совершенно, уходил сопками.

И вот тогда командующий подзывал того зачавканного офицера, который, как очарованный, наблюдал это вспархивание, и говорил:

— Если вы мне вечером не сообщите его фамилию, то я завтра утром заинтересуюсь вашей.

И несчастный офицер, сразу ставший узкоплечим и пахучим, растарашив до боли гляделки, по стойке «смирно» глотал хлынувшую слюну и чувства и сейчас же ощущал жгучее желание находить всех подряд и сажать, находить и сажать и, будьте покойны, находил и сажал.

Хотя в другое время, в расслаблении конечно же, он ковырял бы в носу, находил бы там козявки, доставал их и истончал между пальцами, как чувства, и они потом падали бы и терялись.

Но в то время, когда адмирал брал его все-таки, я думаю, не за шкурку, а за жопу, он был собран в пучок и готов к страданиям.

А прикажи ему в ту секунду адмирал раздеться — и он, рывком обрывая пуговицы, разделся бы, потому что страна Великанов и командующий для офицера — это тоже Великан, который может все: может поднять, сорвать одежды и сожрать Мальчика-С-Пальчика. Подойдет к тебе Великан — и разденешься, никуда не денешься, потому что такая страна, черт тебя подери!

И для командующего в этой стране имеется свой Великан, и для главкома. И куда ни кинь свой взгляд — везде одно и то же...

И будто действительно когда-то некоторый Великан

паступил тут на берег и вдавил его в море, и образовалась наша бухточка, где у нас теперь только

пирсы, пирсы, лодки, лодки. А летом — воздух, море, благодать. А гулко, как в бане, и слышно все, потому что от скал отражается, особенно когда лодка к пирсу подходит и командир в мегафон с буксирами разговаривает.

Господи! Какие восклицания!

Экспрессия, истинная экспрессия.

Какие могучие выражения, при которых слово «жопа» выглядит как невинная присказка. И как все точно, словно ярлыки наклеены, потому что рождается это все в мгновение наивысшего торжества истины, потому что прав командир, тысячу раз прав, когда он кричит, хрипит, визжит в мегафон этим болванам, козлам, обалдуям клееным мы не будем повторять что, потому что это не имеет отношения к нашей с вами бдительности, а имеет отношение к мироощущению или к мирозерцанию, едри его мать!

А в 79-м доме жил Сова. Не может быть, чтоб я вам про него не рассказывал. Сова — маленький, толстенький, черненький такой, начисто лишенный шейных позвонков, у него голова сразу к плечам приставлена. И глаза у него хитренькие, узкие. Сова — командир ракетной боевой части, и еще он всегда готов к представлению, эскападе, прокламации и лирической драме.

Однажды жена послала его в воскресенье в Доф: приобрести билетки в кино. Было ровно четыре часа пополудни. Сова вырядился в преддверии интеллектуального общения с экраном в костюме и пошел, а навстречу ему еще два придурка ракетчика, пихающие в гору свежешкупленный холодильник. Почему в гору и почему на себе? А по-другому у нас ничего не доставляется, дети мои. Только на себе и только в гору.

— Сова! — кричат эти ненормальные. — Помоги, дышаем!

Надо вам сказать, что у ракетчиков очень сильно развито чувство локтя.

Они так и поровят друг другу помочь.

Остальным пачхать триста раз,

а у ракетчиков так не получается, у них все время локоть за спиной торчит, и все время он их пихает — помоги, помоги!

И Сова помог.

А как же!

Затащили они этот проклятый холодильник на пятый этаж, выпили, и Сова очнулся в два часа ночи в прихожей на ботинках — он лежал, свернувшись клубочком.

— Е-мое! — воскликнул Сова, ощупывая костюм. — Лучше б я в говно упал!

И я с ним не могу не согласиться. Лучше упасть в говно и пролежать в нем полдня по случаю надвигающегося какого-либо праздника или просто оттого пролежать, что при падении от испарений потерял сознание. У нас командир БЧ-5 вот так упал в говно от потери сознания, то есть наоборот, — сначала в говно, а потом уже потеря сознания, то есть потеря знаний о себе. Его взяли после ресторана в комендатуру, а он попросился у них в галюн и в дучке уже замыслил побег: выломал доску и уже почти вылез наполовину наружу — и тут неаккуратненько на что-то наступил, и это «что-то» треснуло, и с ужасающим нарастающим звуком он провалился в говно (или в «говно» — как правильно, не помню) и от немедленного возникшего испарения потерял сознание; его вынимать, а он висит на подмышках, и, главное, никто его не соглашается руками вынимать — всё палкой пытаются, палкой. А она соскальзывает — и по роже. Ужас, одним словом. Смерть героя — упал в говно и утонул. Ужас — еще раз хочется сказать.

Но этот ужас — это переживание совсем иного сорта, когда ты пошел за билетами, а очнулся в два часа ночи в передней, на чьих-то пивкусных ботинках, а жена все еще дома, ждет тебя, чтоб сходить в кино.

— Е-мое! — воскликнул Сова еще раз и еще раз нашел с моей стороны полное понимание.

А эти два травмированных с детства членоплета спят в салате. Дети Арины Родионовны! Он растолкал одного из них, а тот распеленал свои дивные глазки и не узнал Сову:

— Ты кто?

— Я? — удивился Сова, и какое-то время он действительно не знал правильного ответа. — Я — никто.

— Вот и иди отсюда, — сказали ему и выперли за дверь.

Через пять минут Сова вернулся.

— Слушай, — сказал он двери, — пойдём к моей жене, скажешь ей, что я у вас ночевал.

— Да пошел ты! — возмутилась дверь.

И Сова пошел.

А в автономках Сова всегда назначал себе день рождения, чтоб получить поздравления и торт. Он подходил всегда к заму тихошню, вставал рядом со спины и говорил скромненько:

— А у меня завтра день рождения.

И зам резко оборачивался, обпаруживал Сову и смущался так, будто тот застал его за чем-то интимным и совестным, и он тут же бросался Сове руку пожимать, поздравляя его всячески, а потом мчался на камбуз, чтоб там торт организовать.

Так что Сова у нас рождался в каждой автономке независимо от времени года. И зам ни разу не проверил, когда же Сова действительно появился на свет Божий.

А еще Сова любил спать. Он спал сидя, стоя, лежа, на корточках, на карачках, стоя раком; заходишь к нему в каюту, а он стоит на койке раком, ты ему: «Сова! Сова!» — а он спит; он спал на учениях, на докладах, совещаниях, собраниях, конференциях и просто так. Он спал, когда его распекали: вгонял голову в плечи, делал глазки щелками и тихо сопел. Он хрючил во время больших и малых приборок, на политзанятиях, политинформациях и в строю, при поворотах на месте и в движении.

Мы стояли в Полярном полгода. И жили на ПКЗ. На этом плавбезобразии. Там была плавказарма, которая, стоя у пирса, давно утопула, то есть нижняя ее часть прогнила и впустила воду, и это пешеходное крыто село на грунт. В общем, в трюме — вода, дальше — крысы, потом — матросы, а затем — наша палуба, где офицерам отвели каюты, а выше — начальство. И еще служба там правилась по всем статьям: «Для подъема флага построиться — шкафут, правый борт!» — и все это на корабле, который давно утонул. Просто «карман-сюита» — как все это дело называл старпом соседей, имея в виду то положение вещей, когда человек засовывает себе руку в карман, чтобы почесать там то, что на виду обычно не чешется.

И еще командир приказал вытащить из офицерских кают все матрацы, чтоб офицеры в рабочее время не разлагались, то есть не спали бы, как киргизские сурки, то есть без задних ног. И остались в каютах только голые панцирные койки, такие колючие, что на них лечь мог только умалишенный.

Сова надевал шинель, застегивал ее на все пуговицы, на голову — шапку-ушанку с опущенными ушами и в ботинках — руки на груди — заваливался на голые пружины и спал.

Зайдешь, бывало, в каюту, и не по себе становишься: Сова, вытянувшись, лежит в шинели на голых пружинах, свежий как покойник. Ему поначалу даже бирку в руки совали: «Я — умер, прошу не беспокоить».

— Савенко! — кричал командир, когда его вдруг где-нибудь отлавливал. — Где вы пропадаете?

— В цехе, товарищ командир, там клапана...

— В цехе?! Ну-ну! Если узнаю, что вы спите в каюте, клитор вырву!

— Есть! — говорил Сова и поворачивался, и у него на спине — сверху и донизу — была отпечатана койка.

Он обожал надеть на себя повязку дежурного и так разгуливать по территории. Так его никто не трогал, и он никого не трогал.

Но иногда на него что-то находило, видимо, что-то конструктивное, и он, пользуясь этой повязкой, останавливал строи, заставлял их равняться, перестраиваться, назначал старшего на переходе.

Как-то стоим мы с ним на обочине — а Сова только-только из себя дежурного сделал, — а мимо прет строй воинов-строителей — немые, зачуханные, по грязи, сапоги рваные. Строй похож на пьяную сороконожку.

Сова встал по стойке «смирно», грудь выпятил, поднял лапу к уху и пролаял: «Здравствуйте, товарищи воины-строители!»

Солдаты обомлели. С ними, наверное, никто никогда не здоровался, их, скорее всего, вообще никто не замечал, никто не любил. Они сами скомандовали себе «Раз-два-левой!», взяли пожку, подравнялись, прижали руки по швам, рывком повернули головы

направо и завопили: «Здравия! Желаем! Товарищ! Майор!»

Сова, все еще стоя по стойке «смирно», скосил на меня глазки и спросил:

— Саня, чего это я только что сделал? А?

— Не знаю.

— И я не знаю. Вот до чего может довести чувство стадности. Не ведаешь, что творишь.

Говорят, Сова умер. Во время погрузки ракет он уснул, и на него упала ракета. Не верю. Не мог Сова так бесславно исчезнуть. Вот увидите, войду я когда-нибудь в центральный, а он там дает очередное представление.

А как ракета падает, я видел. Хлоп — и потекла. И облако белое, ядовитое от нее поднимается. И как все узрели то облачко неприятное, и как рванули все — мигом вымерло, а впереди безумной толпы бежал капитан первого ранга. Он так врезался в окружающее нашу героическую базу колючее ограждение, что проволока лопнула у него справа и слева и в грудь глубоко вошли обрывки. Он бежал, как лось рогатый, и у него во время бега работало все: руки-ноги-рот и, главное, конечно же, ноги — они у него так и мелькали, так и мелькали, создавалось даже ложное впечатление, что они у него обуты в белые чулки, а за ним неслись все остальные, на мгновение позабывшие про свой мужеский пол.

И добежали они до какой-то вопочей ямы, и бухнулись в нее с разгону все, и все разом закопались, зарылись в землю, как кроты.

Вот это были скáчки! Потом каждый из участников мог запросто изобразить «Зорге на лошади» или только «его лошадь».

Не помню, чтоб за это потом награждали.

Да и чем у нас могут наградить?! Господи! Да у нас же все награды юбилейные — какие-нибудь «70 лет Вооруженных Сил» или «100-летие» еще чего-нибудь, может быть, даже исполнения оперы «Аида» или другой оперы, Масканио (брата Пуччини), «Сельская чухь».

Вот я никогда не носил на себе эту юбилейную глупость. Да и небезопасно это — можно ляжку проколоть.

Вот была у одного ветерана орденская планка от ключицы до колена. Так его так зажали, чтоб не очень ветеранился, в общественном транспорте, что она у него расстегнулась и упала. А потом ее кто-то подобрал и воткнул ему в грудь печальную, да так здорово воткнул, что сердце насквозь проколол. Окружающие ему: «Папаша! Папаша!» С-свет небесный! А у него головенка уже отвалилась, а глаза уже видят сады райские.

Выводок блядей! Хочется воскликнуть насчет всяческих наших наград. Выводок блядей!

Нет, граждане, у меня на груди всегда красовалась только одна плапочка-волкодавка, символизирующая собой одну-единственную награду — медаль «Не-Помню-За-Что». Я тогда даже не поинтересовался, что я там в военторге приобрел, когда мне орденская планка понадобилась, просто зашел в ларек, ткнул пальцем в самую мелкую — «эту», мне ее и выдали.

Сколько она у меня распечатывалась и падала с груди — это не сосчитать, и все время я на нее наступал, и она мне в ботинок впивалась, и хорошо, что маленькая, — насквозь его не протыкала, а то Серега Бережной по кличке «Бережной с кретишками», тот самый, что, напившись, уверял, что он — Эрнест Хемингуэй, родной внук покойного, и сделал во время Кубинского кризиса, купил себе планку сразу на четыре отростка и только пришил ее на себе, как она у него через мгновение отцепилась, упала, а он на нее, конечно же, наступил и пропорол себе ступню.

Месяц потом в госпитале валялся, потому что от сопревшего в ботинке носка получил заражение голубой Эрнестовой крови. Между прочим, после этого разрешили носить шитые планки, то есть пришивать их к белью намертво.

Выводок блядей! Хочется повторить. Вот так у нас всегда, чтоб им письку на лохмотья размотало, пока не ухлопают кого-нибудь, перемен не жди.

Вот упал у нас генерал на пирсе, поскользнулся он, милашка, в наших новеньких флотских тапочках на кожаной подошве, и только затылочек во все стороны в лучах восходящего солнца брызнул. И только тогда нам всем тапочки заменили: выдали те, что не скользят на вспотевшем железе, — тапочки на микропоре.

А сколько до этого подводников падало, сколько их билось своими тупыми головками или что там у нас вместо них имеется — о железо! о железо! о железо! — и никого это не волновало, а как генерал звякнул, язви его в душу тухлую, так всем сразу и полегчало.

Велик, конечно, соблазн возвести этот случай в принцип и бить генералов, ухватив их за срань, обо что ни попадая, чтоб до перемены на Руси достучаться, но не будем мы этим пользоваться. По-моему, нехорошо это как-то. Нехорошо. Лучше мы снова вернемся к описанию пейзажа.

— Опанизм! — заявлял наш старпом, который является составной частью нашего пейзажа. — Это полезно!

И заявлял он так в переполненной кают-компании где-нибудь к середине похода. Причем посреди доклада, не поймешь к чему — все затихали, ждали, что же дальше. А он, вроде бы про себя:

— И врачи рекомендуют. Надо бы нашему доктору лекцию прочитать.

— Так доктор и так все знает, Алексей Ильич! — не выдерживал я у себя в углу, и мне тут же вставляли в нежную часть кусок подозрительной трубы, огорчали меня то есть, наказывали в приказе, а потом аккуратно переносили все это в мою карточку взысканий-поощрений. И не было в моей карточке места живого.

Меня наказывали: «за неуважение к старшим», «за препирательство», «за систематический халатный надзор», «за спесь и несобранность», «за умничанье» и, наконец, «за постыдную лживость при объективности событий».

А зам перед проверкой штабом флота вбегал к помощнику командира в каюту и, торопливо спотыкаясь, записывал нам, командирам боевых частей, всем одно и то же взыскание: «За низкую организацию соцсоревнования во вверенном подразделении» — выговор-выговор-выговор!

И я сочувствовал этой его торопливости.

Потому что когда мне давали эту карточку на ознакомление — а вы знаете, конечно, что у нас офицера знакомят с его взысканиями, — я, улучив мгновение,

кишь ее в форточку, и она, заметавшись, как чумная мышь летучая, полетела, полетела, полетела — размножаться. И помощник потом все никак не мог мне доказать, что он только что мне ее вручил.

Потому что не успел я расписаться за ее получение в журнале учета ознакомлений офицерского состава со своими карточками, потому что, пока он рылся, оттаячив свой ядреный круп турецкого кастрата, хрипя в галстук под целой стопкой журналов — «инструктажа по технике безопасности», «учета воинской дисциплины», «учета бесед...» и «учета учетов» — в поисках того журнала «ознакомлений», я свою карточку уже сплавил в форточку.

— Не может быть! — говорил он потом и шарил повсюду бессознательно. — Я где-то здесь ее положил.

— Может, — говорил ему я и смотрел нагло.

Про-мис-куи-тет, одним словом, про-мис-куи-тет! И обширная, систематическая пронация с помощью пронатора.

Я как-то сказал все эти слова, пытаясь с помощью их очень сдержанно, в строгих, меланхолических тонах описать всю нашу флотскую жизнь, но меня никто не понял.

Все смотрели на меня и будто припохивались, будто я по старинному обычаю венецианок между щечками ягодиц раздавил ампулу с духами и теперь они в непомятом томлении старательно постигают природу столь дивного аромата.

А у зама даже носик вытянулся, и вся его мордочка сделалась такой суетливо тонкой, щетиистой — ну, точь-в-точь как у опоссума, проверяющего свежесть утиных яиц, — такая недалекая-недалекая — видимо, оценивал он те слова на правильность политического звучания.

Но столь хрупкая его и з о с т а ц и я (изосрация, так и хочется ляпнуть) была совершенно подавлена и опоганена нашим старпомом.

— Химик, еб-т! — сказал он.

Наш старпом, кроме как «Мандавошка — это особый вид бабочки без крыльев», пичего же поучительного сказать не может. И еще он много чего сказал, но

я это все усвоил только на треть, потому что смотрел ему на мочку уха.

Этому фокусу меня научил Саня Гудинов, с которым мы столько прожили, что если собрать все это вместе, то получится огромный холм, состоящий из людей и событий, воспоминаний и восклицаний, рапортов, объяснительных и проскрипционных списков.

А фокус состоял в следующем: нужно при распекании тебя начальством смотреть собеседнику на мочку уха. Начальство это не выдерживает, оно невольно начинает ловить твой взгляд и забывает совершенно то, о чем оно с тобой разговаривало.

Эх, Саня, Саня!

Мы с ним пять лет жрали из одного котла всякую малопонятную дрянь и спали, не раздеваясь, на одной походной несдвигаемой кровати, где кроме нас поместились бы все сказки Гауфа, и все мы в сравнении с нею были дюймовочками и нуждались в родительском утешении.

А родителями в тот период нашей с ним биографии у нас была группа командования. Это к ней, чуть чего, следовало обращаться за утешениями.

— Пойду выпью со сволочами, — говорил о них Саня и отправлялся пить, празднуя то ли проводы очередного нашего зама, то ли пома, то ли старпома. И, напившись, они мирились, и старпом вел Саню к себе допивать.

— Глафира! — внутренне ликуя, говорил старпом жене, которую вообще-то звали Марией, когда дверь открывалась. — Уч-ти! Мы с другом!

И «Глафира» учитывала. То есть я хотел сказать, что после этого происходило нечто необъяснимое: его жена, ростом чуть выше веника или травы полуденной, выражаясь эзотерическим образом, стоящая в дверном проеме руки в боки, вдруг выбрасывала одну руку далеко вперед и сгребала старпома полностью в горсть — ему словно ядро между лопаток попадало; после чего она зашвыривала его в комнату — а он еще жопками так ловко сам себе наподдавал по жопке в этом перелете, что просто детское умиление порождал, — потом дверь с треском захлопывалась.

Саню я обнаруживал паутро во второй нашей комнате — он клубочком лежал на полу.

В этой комнате у нас хранилась политическая литература: откровение ведущих политических авторов и прочее проституирование в виде газет и журналов.

Дело в том, что Саня выписывал себе кучу обязательной литературы: «Красную звезду», «Квадратный полумесяц» и другие чудеса. И все это, не читая, мы годами складывали в этой комнате. Так вот: если правильно расположить вдоль стенки все эти отпечатанные мысли и потоки сознания, то на них можно было даже почевать при отсутствии кроватей, что мы и делали, появивсь у нас в жопу пьяные гости: мы правильно располагали авторов, чтобы они с прыжка не развалились, потом за руки за ноги — «Раз! два! три!!!» — закидывали на них гостей, оборачивая все это предварительно полиэтиленом на тот случай, если поутру они спросонок, не доходя до унитаза, будут ссать друг на друга вперемежку.

Но в этот раз, видимо, Сане пришлось туго, потому что он-таки не дошел ни до постели, ни до политических авторов. Я его поднял и потащил к кровати, а он только чуть-чуть в себя пришел, только почувствовал, куда я его перемещаю, как сразу же уперся. «Нет, — говорит, — пусть тут зам ляжет, а я — с краешку».

Так и не лег на кровать. А еще говорят, Саня не любит замов. Данный случай свидетельствует, что любит, и до этой любви, если сильно пабубениться, можно докопаться.

Видимо, после того как Саню от старпома выставили, он вдоль озера здорово пагулялся и совершенно потерял ориентацию: пришел и рухнул среди журналов и статей.

Саня, когда крепенько выпьет, всегда гулять отправляется. Если он вам скажет: «Я пошел гулять», — значит, он уже готов к повреждениям, и выпускать его не стоит.

Хотя внешне это на нем никак не отражается и заметить падвигающуюся прогулку можно только по кошепным признакам. Например, он вдруг открывает холодильник и начинает из него выгружать на стол все банки и тут же их вскрывает, приговаривая: «Это

изумительные, восхитительные люди», — имея в виду тех людей, которым он собирается скормить все эти консервированные прелести.

Однажды он таким образом уничтожил всю замовскую икру. В нашем холодильнике наш новый заместитель — Клопан Клопаныч, как мы его окрестили, — хранил свою икру. Не ту, конечно, икру, которую он лично отметал, а ту, которую нам после автопомки выдавали. Просто квартиру ему еще не предоставили, и холодильника у него не было, вот он у нас свою икру и пристроил.

Он раньше на Черноморском флоте мучился, а там «икорку» — как он изволил выразиться — не выдавали, а у нас выдавали, и он этому обстоятельству жутко обрадовался. Да мы и сами предложили: мол, у вас на ПКЗ все равно сопрут, давайте к нам. Вот ее-то Саня и скормил «изумительным» людям.

Потом он, правда, подошел и сообщил эту трепещущую новость нашему новому заместителю, лимон ему в задницу. Икнул, потом основательно и глубоко рыгнул и сообщил.

Саня, когда смущается, всегда сначала икает, а потом уже глубоко и убедительно рыгает. В общем, проделал он все эти упражнения со ртом и с желудком, говоря:

— Александр Александрович! (Фу-х!) Я вашу (мать) икру-то... съел!

И вы знаете, немедленно запахло наигравшейся гориллой. Этот наш новый зам в разные периоды своей жизни у нас пах по-разному: при волнении — наигравшейся гориллой, при огорчении — побеспокоенными клопами, а в случае опасности — духами и жасмином.

Так что если рядом с замом запахло духами, значит, жизни нашей что-то угрожает. У замов просто чутье поразительное на это дело, чуют они, тряхомуды печальные, когда их жизнь в опасности, а этот наш недоносок — в особенности.

И еще у него уши оттопыривались, когда он был вне себя, и тогда, когда Саня ему эту новость сообщил, они тоже у него отошли от головы на значительное расстояние, а затем на лице его сейчас же сделалось выражение, будто пришла свишня и съела всех

его детей, с него просто картину можно было писать: Рубенс. «Хавронья и младенцы».

Потом он пожевал впустую воздух — он всегда жевал так воздух, когда собирался сообщить нечто значительное, — и...

— Александр Евгеньевич! — пауза, во время которой зам слегла, как кляча на солнце, качает головой. — Но у меня ведь дети!

Надо вам сказать, что Саня (консервированные слюни тети Глаши!) вообще-то поначалу слабо понимал, какое отношение имеют дети к замовской икре. Оказывается, у зама много детей, оказывается, их у него — вертеп едучий, и еще оказалось, что по ночам, оставшись один на один с верблюдьим одеялом в вопочей каюте на пароходе, зам мечтал, как он вскрыет банку и собственноручно ложкой вложит каждому своему грызеньшу в рот по икринке.

Пришлось за корабельный спирт доставать заму эту икру — а что делать! — и еще кое-какие консервы, которые Саня вместо детей съел вместе с «восхитительными» людьми.

Протознурия!

Я когда вспоминаю этого нашего зама, мне всегда приходит в голову именно это слово; сначала, правда, ахиня какая-то, удивительная в своей прозрачности, лезет в голову, а потом — оно. И еще приходит слово — «прострация», и еще — «проплиопитек».

Проплиопитеками кто-то назвал наших матросов, которые при сдаче всем экипажем перед походом анализа мочи плевали заму в миску, отчего у него всякий раз обнаруживали в моче белок (хотя белок может быть в моче у зама, я считаю, просто от трусости перед автопомкой).

А белок в моче, ребята, официально обнаруженный, — это и есть протознурия, что само по себе есть — заболевание почек, лихорадка, половая недостаточность и прочая глобальная зараза.

И как только такой никудышный замовский анализ становился достоянием гласности, зам немедленно впадал в пространственную прострацию на несколько дней, а доктор-идиот по триста раз гонял его на повторную сдачу той внутренней жидкости, недержание

которой с трудом можно отнести к признакам богатырского здоровья, и недержание с ним случалось всякий раз, когда доктор все ему объяснял про протознурию, но положительное звено состояло в том, что док ни под каким видом не гасил в нем луч надежды.

И зам каждое утро, проснувшись с надеждой или только с ее лучом, не срамши, не жрамши, не опорожнивши себя, мчится в поликлинику, и каждый день его надежда не подтверждалась, потому что матросиков у нас много, и все они негодяи, и все они успевали плонуть заму в тот скромный половничек, что он в банку нацедил, отчего потом зам при получении в руки анализа заводил при докторе такую псалмодию, что становится просто неудобно за его мировоззрение и идеи.

Оказывается, он совершенно был не готов к самопожертвованию, хотя, конечно, все где-то даже подзревали, что так оно и есть и наш заместитель ведет себя как блядь последняя, то есть как всякий зам на краю гибели, то есть как очумевшая колхозная баба, севшая жопой на противотанковую мину.

А от плевого пожара он вообще в отсеке носился по проходу, как молодая коза, блял, душистый, со-чась фекалиями веретенообразно (то есть ссаками жидкими исходя совершенно на нет), опрокидывая моряков, которые бросались к нему, ссущему, наперерез, чтоб помочь осознать себя.

Ибо!

Нет такого пожара, чтоб не нашлось у тебя пары секунд, во время истечения которых можно было бы поправить себе галстук и кое-что на роже и в душе.

И если уж вырвало клапан на пятнадцать кило по забортной воде на глубине четыреста метров, если улетел он, как снаряд, и в кого-то по дороге врезался так, что и смотреть потом на беднягу не хочется, так будь же ты человеком, сукин ты кот, потому что ты все же заместитель командира, а не дерьмо собачье и смотрят на тебя, паскуна, десятки глаз и ждут, когда ты скамандуешь: «Аварийная тревога! Поступление забортной воды в отсеки!» — и, может быть, даже возглавишь борьбу за живучесть.

Конечно, придется кому все это сделать и без тебя, но тогда хоть не сразу превращайся в вездесущее существо наиподлейшего вида, а если и случилось с тобой такое, то уж будь любезен, как только с аварией справятся, возьми на выбор или серп, или молот и отхвати себе тот постыдный кусочек, тот сраный окрайнок, обтянутый кожей, тот вялопровод трясучий, который в результате воспитания оставили тебе вышестоящие органы.

И будет это называться — «замовское харакири».

Хотя кажется мне, что до харакири нашим замам еще расти и расти.

Не будут они его делать ни при каких обстоятельствах.

Потому что ущербны они. Прищипнуты, как мы уже выше говорили, на манер восточного обрезания. Клитрованы (а клитрование — это когда клитор последовательно удаляют всему гарему: от клитора к клитору, от клитора к клитору).

Безусловно, и на этот раз все мои размышления метафизичны, вероятнее всего, полностью и приложимы не к замовской конечной плоти, а скорее к его уму, чести и достоинству.

Кстати, весь предыдущий пассаж, посвященный заму, его члену и его мировоззрению, целиком относится и к командирам, старпомам, помам и прочая, прочая.

И пусть выражение «Береги член смолоду», принадлежащее нашему корабельному доктору, сослужит им в деле повышения уровня нашей боевитости свою посильную службу.

О нашем докторе здесь тоже можно порассказать.

Конечно, у нас доктором на корабле был не тот орел, который в автономке сам себе вырезал аппендицит, чем привел все командование в изумление, а потом и в состояние слабой истерии, вялого шока, мелкой комы, тихой рефлексии и многих сделал интровертами (перевертышами то есть, в смысле всяких безобразий). После чего его с корабля убрали, наградив за доблесть орденом Красной Звезды. Правда, потом у него все подряд спрашивали: «Толя! Если уж ты вырвал сам себе аппендицит, то где же он?», — на что он обстоятельно отвечал, что аппендицит он положил

в банку со спиртом в качестве вещественного доказательства, но крысы (я так и знал, что в дело замешаются крысы) проникли в банку (поди ж ты), выпили спирт (экие бестии) и червячком закусили. А ему опять говорили: «Толя! Ты бы хоть сфотографировал его на память для зрения», — на что он отвечал, что фотографирование он производил с помощью матроса, но фотографии получились только до входа в брюшину, а потом у матроса пленка кончилась. И еще его долго расспрашивали всякие дотошные негодяи, которых на корабле и вокруг него всегда много бродит и которым всегда интересно узнать, как же это люди в мирное время ордена зарабатывают, вследствие чего он стал ужасно нервным и в дальнейшем, когда рядом с ним заговаривали об аппендиците, всегда вздрагивал и внутренне выл, поскребывая себя визуально и мысленно в пескромных местах.

Нет, конечно! Таких врачей, которые себе чего-нибудь с удивительным проворством во время службы отхватили, у нас не было.

Вот другим что-нибудь оттяпать — это пожалуйста.

Был у нас врач Петя, который, спасая командира БЧ-5 то ли от перитонита, то ли от гангрены, то ли еще от чего-то позорного, вместе с гниющей частью от восторга и облегчения, что так у него все здорово получилось, ему яйца оторвал.

И никто этого не заметил, а когда наконец заметили, то решили: ну зачем бэчпятому яйца, ему главное — жизнь сохранили, чтоб он по-прежнему был командиром БЧ-5, — да и сам пострадавший сколько раз подходил к нему, умиляясь, брал его руки в свои и вроде бы покачивал их, улыбаясь, и говорил высоким голосом: «Ну зачем мне яйца?! Главное — жизнь!» — на благо Отечества, хочется добавить, и замполиты так считают.

И был у нас врач Федя, который обожал раскрыть какой-нибудь прыщик у матроса и сделать из него незаживающую рваную рану и который ходил за замом, как туцдровый охотник за червивым оленем, и уговаривал его произвести операцию по удалению кисты, которая давным-давно должна была у зама появиться, судя по тем записям, что оставил ему его предшественник.

И был у нас врач Леха, которого я столько раз просил:

— Леха! Излечи от укачивания. Меня ни одна зараза не хочет излечивать. Я буду всюду за тобой ползать. Подползать и целовать в неосвещенных проходах.

А Леха отговаривался, мол, «морская болезнь... вестибулярный аппарат... неисследованная часть мозга». А однажды так качало, что все лежали вперемешку с потрохами, а лодка выписывала бешеную восьмерку — вверх, вправо, потом висает и, набирая скорость вниз, влево — ужас кромешный, вжимает в пол так, что в глазах темно.

Как я до него добрался — не помню. Вползаю:

— Леха! Подыхаю...

А он мне:

— На. Цистамии, противорвотное.

Только я глотаю эту дрянь, как лодка деревенеет где-то там наверху, и мне на мгновение становится лучше.

— Хорошо, — говорю, — очень хорошо...

— Неужели сразу помогло?

— Как рукой.

— Ты смотри, как быстро действует.

И тут она пошла вниз.

Дворняжка! Сомлей в углу и уйми там свое нечистое дыхание. Именно так я отвечаю тем, кто начинает учить меня, как справляться с укачиванием. Яйца на очи, как говорят в солнечной Болгарии. «Яйца на очи!» Меня так вдавило в кушетку, и я так высоко плюнул, что цистамии мигом был в потолке, а я — в собственном дерьме зеленом.

— Интересная реакция организма! — говорит Леха и сует мне в нос вату с пашатырем. Миллион иголок попадает в нос, в мозг, а потом глаза вылезли, как пьяные улитки из домиков, и, перед тем как остеклеть, внимательно посмотрели на Леху. Именно так смотрели экспериментальные собаки на академика Павлова.

— Интересная реакция организма! — Леха где-то там, на поверхности сознания, и мне его не достать. — А что если нам попробовать амилнитрат?!

После этой дряни остатки воздуха в легких улетучились сами, а глаза, про которые я уже сказал, что они выкатились на значительное расстояние, вылезли еще дальше, а тело задергалось так, будто оно веревку рожает. Секуида — и сдохну.

Пропадает амилнитрат — появляется воздух, мысль и Леха.

— Интересная реакция организма! — говорит Леха. — А что если нам попробовать этот... ну как его... этот, — Леха щелкает пальцами в поисках нужного слова, — ...этот ну как его...

— Леха!!! — хриплю я в ужасе.

— А?

— Ле-ха!!!

— А?

— Хуй на! — и после этого я выпадаю с кушетки на пол и на четвереньках, так меньше беспокоит, как раненный в жопу ящер, выползаю из амбулатории.

Чтоб этого Леху прибило когда-нибудь!

Поленом, бревном, коленчатым валом.

И чтоб у него позвоночник высыпался в трусы!

И чтоб у него на лбу вместо ожидаемой венской залупы выросла вагина принцессы Савской.

И чтоб у него там завелись тараканы, которые не давали б ему ни на минуту забыться.

И чтоб амилнитрат попробовали все его родственники и в особенности родственницы, и чтоб после этого первые стали бы активными педофилами, а вторые — педофобами, а третьи — если б они нашлись — запаршивели все!

Ох, врачи, врачи! Не было бы в вас пужды, давно бы вас истребили.

Между прочим, у Вересаева в случае холеры врачей забивали насмерть.

А у Чехова — заставляли высасывать дифтерийную пленку у ребенка. И детки потом ладошками насыпали ему могильный курган.

А врачи Куприна? Он идет и в слякоть, и в холод ночью от больного к больному, он не берет денег за лекарства, и в темноте передней ему целуют руки. А вам в темноте передней целовали когда-нибудь руки?

А Леха бишты домой воровал, сука. Сейчас живет где-нибудь, обложенный катастрофическим количеством биштов.

Его потом перевели флагманским бригады утопущих кораблей, где кроме всего прочего он должен был еще учитывать крыс, убиваемых личным составом. 75 крыс равнялось 10 суткам отпуска.

У него в отпуске побывала вся бригада. Они месяц подсовывали ему одну и ту же крысу.

Леха аккуратненько отмечал принесшего и крысу в специальном журнале учета, а потом она летела в иллюминатор. И тут начинались чудеса: крыса не тонула, она плавала по поверхности, потому что матросики перед тем, как потащить ее к Лехе, надували ее, вставив ей тростишку в задницу.

Они ее вылавливали, сушили феном и снова тащили к Лехе, а ночевала она в бригадном холодильнике вместе с колбасой для комбрига, а комбриг потом жаловался на бурление и газоотделение.

Леха что-то неладное почувствовал только тогда, когда крыса истлела у него на руках, после чего он стал фиксировать в журнале не крысу целиком, а только ее хвост.

Пришесут ему хвост — он его зафиксирует и сам проследит, как тот утонет.

Тогда матросики в недрах этого плавающего флагманского каравап-сарая завели подпольную крысоферму: отловили двух производителей, посадили их в клетку — и давай кормить, и развелось у них море крыс, среди которых велась селекционная, племенная результативная работа, в результате которой у молодняка вырастали ужасающие хвосты.

Хвосты доставались Лехе, и он их самолично топил.

Удивительно радостной и спокойной сделалась жизнь на этой бригаде. Люди трудились с утра до вечера с небывалым энтузиазмом. Люди точно знали, когда они отправятся в отпуск.

И бригада числилась самой крысоловющей. В этом показателе она всех облапошила. К ним по данному факту даже приезжала комиссия, председатель которой говорил Лехе:

— Не может быть, чтоб у вас столько ловили.

— Ну почему же, может, — говорил Леха и через рассыльного передавал: — Принесите свеженьких.

И ему немедленно доставляли пучок хвостов. И он вручал его проверяющему. Вы бы видели глаза того проверяющего. То были не глаза Ньютона, которому в голову грянуло яблоко, то были даже не глаза Карла Линнея, увлеченного своей паршивой систематизацией видов, — то были глаза стадного павиана, раньше всех обнаружившего в кустах патефон.

Так и отстали от Лехи с этими крысами. Ничего не могли с ним поделать.

А тот доктор, что советовал всем беречь свой член, пробыл у нас совсем недолго, потому что спал со всякой блядью, в том числе и с женой такого высокого командира и начальника, что я из почтения даже выговорить его не могу, потому что только намереваюсь это сделать, как во рту сейчас же будто ментол раздавили.

И со всеми своими бабами этот доктор проверял различные положения и позиции, изложенные в русских народных пословицах и поговорках.

Но когда он с той женой начальника проверил положение «солнце за щеку» и «всем вам по лбу», то она на него так окрысилась, просто неприлично, я полагаю, себя повела, что пожаловалась мужу, и он его услад куда-то туда, где прививки от дифтерита можно делать только моржам.

«Пидор» — это слово меня всегда взбадривает и возвращает к энергичному повествованию. И никто не говорил мне его, просто вроде бы само прозвучало, оно столько раз звучало со стороны, что почему бы ему еще раз не прозвучать, и я сейчас же вспомнил одно устное исследование, которое я провел вместе с одной моей знакомой девушкой, когда вовремя заметил в ней проснувшийся интерес к гомосексуализму. Я ей заявил, что на военном корабле нет места гомосексуализму, а потом я вдохновился, зашагал туда-сюда, остановился и изложил ей все, что я знал по данному вопросу, а также все, что я вроде бы знал, а также то, что я вовсе не знал, но мог бы знать. А в ней интерес все не пропадал и не пропадал, все распался и распался, и глаза у нее все открывались и открывались, что заставило меня еще неоднократно воз-

вращаться к мужеложству как паисладчайшей теме нашей современности.

Я говорил долго, ярко, красочно, сочно, дополняя руками, манипулируя свободно ими и терминами. Я вдохновился так, что, казалось, не остановлюсь никогда. Я промчался по лесбиянству, геронто-, педо-, зоо- и фитофилии, как по милым тропинкам, искоженным с детства местам, и остановился, по-моему, только тогда, когда обнаружил, что говорю о задержках менструальности у норок и смене полов у домашних мышей. И остановился я только потому, что обнаружил, как собеседницу хватил коцдратий.

А что делать? Нельзя у писателя настойчиво интересоваться, что он думает по тому или иному вопросу: он вам такого наговорит — рады не будете. Ведь он же писатель, он живет в мире иллюзий и проснувшихся чувств. Ну как же его можно воспринимать всерьез? И как у него можно спрашивать совета о том о сем?

— Шмара! Профура! Прошмандовка!

Вы не знаете, какое отношение ко мне лично имеют эти выражения? И я не знаю, по командование так часто ими пользовалось, что я уже думал: ну, может, внешне я им что-то напоминаю?

— Подберите свои титьки! — говорили мне на построении на подъеме Военно-морского флага нашей Родины, и я подбирал, поворачивался к своим людям и говорил:

— Слышали, что сказал старший помощник командира? Пятки вместе — носки врозь! Попку сжать и грудь вперед! Всё нам в рот! Смотреть озорней в глаза свирепой флотской действительности!

И люди меня понимали. И смотрели озорней. И правильно! (Клитор коровы вам всем на завтрак!) Во взгляде настоящего флотского офицера должна быть дурилка-смешинка-соринка-чертовинка! (Бигуди на яйцах!) И она там у него потому, что в любой обстановке он сохраняет присутствие духа.

Вот упал с пирса «уазик» комдива с двумя пьяными матросами, и утонули они тут же, и распорядительный дежурный, лейтенант, описывая полукруг, как кот с банкой на хвосте, вбегает к комдиву, сильно картавя:

— Там люди... с пирса... утонули!..

— Лейтенант! — говорит комдив. — Выйдите и зайдите как положено.

Лейтенант вышел, зашел и говорит отрывисто, потому что губы пляшут:

— Люди! Утонули! Товарищ! Комдив!

— Последний раз говорю: выйдите и зайдите как положено!

Лейтенант вышел и зашел как положено (стук в дверь: «Разрешите?» — «Да-да»):

— Товарищ адмирал! (Руки по швам. «Разрешите доложить? Распорядительный дежурный такой-то».) С пирса упала ваша машина! Два шофера утонули!

После этого адмирал — будто только этого и ждал — вскочил и заорал:

— Так! Какого ж хуя ты молчишь? (Епот твою мать!)

Вот оно!

Великую оздоровительную силу русского мата нельзя разменивать по мелочам!

— Так, старпом! — говорит командир на совещании. — И последнее. На корабле много мата! Мат прекратить! Развернуть работу!

Старпом, который слушал мат еще через мамину плаценту, а потому был в этом деле не последний человек, настоящий специалист и ценитель, вначале выглядит смущенным, но потом делает себе озабоченное лицо и говорит:

— И пачать, я считаю, нужно с офицеров, товарищ командир!

— И пачните! — Поворачивается к замполиту: — И вам, Антон Себастьяныч, тут непаханое поле деятельности. Всех блядей к погтю! (Увидел замовское удивление.) Кстати, «блядь» — литературное слово. И если я говорю офицеру, что он блядь, значит, так оно и есть. И офицер должен работать, искореняя этот недостаток.

А через пять минут старпом со стапель-палубы уже кричит матросу, полусонному дурню, который наверху шагнул мимо ограждения и покатился-покатился и

если не зацепится за что-нибудь сейчас, то ляпнется с высоты семнадцати метров.

— Прособаченный карась! Ты куда, блядь паскудная, пополз?! Когтями! Когтями цепляйся, кака синяя!

И матрос (кака синяя) цепляется за что-то когтями.

А без мата как бы он зацепился? Как бы он собрал свою волю в кулак и почувствовал, что жизнь прекрасна? Как бы он вспомнил о Родине, о долге, о личной ответственности за каждого?

Этот старпом прослужил на корабле двадцать лет, а потом как-то очень быстро собрался в один день и списался с плавсостава с диагнозом — «мгновенная потеря памяти». Правда, врачи ему сначала сказали, что с такими штуками, как «тараканы в голове», «ментальное размягчение ума», «временная глупость», «взрывы в кишечнике» и «что-то гнусное внутри», они не списывают, но он предоставил какие-то после родовые метрики, где было написано, что еще при рождении «стрельцом» он вышел у мамы боком.

— А как же вы на флот попали? — спросили его, и он заявил, что проник через форточку и затер пальцем то место, где было описано его детство.

После чего его уволили в запас, взяв у него на всякий случай пункцию спинного мозга, и теперь у него при ходьбе не только память, но и ноги отстегиваются, и голос у него стал такой певучий-певучий, истинное кантабиле получается при разговоре, слово кабарьеро, никак не остановить.

Просто — член на планширь!

Я считаю, что именно так эту ситуацию и можно прокомментировать: член на планширь!

Так командовал нам капитан первого ранга Сыромятин, когда мы — молодые, в пушке, с зеленью на ушах, первокурсники — проходили шлюпочную практику.

— Всем член на планширь с правого борта! — командовал он нам, когда мы, сидя в шлюпке в десяти метрах от берега, отвечали ему устройство шестивельсельного яла и тут кто-то не выдержал его громового голоса и писать попросился.

И все вытащили тогда свои члены и положили их с правого борта. И вдруг он истошным голосом, сжимая кулаки и наклоняясь от усердия, как заорет:

— Всем с-ссать!!! — и все сейчас же ссут сидя, и ты, ссуший так же, как и все, неторопливо замечаешь, что у кого-то член с родинкой, у кого-то — в пятнышках и в таких трогательных мелких пупырышках, а раньше ты этого не замечал; а в пятнадцати метрах — пляж с людьми. А если кто замешкался с ответом или устройства шлюпки не помнит, то он ему: «Пешком из шлюпки марш!» — и он в одежде в воду — бух! — и бредет к берегу.

Говорят, этого бешеного капитана первого ранга представили когда-то к «герою Советского Союза» и к званию «адмирал»; но когда он прикатил в то место, где у нас все это вручают, то вошел в помещение вразвалочку, а ему сказали: «Выйдите и войдите за наградами как подобает». И тогда он повернулся и врубил такой строевой шаг, что люстра жалобно затренькала, а, выходя, он еще дверью шлепнул так, что все ковры побелкой запорошил, и больше ни за наградой, ни за званием не явился, а отправился в ближайшую пивную горло промочить, там его в конце дня и обнаружили, и получил он тогда назначение не в «герои» и не в «адмиралы», а к нам в училище, на шлюпочную практику.

Вот в присутствии каких людей, положив свой член на планширь, в окружении друзей, пузырясь от страха через жопу, я ссал с правого борта.

А вокруг — солнце, тишина и безмятежное море, совершенно не подозревающее о растущей мощи нашего родного военно-морского флота и его великом грядущем, в котором я лично совершенно убежден неоднократно, и даже очень.

А мне еще говорят, что я не люблю флот.

Дорогие мои сифилитики, импотенты ума, прямолинейно пустоголовые! Флот — это я. Я на нем полжизни прожил. И как же я могу не любить самого себя?!

Да я себя обожаю, идиоты. И с этого момента присваиваю себе титул — «Дивный»!

Да-а-а...

А флот так и стоит перед глазами...

— Пиз-ззда с ушами! Просто пиз-ззда! — говорит командир на пирсе в окружении офицеров, и это — испытывающая характеристика его подчиненного.

А вот и стихи:

*Пошто! Моей мечте вы уши обкорнали!
Пошто! Взашею мне шлепков наклали!
Пошто! Я молодой от вас в тавот попал!*

Их читает Мишка Таташкин по кличке Крокодил. Он сочиняет их на ходу, и поскольку мы ходим много, то этих нескладушек у него — полным-полно. Например, идет он рядом со мной и бредит: «Сосу сосал сосед сосил», — это он рифму подбирает; или: «Писька уютно-уютно лежало, дерево рядом тихонько дрожало», — и читает он их нам на построении на ухо, когда стоит во второй шеренге. Когда надоест — поворачиваешься к нему и говоришь:

— Мишка! Едремть! Ты знаешь слово «эдикт»?

— Знаю. Это по-римски «выражение».

— Это по-русски — «э-ди-к-ты»!

А рядом уже обсуждается старпом:

— Наш старпом всегда так противно визжит.

— И воиает.

— И в желаниях своих, я вам должен доложить, он мелок, как писька попугая.

— Из ужасов половой жизни хотите? Ночью снится мне что-то невыносимо белое. А я же любопытный. Пододвигаюсь поближе, тянусь, окликаю, а это рука, безжизненно торчащая из белоснежной жопы. И только я придвинулся к ней, еще ничего до конца не осознавший, а она меня — хватать! — и стала обнимать. Чуть ежа не родил!

А вот еще:

— С утра руки чесались сделать что-нибудь для Отечества! Купил японский веер.

— Зачем?

— Трихомонады отгонять!

— Эх! Наковырять бы козявок!

— И засунуть бы их заму в рот!

— После чего в воздухе разольется мягкий запах мяты и детской опрелости.

— Из-за вас я совершенно не слышу старпома.

— А на хрена он...

— Тише! Я тоже не слышу. Сейчас выбью серные пробки из ушей и приспособлю их под его чарующие звуки.

— А я при разговоре с командиром чувствую все время, как спина прогибается и зад отклячивается, а в глазах — любовь-любовь и желание совершить то, совершить это, доложить об этом, об том...

— Вчера старпом послал меня на стройку кафель для гальяна воровать. За мной два часа майор с лопатой гонялся.

— Догнал?

— Куда ему, пьяненькому!

Эх, вторая шеренга. Вот когда я умру, то пусть мое эфирное тело на прощанье отправится на пирс и послушает, о чем говорят офицеры во второй шеренге.

А пирс выкрашен суриком, красный и с утра в росе, и солнце только что встало, и сопки вокруг, и ты словно в чаше, маленькая соринка, и тихо, и ветерок ладошками гладит по щеке. Это он балуется. А глаза закроешь — и сейчас же увидишь траву. Зеленую.

А хорошо лежать в той траве. Только нужно обязательно лечь на подстилку, а то трава, даже самая мягкая, кусается, колется. А сколько в ней различных красивых побегов и стеблей. Нужно только придвинуться, чтоб рассмотреть.

Вот мягкий тысячелистник, вот — скромница ромашка, а вот еще что-то, названия, конечно, не знаю, но, наверное, это ятрышник, северная орхидея. Очень капризный. Ни за что не вырастет на грядке, потому что наши руки для него слишком грубы и бесцеремонны.

А сколько всякой живности бродит по листам: и задумчивая тля, и всякие там нагруженные заботами кобылки, и, конечно же, пауки.

А вот и пчелы прилетели. Осмотрели, нет ли чего, погудели-полетели.

А пауки очень пугаются, если их взять на руку, — тут же хотят улизнуть, а рядом на камешке давно уже лежит ящерка, а заметить ее можно только по брюшку, которое раздувается и опадает — вдох-выдох.

А если перевернуться на спину, то на тебя сейчас же паднет небо. Навалится. Синее. И кажется, это оно специально придавило тебя к земле. Уж очень густой у него цвет. Кажется, оно говорит: «Лежи не двигайся, иначе ты все сломаешь».

И я лежу. Без мыслей и, главное, без тревог.

МОРЕ, ЛЕТО, ПРОХЛАДА И КАРКАЮЩИЕ ЧАЙКИ

Лодка встала в док. Конечно же, под субботу и воскресенье. Мы становимся в док не иначе как под субботу и воскресенье и не иначе как с той целью, чтоб не дать людям выходной. И списки на выход с завода не подготовили. В общем, сиди и пей. Можешь еще с перехода морем начать. Начать-то можно, только пить нечего: специально не получили на корабль спирт, чтоб его в доке весь не выпили.

Мда-а... ну, если нет спирта, тогда мы пьем чай, причем до одури. А галюон закрыт. Только лодка встала в док (и даже не в док, а когда она еще в створе — на пути туда то есть), как на ней закрывается галюон, чтоб на стапель-палубу не нагадили. На замок закрывается. Конечно, как говорят братья надводники: «Только покойник не ссыт в рукомойник», — но ведь все об этих наших способностях знают, и потому воды в кране нет, чтоб потом залить это дело: снята с расхода.

Мда-а... тогда приходится затерпеть, зажаться часов на восемь, пока лодка не встала на кильблоки, пока воду не спустили, пока леса на корпусе не возвели и пока лестницы не подкатили. Терпишь, терпишь — и вот... «Разрешен выход наверх!» — пулей туда по трапу, колом до стапеля, а там уже начинается «барьерный бег»: надо перелезть через ребра жесткости, и бежишь, торопишься, задирая ножку, и перелезаешь через ребра жесткости, которые в высоту доходят до одного метра, добираешься до конца, где имеется тот самый, погружаемый вместе с доком галюон, в котором приборку делает во время погружения

великое море, но ты в него не бежишь — исстрадался; от нетерпенья ты становишься на самый краешек дока, открытый всем ветрам, а море — вот оно, у ног, и ты — роешься, роешься, роешься у себя внутри в штанах, роешься, перетаптываясь, и находишь наконец там все, что и требовалось, и вытягиваешь (его и... — о Господи! — воешь от восторга и от ощущения жизненной теплоты).

Ночью хуже. Ночью проснулся, сгруппировался, сполз с кочки, оделся, выполз из каюты, потом через переборку нырнул, задел ее обязательно башкой, потом по трапу вверх, потом долго до стапеля и только потом уже — «барьерный бег». (Секундочку! Минуточку! Не бросайте чтение. Сейчас пойдет основная часть!)

Так вот: Юрий Полкин, командир группы дистанционного управления, стоя вместе с лодкой в доке, в четыре утра, после того как он с вечера накачался чаем, проделал все эти акробатические номера только для того, чтоб, сами понимаете, добраться до моря. Юрик добрался до моря и встал там на торце. Лето, тишь, каркающие чайки, прохлада, море и Юрик, стоящий на самом краешке. А море — вот оно, между ног, чуть не сказал. И Юрик, вот он, в общем-то там же. Стоит и спит. Он уже нашел у себя там внутри все что надо, вытянул все это на поверхность и теперь, убаюканный падением капельноструя, спит, паразит. И тут всплывает нерпа. Она всплыла так бесшумно, как может всплыть только нерпа. У ног спящего паразита Юрика. И капельноструй юриковский запросто попадает нерпе в лоб. Нерпа удивляется, увидев над собой нашего Юрика, да еще в таком неожиданном хоботном варианте, и, удивившись, делает так: «Уф!» — и Юрик открывает глаза.

Надо вам сказать, что нерпа была похожа на лодочного боцмана. Поразительно была похожа: такая же коричневая, лысая, круглая и усатая, и это «Уф!» — точно как у боцмана. Юрик как только увидел нерпу, похожую, как две капли, на боцмана, перед собой, да еще когда попадаешь этому боцману прямо в лоб, — так, знаете ли, чуть не выронил себя, чуть не посерел, не поседел и не потерял сознание от ужаса, ножки у него сами собой отломались, и он трахнулся задом о

палубу и от слабости остался на ней сидеть, не поднимаясь.

Нерпа давно исчезла, а Юрий все сидел и сидел, а из него все лилось и лилось, и откуда бралось то, что лилось, я не знаю, но долго лилось, черт!.. А вокруг — это, как его, море, лето, прохлада и каркающие чайки.

ЛОДКА, БОЦМАН И ГАЛЬЮН

В нашем рассказе будет три действующих лица: боцман, гальюн и лодка.

Сейчас два из них дремлют в третьем, но вы увидите, как ловко мы выудим их на свет Божий.

Средиземное море; солнце в полуденной дреме; вода тиха, и прозрачна, и голуба, как в ванне с медным купоросом; водная гладь нестерпимо сверкает; штиль и воздух.

«По местам стоять к всплытию!» — и огромная лодка всплывает в сонме солнечных зайчиков.

Палуба еще улыбалась лужами, когда на ней появился боцман. Он палатил беседку, опустил ее за борт, оделся в оранжевый жилет и, зацепившись карабином, полез к своему любимому забортному заведению.

Вода где-то рядом ласкалась, и какие-то рыбки резвились. Боцман засмотрелся на рыбок. Мысли его повисли. Солнце залезло на спину и разлеглось на лопатках. В одно мгновение оно сделало свое дело: боцману стало тепло и расхотелось работать. В голове его вихрем пронеслась дикая смесь из золотого пляжа, бронзовых женских тел и холодного пива.

Слюна загустела и скисла. Боцман очнулся и с досады размашисто плюнул в Средиземное море. Рыбки бросились в стороны, и обрывки боцманской слюны зависли в волнах.

Боцман взглянул на волны, подумал и... высморкался.

Всего два тысячелетия назад такое неуважение дорого бы стоило мореходам: в те времена из моря с грохотом появлялось чудище в бородавках и с хрустом

поедало обидчиков, и как только все бывали съедены, пучина поглощала корабль.

Боцман собирался еще раз плюнуть насчет разного рода обросших суеверий, и тут... море под ним заворчал: в глубине произошло движение; мелькнуло что-то длинное, толстое — шея чудовища!

— Мама моя, — поперхнулся присевший внутри себя боцман, вылезая глазами.

Первобытный холод облил спину, кольнул поясницу, забрался между ног — да там и остался!

Заворочалась, зашевелилась кудлатая бездна; ударил гул; глаза у боцмана вылезли вовсе. И тут уже бездна взорвалась, встала стеной, протянув свои щупальца к небу.

Разбежалась зеленая пена, и в пене, напололам с дерьмом, родился вцепившийся боцман.

«Что это было?» — спросите вы, незнакомые с флотской спецификой.

Отвечаем. Было вот что: очень сильно продули галюн.

ЛЫСИНА, БОРОДА И СТРУЯ

Если б вы знали, что за лысина у Сергей Петровича! Чудо! И она совсем не то, что у некоторых, ну хотя бы не то, что у нашего старпома, которая вся в щербинах, болячках, родинках, кавернах, струпьях и каких-то невыразительных прыщиках.

Нет! Лысина Сергей Петровича — это нечто розовое, гладчайшее, напоминающее этим своим качеством, проще говоря, свойством, никелированную елду со спинки старинной железной кровати с поющими пружинами, и по этой причине ее легко можно было бы отнести к инструменту, может быть, даже духовому, кабы не ее теплота.

Да! Вот уж теплее места на всем его теле не нашлось бы — хоть всего его общупай, — и поэтому возможно было бы, примерившись, хорошо ли все это выглядит со стороны, поместить на нее для последующего отогревания сразу две онемевшие от непогоды

девичьи ступни, находишь такие в интимнейшей близости, или четыре ладони.

Но полно об этом! И другие части Сергей Петровича нетерпеливо дожидаются неторопливого нашего описания. Вот хоть его борода — то не клочья какие-то, нет! — то борода царя Давида, Соломона или, может быть, Дария (а может, и Клария), но только вся непременно в колечках и завитушках до середины груди. И если на голове у Сергей Петровича ни одной волосины, то борода поражает густотой и плотностью рисунка.

А уши! Видели бы вы его уши! Это даже и не уши вовсе, а я даже не знаю что. Ужас как хороши! Они у него такие нежные — просто хочется взять и оттянуть. Они немного напоминают крылья поворожденного мотылька — оттого-то их и хочется сцапать.

А нос? Это даже несколько неприлично было бы сравнить его с чем-то, кроме как с клювом казанского сокола, который тем и отличается от клювов всех остальных своих собратьев, что уж слишком колюч и продолжителен. И если Сергей Петрович попробует языком достигнуть его самого кончика, то заодно он легко выскоблит и каждую из имеемых в наличии поздрей.

А в глазах Сергей Петровича — голубых, из которых один вдруг, фу ты пропасть, раз! — и поехал куда-то в сторону, — никак не учуять души. Разве что иногда мелькнет в них нечто вечернее, вазаристое, то, что легко можно принять за ее проявление, — не то интерес, не то жажда наживы.

Не зря мы заговорили здесь о наживе и об интересе, и вообще обо всем, надо вам заметить, здесь сказано было не зря. Конечно. Сейчас-то все и развернется. Я имею в виду событие.

Правда, чтоб осветить его, нам понадобится еще описание глаз молодого королевского дога — белого в яблоках, принадлежащего вот уже восемь месяцев Сергей Петровичу. Глаза его несут неизмеримо больше чувств, нежели глаза хозяина. Вот уж где порода! Тут вам и волнение, и нетерпение, и вместе с тем смущение, доброта и любовь, где искорками добавлены любопытство, бесстрашие и глубокая собачья порядочность.

Все это можно прочитать в тех собачьих глазах всякий раз, как он мочится на ковер. Он мочится, а Сергей Петрович терпеливо ждет, когда он вырастет, чтоб начать его слушать с королевскими самками.

А все ради нее — благородной паживы. Потому что за каждого щенка дают деньги. А ему хочется денег. Много. И самок тоже много, и все они в воображении Сергей Петровича уже выстроились до горизонта. И все они жаждут королевских кровей. И Сергей Петрович тоже жаждет и начиная с месячного возраста пристает к своему догу — все ему кажется, что тот уже готов. И мы ему сочувствуем, потому что, дожив до восьми месяцев, можно и вообще потерять терпение.

И Сергей Петрович его потерял — он отправился в Мурманск, в собачье управление, где ему тут же заметили, что напрасно он упорхнул так далеко: в их поселке, в соседнем даже подъезде, у того самого старпома с непривлекательной лысиной есть догиня и все прочее-прочее.

И Сергей Петрович помчался туда и немедленно вытащил старпома на случку.

И вот они уже сидят на кухне у Сергей Петровича. Жен нет, и они вволю выпивают и рассуждают о том, как надо держать суку на колене, и с какой стороны должен подходить кобель, и куда чего необходимо вставлять, чтоб получилось «в замбк», и как потом нужно полчаса держать суку за задние ноги, поднимая их под потолок, а то она — от потрясения после изнасилования — может обмочиться, а это губительно для королевских кровей. Они покраснелись, они рассуждают, говорят и не могут договориться: оказывается, там, на службе, они почти разучились о чем-нибудь говорить по-человечески, а по-человечески — это когда не надо оглядываться на звания, должности, родственников, ордена и «сколько кто где прослужил», то есть можно говорить о чем попало, пусть даже о том, как вставлять «в замок», и тебя слушают, слушают, потому что ты, оказывается, человек, и всем это интересно, и все, оказывается, нормальные люди, когда они не на службе. Вот здорово, а?!

А собаки в это время заперты в комнате — пусть поворкуют, авось у них и само получится, — и вот уже один другого называет «тестем», «сватом», «свояком».

— Дай я тебя поцелую! — и вот уже обе распаренные лысины, одна гладкая, другая — с изъятиями, сошлись в томительном поцелуе.

Но не отправиться ли нам к собачкам? Конечно, отправиться!

— Цыпа, цыпа! — зовет догину старпом, и они входят в комнату.

Входят и видят возмутительное спокойствие: собаки сидят каждая в своем углу и проявляют друг к другу гораздо больше равнодушия, чем их хозяева, — есть от чего осатанеть.

И, осатанев, обе наши лысины немедленно пакинулись на собак.

Та, что более ущербна, схватила догину за тощие ляжки. Другая, неизмеримо более совершенная, принялась подтаскивать к ней дога, по дороге дроча его непрерывно.

И сейчас же у всех сделались раскрасневшиеся лица! И руки — толстые, волосатые, потные! И глаза растарашенные! И крики:

— Давай! Вставляй! Давай! Вставляй!

И вот уже ляжки догини елозят на колене старпома, и зад ее интеллигентно вырывается, а взгляд — светится человеческим укором.

И тут наш восьмимесячный дог, которого Сергей Петрович так долго подтягивал, настраивая, как инструмент, когчил, не дотянув до ляжек.

Видели бы вы при этом его глаза: в них было все, что мы описывали ранее.

Королевская струя ударила вверх и в первую очередь досталась великолепной бороде, запутавшись в колечках, потом — носу, по которому так славлю стекать, ушам-глазам и, наконец, лысине, теплота которой давно ждала своего применения, а во вторую очередь она досталась люстре и потолку и оттуда же, оттянувшись, капнула на другую, куда более ущербную лысину.

МИНУЯ ДЕЛОС

ДЕТСТВО

Меня не брали на свалку. Они так и говорили: «Мы тебя не возьмем». Мои братья. Они не брали меня за то, что я не умел врать и все, как на духу, выкладывал пашей маме. За это меня считали предателем и не брали, хотя о посещении свалки не нужно было расспрашивать — нужно было просто понюхать рядом с ними воздух. Воздух был полон свалки. Свободы и свалки. Въедливый, производительный дух. Как мне хотелось на свалку! Там находилась масса интересных вещей. Часть из них сразу же оседала в карманах: полуистлевшие трансформаторы, транзисторы, конденсаторы — все это приносилось домой и в сей же миг со скандалом и грохотом вылетало в окно под горестный братский плач. Братья рыдали, а я лживо вздыхал и сочувствовал.

— Вылитые отец, — говорила моя мама про моих братьев, — этот тоже женился, приехал из Ленинграда и привез с собой целый чемодан. И главное, чего?! Радиодеталей! Целый чемодан барахла. Это было его приданое.

Мама всегда ругала папу, а заодно и моих братьев, потому что они были «вылитые отец» и с младых соплей интересовались только техникой. Игрушки они разбирали-крушили-ломали. Я ничего не крушил. Я был «вылитая мать» и создан был для счастья.

Наш среднешький, Серега, все время что-то проткнул. Однажды он проткнул только что купленную резиновую надувную игрушку — это был олень. Мама ее купила, надула, заткнула пробкой, чтоб воздух не выходил, и дала нам поиграть. Серега вынул гвоздь, сотку: бац! — и оленя не стало. Серега был выпорот и выгнан на улицу.

— Уходи! — кричала мама. — Мне не нужен такой сын!

И Серега ушел. Сначала он все сидел, сидел впризу на ступеньках, необычайно серьезный для своих трех лет. Он сидел и думал, непривычный и взрослый. Потом он встал и ушел. «К папе».

Сергея нашелся глубокой ночью. Мать — заплаканная, издерганная, всклокоченная бегомней. «Одна тетя» сняла Серегу с электрички и сдала его в милицию. Когда мать влетела в отделение, Серега рисовал на бумаге цветными карандашами. Серега не удивился. Он дал себя поцеловать, маленький, основательный, толстый карапуз, — дал поцеловать, но остался таким же серьезным и основательным. Он и сейчас такой же. Мой нестигаемый брат.

Я плакал. Навзрыд. Я плакал, когда Серега потерялся, когда все, в том числе и я, его искали и когда он нашелся. Я обнимал его и плакал. Мне было очень хорошо. Именно тогда я и открыл для себя, что плакать, в сущности, приятно и что приятно плачут только те, кто переполнен жалостью прежде всего к самим себе.

Сергею всегда наказывали первым. Младшего из нас, Валеру, для которого Серега был непререкаемым авторитетом, наказывали вторым, а меня — самого старшего из братьев — не наказывали вовсе. Их разводили и ставили по углам, а я ходил между ними и просил за них у мамы прощения. Мои братья сами никогда не просили прощения. Они находили в углах каких-то жучков и могли часами стоя с ними играть. Я же в это время топко изнывал, ходил за матерью, скулил и канючил. Чужие страдания я не мог переносить, а в том, что братья, стоя в углу, молча страдают, я был уверен. И еще я не мог смотреть по телевизору страшные или жалостливые фильмы, где кого-нибудь убивали. Я убегал на кухню, выглядывал оттуда и спрашивал:

— Мам, ну чего там? Там уже всё, мам?

Братья в эти мгновения заливались злобным хохотом: их ужасно веселило, что я такой слюнтяй.

Телевизор появился в нашем доме очень рано. Это был добрый, лупоглазый КВН. Смотреть его собирались все соседи. Они рассаживались вокруг стола, а мы залезали под стол и, как зачарованные, смотрели там на голые женские ноги. До них можно было дотронуться. Мы дотрагивались, все вздрагивали по-восточному, и нас извлекали из-под стола. Мы жили

тогда в маленькой комнатке в общежитии. Там нас обитало шестеро: мама, папа, наша любимая бабуля и нас трое.

Отец редко брал нас на руки, редко ласкал и прижимал к себе, поэтому я хорошо помню те минуты, когда это случалось, помню жесткую щетину его щек, помню, как у меня перехватывало горло, когда я к нему прижимался.

После работы он все время лежал на диване, и нам не разрешалось бегать и шуметь. Отец отдыхал, но иногда он вставал и брал нас с собой, и мы шли гулять. Он любил природу, и мы могли часами бродить, забираясь во всякую глушь. От отца мы многое узнали о жизни муравьев, лягушек и змей. Он мечтал поселиться в деревне, завести козу, доить ее и пить ее молоко; пить и доить. Отец бросил нас, когда мне было 16 лет. После очередного скандала он ушел. Они были очень разные с мамой. Странно, они долго жили вместе. Два по-своему добрых, но совершенно не подходящих друг другу человека. Во время скандалов высоко кричала мать, а мы, испуганные, забивались куда-нибудь и от ужаса даже не плакали.

Мне было шесть лет, когда мы переехали в новый пятиэтажный дом в новую двухкомнатную квартиру и стали жить на пятом этаже. Квартиру получил отец, но мама всегда говорила, что если б она не ходила и не хлопотала, то не видать нам этой квартиры. Первым с порога запустили большого старого кота по кличке Котик. Квартира казалась нам огромной, и мы с визгом носились по комнатам, а Котик садился где-нибудь на пересечении и цапал пробегающих лапой: он не любил мелюзгу и беспорядок, и мы затихали — мы боялись Котика.

Над нашими головами помещался чердак. Он был очень большой, с высоким потолком, и тянулся он по всему дому. Иногда по потолку кто-то тяжело и таинственно топал. От этого замирала душа. Мы относились к чердаку с большим почтением. Позже, повзрослев, мы высовывались на чердак и бодро кричали:

«Эй! Кто там ходит?!» Мальчишками мы не высовывались и даже не вылезали — мы вползали на чердак. Даже бесстрашный Серега делал огромные глаза, когда говорил: «Пошли на чердак».

На чердаке нас встречала крошечная темень, под ногами скрипели ракушки — ими был засыпан пол чердака, где-то далеко, через чердачное окно, в темноту врезался солнечный столб — там жили голуби. Когда мы подбирались к окну, голуби взрывали воздух. Какая-то хорошая часть моего детства прошла на этом чердаке. На чердак меня брали.

Серега первым влез на скользкую крышу, первым по ней прошелся, первым крикнул с нее: «Э-ге-гей!» За ним полезли мы.

Мама...

Что-то очень-очень теплое, бесконечно дорогое, особенно по утрам, когда подойдешь босиком по холодному полу, потом ткнешься, прижмешься, и тебя возьмут, положат под бок, отругают спросонья за то, что шляешься босиком.

И все-таки лучше всех была бабуля. Она нас кормила. Она любила готовить и кормить. Помню, как совсем малышом я удивился, узнав, что бабуля — мамина мама. Оказывается, и у мам бывают мамы.

Наша бабуля. Самый чистый и светлый человек. Самый мудрый. И оружием ее мудрости была любовь. К нам, конечно, отчаянным шалопаям. Господи! Как мы ее доводили! Какие мы устраивали драки, визги, писки, потасовки, свалки, какая чудесная куча-мала! Бабуля хватала швабру и тыкала ею под кровать, куда мы от нее спасались.

— Я вам покажу! — кричала бабуля и тыкала, отдыхая после каждого тычка и произнося «О Господи!»

Однажды она несла яичницу в сковороде, а мы кидались подушками. Пролетающая подушка выбила у нее сковороду из рук, бабуля обиделась и ушла на кухню. Мы притихли, собрали яичницу с пола и съели ее, а потом пошли мириться с бабулей.

— Ну, бабуля! — говорили мы, обнимая ее.

Поскольку с нами возилась бабуля, нас не отдали в детский сад. Благодаря ей я с ясельного возраста и до самой школы не знал, что такое казарма.

Сразу за нашим домом начиналась степь — могучая, ковыльная, с цветущими сурепками, с беспокойной кашкой. Там водились гадюки. Мы ходили в степь вместе с отцом, но иногда мы удирали туда сами. Мы переворачивали камни и извлекали на свет Божий скорпионов и фаланг. Скорпионы поднимали вверх свои бледные, слабые щупальца и изгибали хвосты, а мохнатые фаланги угрожающе подскакивали. Мы загоняли и тех, и других в одну банку и наблюдали за их поединком. Фаланги всегда побеждали.

В степи мы выкапывали и ели безвкусные «земляные орехи», и песок сочно хрустел на зубах, и еще мы ели оболочку семян акации — выедали сбоку ее сладкую мякоть, и еще жарили на кострах картошку и серый хлеб. Было очень вкусно. Мы все время что-то ели.

За хлебом мы часами простаивали в хрущевских очередях перед закрытыми дверьми хлебных магазинов, и нам на наших ладошках писали номера химическим карандашом.

Когда открывалась дверь, начиналась давка. Нас давили — мы кричали, а потом каким-то чудом в руках оказывался теплый серый хлеб. Мы брали по куску и уходили в степь, там ловили кузнечиков, обрывали им лапки и торжественно хоронили под стеклышками, обернув их фантиками, обложив цветными бусинками и стеклышками. Было очень красиво. Игра называлась: похороны.

Далеко в степи находился карьер. Из него когда-то брали песок и глину, потом перестали брать, он заполнился водой и зарос камышом. Там воздух звенел от стрекота влюбленных лягушек, там можно было часами бродить по колосу в щекочущей тишине и ловить в ней юрких рыбок — «гамбузиков». Мы ходили на карьер купаться.

— Трахомой заболеее, — говорила мама, и мы клятвенно обещали ей заходить только «по шейку».

Нас отпускали на карьер вместе с папой. Мы заходили только «по шейку», а потом, воровато оглядываясь на отца, окунались с головой.

На карьере я тонул. Я уцепился за плот, плот поплыл, а я отпустил его и погрузился с головой. Я достиг дна, посмотрел вверх и увидел над собой блестящий потолок поверхности, потом я пошел по дну пешком и сам вышел на берег. По берегу без штанов метался отец. Он снял штаны, чтобы нырнуть.

Наш дом по форме своей был п-образным, и внутри него помещался двор. Наш двор — теперь старый, увитый виноградом, увешанный бельем, все с той же оливковой рощицей в середине, все так же кричащий в форточки: «Сам-вел! Сам-вел! Иди домой, кому сказала! Саш-ка! Та-ня! Э-ды-вар!»

Это был восточный двор, где все соседи не просто знакомые, а почти что родственники, где с наступлением вечерней прохлады можно выйти, посидеть, посудачить. Наш младшенький, Валера, влезал между болтающими тетками и, вращая во все стороны головой, слушал и запоминал. Потом он шел к бабуле и все выкладывал ей — слово в слово. Так что бабуля всегда была в курсе дворовых новостей.

Во дворе мы возились с липкой серой глиной — лепили из нее чашки, играли в футбол, в ловитки, делали самокаты, клюшки, коньки на шарикоподшипниках, бегали, прыгали, падали, расшибали себе лбы и дрались. Сначала я никак не мог понять, как можно бить человека по лицу, ведь это человек, и у него есть лицо, как можно?.. В одно мгновение мне надавали пощечин, а я от обиды рыдал и не защищался. Это развеселило моих мучителей, и они со смехом надавали мне еще. Потом я научился довольно ловко драться, а там и Серега подрос и стал грозой для всего двора. В драке для Сереги не существовало авторитетов, а количество противников так же мало интересовало его, как и их качество.

Наша мама рано обнаружила в себе желание приобщить нас к пленительному миру искусства. Наша мама когда-то пела, подавала надежды и даже подумывала о консерватории, но потом, в пионервожатых, она сорвала себе голос, и мечты об искусстве пришлось затаить до нашего рождения.

И вот мы родились. Мне купили скрипку. И тут выяснилось, что у меня совершенно нет слуха. Ну, просто абсолютно нет. Ну, просто совершенно. Ну никакого.

— Но его можно развить, — опрометчиво обронил мой учитель.

И во мне стали развивать слух. Через страдания, слезы и покорность судьбе. Когда все усилия мамы по развитию моего слуха разбились о мой мощный, могучий скрипичный дебилизм, она обратила свои пламенные взоры на Серегу, курочившего в углу очередную игрушку. И — о чудо, чудо! У Сереги слух был! Причем абсолютный. Причем редкий и совершенный, и Серега, по словам отца, «наш выдающийся фамильный слесарь», титаническими усилиями мамы был обращен в пианиста. В конце концов он закончил консерваторию. Блестяще. Мама плакала от счастья. Серега, какое-то время зараженный ее оптимизмом, тоже. Потом он стал слесарем.

На Валерку мамы не хватило. (Она говорила, что Серега всю ее съел.) Валерка сам научился играть на фоно и на гитаре. Вот кто в нашей семье должен был посвятить себя музыкам.

Надо вам сказать, что имя Валерка дал самому младшему из нас я. Когда он родился, меня спросили: «Как мы его назовем?», — и я сказал: «Валеркой».

Валерка всегда был себе на уме. Долгое время он был тенью Сереги — ходил за ним по пятам. Серега — сильный и прямодушный, Валерка — ловкий и хитрый. Это он был заводилой в тех драках, из которых потом Серега выходил победителем. Когда-то в младенчестве Валерка скатился с дивана и ударился головой. На голове на глазах вспухла гигантская шишка. От боли он закатился. Мать, оставившая его

на секунду, совсем обезумела — схватила его за руки и долго с ним металась: ей казалось, что он умирает. Но Валерка отошел. Его не так легко было утешить. С тех пор его жалели — «он ударился головой»; ему многое прощали. Он рос всеобщим любимцем, и все вкусненькое в первую очередь доставалось ему. Ревности это не вызывало. «Он же маленький», — говорили нам. «Он же маленький», — говорили потом мы сами.

Валерка был домашним клоуном. Он легко изображал и представлял. Это был тонкий наблюдатель и проныра с едким язычком. В нем погиб великий артист.

Когда я стал учиться музыке, у меня появился друг. Друга звали Боря. Боря тоже учился музыке. Боря был еврей. Об этом скорбным шепотом мне поведала моя мама. Она сказала: «Ты знаешь, Боря — еврей». Я не знал, что такое «еврей». Я спросил у матери. Она тоже не могла сообщить, чем же это хуже, чем «не еврей». В конце концов она сказала: «Их никто не любит». Я это запомнил и проникся к Боре самыми нежными чувствами.

Мать Бори, тетя Мара, толстая, в тонком халате, все время что-то печатала на машинке в их маленькой квартирке.

— Дочка! — говорила она мне с каким-то душевным надрывом. — Дружи с Борей!

После этого она плакала и печатала.

Я смущался. Я не мог, когда рядом плачут и печатают. Я дружил с Борей.

Папа Бори — тощий и трагический — ничего не говорил.

Случай с тем, что «Боря — еврей», заставил меня выяснить с пристрастием и до конца, кто же тогда мы сами. Мы оказались русскими — правда, не совсем. Мы оказались метисами. «А это как что?» — не унимался я. «Это так, — объяснили мне. — Папа — русский, а мама и бабушка — армячки. Вот и получается,

что вы все — метисы». Одновременно оказалось, что в нашем дворе полным-полно русских, армян, азербайджанцев, горских евреев и татар. Я расстроился, что я — метис. «Не расстраивайся, — сказали мне, — метисы — самые умные и красивые». Это как-то подбодрило. С этим я дождался до сегодняшнего дня.

То, что на карьере я топул, дошло до нашей мамы, и мама срочно пошла и записала нас в плавательный бассейн. Мы ходили туда все втроем. «Три брата-акробата» — так нас называли. Мне тогда было шесть, Валерке — три года, а Серега помещался где-то между нами.

В душевой бассейна как-то сразу стало понятно, что тот, кто смел и силен, тот и моется, а тот, кто не смел, тот тихо стоит на обмылках.

Серега наблюдал это безобразие секунды три, потом он кого-то толкнул, тот упал, и мы помылись.

Мы с Серегой быстро научились держаться на воде, Валерка же еще долго плавал вместе с тренером, лежа у него на спине и обхватив его руками за шею. Вид у него при этом был хитрый-прехитрый.

После бассейна мы всегда покупали «косички» — треугольные слоеные пирожки с повидлом. Во рту они таяли. Мы старались держать их там как можно дольше.

Вскоре как-то выяснилось, что в Ленинграде и Москве у нас есть родственники. Оказалось, что в Ленинграде у нас живет еще одна бабушка — «папина мама», а в Москве живут «дядя Витя» и «тетя Тамара». Летом нас к ним повезли. Повез нас отец. Сначала в Москву, а потом в Ленинград. На поезде. Поезд в памяти не отложился. В памяти отложились «дядя Витя» с «тетей Тамарой», их собака Рита, их прекрасная московская квартира и их домработница Маняша. Дядя Витя был лыс, тетя Тамара приветлива, собака Рита — шумна и чувствительна, а у Маняши на кухне всегда было что-нибудь вкусненькое.

Как только мы у них появились, нас тут же усадили за стол пить чай. Мы скромно взяли по кусочку хлеба с маслом и присыпали сверху сахарным песком.

В Ленинграде после бакинской духоты нам было просто холодно, и мы вырядились в три одинаковые серые курточки.

Ленинградская бабушка встретила нас суетливо-ненатурально-радостно, и все это было не так, как, по нашему разумению, должна встречать внуков бабушка. Мы ткнулись губами в ее волосатую щеку и не испытали там ничего, кроме смущения.

Папа при бабушке был с нами груб. Наверное, ему хотелось продемонстрировать свое строгое отцовство.

Кроме бабушки у нас обнаружился дедушка, отставной майор, герой Брестской крепости с неработающими пальцами, и две тетки. Тетя Лида поцеловала меня в губы. Было вкусно и стыдно. Спали мы на полу в десятиметровой комнате, где кроме нас спали бабушка, две наши тетки и дедушка — отставной майор с неработающими пальцами.

В Ленинграде я заболел воспалением легких, и меня положили в больницу, в большую мальчишескую палату, где не было недостатка ни в мучителях, ни в защитниках, а за окнами шел дождь, такой для нас непривычный.

По-моему, тогда же и закончилось мое детство...

МИНУЯ ДЕЛОС

...У них была течь. Они всплыли и, продолжая двигаться в надводном положении, попытались устранить неисправность. Полезли наверх втроем. Двоих смыло. Страховочный пояс Сереги обнаружили в корме. Видимо, его протащило по всей верхней палубе, прежде чем стряхнуть в винты...

Из дневника Сережи Бог-ва, помощника командира корабля, пропавшего в море осенью 1983 года

...никогда не будет рожать. Это мучило меня чрезвычайно. Я лежал и повторял про себя: «Она никогда не будет рожать. Она никогда не родит». И сразу же перед глазами вставало ее лицо со смущенной, виноватой улыбкой, какой она ответила на мой вопрошающий взгляд там, в больнице, где мы встретились через несколько дней после операции, которую врачи все-таки над ней проделали. Они говорили мне: «Вероятность успеха — двадцать процентов» — и прятали глаза; и меня тогда, помнится, поразило слово «вероятность». Я бы никогда не подумал, что его можно отнести к тому бесконечно теплomu, мягкому ощущению, часто сменяемому беспокойством, каким-то горловым, внутренним почти всплеском зарождающемуся во мне всякий раз, когда речь заходит о ребенке.

Вечером того дня, когда я привез ее домой, она показала мне свой шрам. Он шел вверх от бритого лобка, свежерозовый, напоминающий нарисованную петвердой детской рукой лесенку — неровную, кривенькую.

Мне почему-то захотелось ее потрогать. Я потянулся, она быстро перехватила мою руку, а потом осторожно, сбоку подвела и приложила мой палец к небольшому шрамику-перекладнице, и я почувствовал, какой он горячий, живой, дрожащий, и мне передалась эта дрожь, и сразу стало холодно, по телу пошли мурашки, и я подумал о том, что где-то глубоко под ним, под этой гладкой, словно молодой лед, слюдяной поверхностью шрамика, совсем недавно побывал скальпель хирурга, и все это лежало на операционном столе разъятое, и из него торчали зажимы, а потом все это сшили, собрали, привели в чувство, и это все снова стало моей женой — Майей — новой Майей, отделенной от той прежней целой вечностью,носящей название «операция», и к ней, новой, чужой, может быть выглядевшей словно бы оглушенной, с

большими, чуть медленнее, чуть дольше обычного перемещающими свой взгляд с предмета на предмет глазами, — к пей, новой, еще пужно привыкнуть.

Какое-то время на перекладниках шрама еще будет выступать нежная сукровица. Какое-то время Майя все еще будет вспоминать ту боль и рев женщин и будет говорить, что на трубах, скорее всего, образовались спайки, потому что вещество против образования этих спаек пужно было вводить в трубы очень осторожно, а его всем вводили кое-как, и девки выли, и делала все это женщина, а женщины-гинекологи — ужасно грубые, садюги, и лучше, если врач — мужчина: он все делает осторожно, нежно и очень сочувствует.

А я тогда гладил ее по голове, как ребенкa, целовал куда-то, скорее всего, за ухо, и она, какая-то совершенно потерянная, говорила тогда, что врачи настоятельно рекомендуют через несколько дней после операции заниматься любовью, потому что именно в это время, скорее всего, и возможно зачатие.

И мы, конечно же, сейчас же посвятили себя этому занятию, стараясь при этом как можно меньше беспокоить рану, а когда это было особенно больно, она кусала губы, как-то по-особенному выгибалась, застывала, выгнувшись, и сильно сжимала мне кисть левой руки, а я замирал, чтоб продолжить по первому же ее призыву.

И еще Майя старалась принять какие-то особенные позы, наиболее благоприятные для беременности, которые, как оказалось, ей советовали принимать подруги по несчастью, которым тоже где-то советовали, и все это происходило у нас очень серьезно, и так же серьезно ожидался результат.

Господи! Какие же мы все-таки были идиоты!

Маленькие глупцы, сражавшиеся с природой, не верующие в то, что она никогда не меняет своего решения, в то, что раз она обмолвилась: «Нет!», — то это уже навсегда, что между нами и ребенком уже возведена Китайская стена, и можно биться в нее с одинаковым успехом хоть тысячу раз, а можно не биться,

можно с последним ударом прижаться щекой к безразличной многотонной кладке и почувствовать то бездонное отчуждение всего этого мира, какое можно еще испытать разве только в безводной пустыне, припав щекой к гладкому морскому голышу, неизвестно откуда взявшемуся в этой местности, перевернув его, конечно же той стороной, что обращена к песку и помнит все еще все приметы ночи*.

Но Боже мой! Куда же теперь девать бездну нежности, просто груды той самой нежности, что была заготовлена уже давным-давно, еще тогда, когда рядом со мной ощущался сквозь тонкую ткань халатика теплый бок моей матери, и таилась она до времени в каких-то удивительно емких, глубоких пространствах души, предназначенная тому будущему маленькому зябкому тельцу. Как мне с ней теперь совладать? Куда же теперь ее деть? У нее же такая огромная температура. Это же как коробочек спичек, в котором зажглась одна и сразу же вспыхивают все остальные, и страшно все это держать в руках.

А главное, у меня все уже было как бы заранее придумано, расписано, как я с ним буду гулять, или нет: сначала, как я буду бережно держать его на руках, какие у него при этом будут мягкие и одновременно упругие, округлые ножки и ручки, как я осторожно буду прижимать к себе его голову, памятуя о том, что у него еще не зарос пугающе пульсирующий родничок, а потом он будет узнавать меня, улыбаться беззубым ротиком, брать с серьезнейшим видом мой палец и пытаться его проглотить, а я буду придумывать специально для него сказки, я так хорошо рассказываю сказки, я бы рассказывал их каждому его пальчику. И еще мы с ним будем гулять. Я бы сажал его себе на шею, а он бы охватывал ладошками мои колючие щеки — чисто выбритые щеки для меня

* Метафора все время ускользает, вернее было бы сказать, она все время использует свое основное качество — таять, истопчаться, на лету истлевать в воздухе. У нее тоненький серебристый хвостик, за который не ухватиться, а может быть, подспудно и не хочется ухватиться, поскольку невольно не хочется достичь точности, страшновато ее достичь.

всегда почему-то проблема, — а ладошки у него маленькие-маленькие, обязательно растопыренные, похожие на листики молодой осины и тепленькие; и он привык бы ездить на мне верхом и все время просился бы «на шейку», а я бы притворялся, что меня это ужасно раздражает, ворчал, а на самом деле млеял бы от счастья.

Как же так? Нельзя же по всему этому... так... Это же все такое тошенькое, нежное, словно голос только что очнувшейся ото сна маленькой птички, придуманное с такой тщательностью, с таким бережением, выпященное так, что в какой-то момент начинает казаться, что и не ты вовсе все это выдумал, а кто-то тебе все это очень-очень давно очень клятвенно пообещал.

И тут вдруг я обнаружил, что я думаю только о себе, о своих чувствах и совершенно не думаю о том, что существуют еще чувства матери, которая обречена уже никогда не стать матерью, что есть еще Майя и для нее — то нежное томление девочки, а вернее, только его первые толчки, которые по степени соприкосновения с собственной плотью более всего напоминают прислушивание к горному эхо или же к любому другому чужеродному звуку, вторгшемуся, но не оскорбившему слух, а скорее возбудившему надежду на его повторение и осмысление; то томление, как и та нежность, мешающая сделать вдох полной грудью, и поэтому получается не один вдох, а несколько глотков, а нежность — она находится где-то в середине твоего существа, словно бы там висит нечто, скорее всего, сырая весенняя веточка, на кончике которой трепещет капелька, и этот трепет у капельки, возможно, от того, что страшно сорваться, так как за этим срывом прячутся настоящие слезы; и вот все это: и томление, и нежность, и слезы, и мечты — закончилось «вероятностью двадцать процентов», дрожанием век, рук, губ — рухнул мир.

Как же ей теперь, наверное, хочется забиться в угол или забраться с ногами в огромное мягкое кресло, сжаться в нем и чтоб сверху накрыли чем-то, ну вот хоть этим нашим мягким, пушистым декадент-

ским пледом, вовсе не подходящим для этой цели, но дорогим, купленным в свое время за большие деньги; и чтоб оставили в покое, забыли, позволили забыться, дали бы выплакаться и уснуть.

«И в то же время ей страшно остаться одной, и она не садится ни в какое кресло, она ходит за мной, словно, прости Господи, маленькая собачонка, которая не оправдала надежд хозяина, — подумал я, — а потом она берет меня за плечо или, проходя мимо, касается случайно рукой, но в следующее мгновение она уже отстраняется, а еще через какое-то время снова касается и прижимается. Ей сейчас так нужен я...»

Ей нужен я, а мне нужен ребенок. Мальчик, девочка — все равно. Господи, я с ума сойду! Почему я должен быть заложником чьей-то немощи, чьей-то природной неспособности? Я — молодой, здоровый, с упругими мышцами, с гладкой кожей. Я должен, я имею право быть отцом! Жизнь, та самая жизнь, заключена в мою собственную телесную оболочку, настойчиво требует этого. Я просто физически это чувствую — это теснение, нытье в груди, эту почти боль в средостении. Я хочу, я очень хочу носить на руках по комнате маленькое существо и хочу, чтоб оно держалось за меня, цеплялось за меня ручонками, чтоб с серьезнейшим видом залезало мне в ухо, пыталось потрогать глаз, а я чтоб перехватывал его ручонки и говорил строго: «Нельзя! Ай-яй-яй!»

Хочу, чтоб от его волосиков пахло маленькой птичкой — именно так пахнут головки у соседских детей, — да, хочу!

Хочу вскакивать по почам десятки раз, вздрагивать от того только, что он засопел, завозился в кровати, заерзал или повернулся; хочу укрывать его одеяльцем, если он во сне раскрылся, кормить его с ложечки, купать, а главное — хочу прижаться к нему, чтоб в полной мере испытать щемящую, натуральную, живую, а не воображаемую, почти звериную нежность, от которой рот сам наполняется слюной, которой внутри в тот момент столько, что, не найдя выхода, она способна измучить, измотать, от нее

больно, она источник тех внезапных вспышек ненависти, которые случаются иногда со мной, когда сам ужасаешься этому ее появлению, когда ты словно раздваиваешься и из тебя вылезает какой-то другой человек, и ты — существующий где-то здесь же, рядом, — в панике от того, что он говорит, и, более того, от того, что он делает.

А еще он способен какое-то время думать от твоего имени. Он великий разрушитель. Ему никого не жаль. В нем явно и внятно глаголет его собственная чуждая тебе натура. Он может разъять все, все измучить, изувечить. Он излучает ненависть.

Да, иногда я ненавижу Майю. Во всяком случае, до операции мне именно так и казалось, а потом от нее, от ненависти, ничего не осталось, словно эта рана, в память о которой остался шрам — маленький, розовый, с неровными краями, послужила искупительной жертвой, которую она принесла материнству, заплатив и за себя, и за меня тоже, выкупив у кого-то мою ненависть своей мукой, мукой роженицы, предметом родов которой, условно говоря, и явился этот шрам.

Вот и все. А теперь вам остается только стараться — как сказали врачи, — чтоб у вас ну хоть что-нибудь получилось, и при этом вы должны торопиться: ворота закрываются, пути заказываются, а на трубах образуются спайки, и за это старание снова и снова платит она — прокушенными губами, бусинками пота, взмокшими, спутанными волосами, которые во время наших попыток словно бы оживают, жалобно цепляясь за подушку, а скользкие наши тела потом укроются сырым одеялом и затихнут беззвучно. Иногда вовсе не обязательно о чем-либо говорить.

Ночью я вижу ее глаза. Я часто просыпаюсь от того, что чувствую — Майя не спит. Она лежит, подложив под голову руку, опираясь локтем в подушку, и смотрит на меня. Скорее всего, она меня не видит, она смотрит сквозь меня, я для нее вроде бы прозра-

чен, как бы призрачен, а она сама сейчас где-то далеко, глубоко в своих мыслях; и я, чтоб ей не помешать, чуть-чуть только смотрю сквозь ресницы. Мне ужасно хочется обнять ее, ободрить, прижать, поймать губами ускользающую, незащищенную мочку уха, но я не делаю этого; страшная мной владеет робость, которую я объясняю лишь тем, что всякий человек имеет право побыть наедине со своими мыслями, пусть даже от них перехватывает, першит в горле.

У Майи хорошие глаза. О них хочется сказать, что они дрожащие, хотя, наверное, это неточное определение. Скорее всего, они какое-то время неподвижны, а потом по ним неожиданно пробегает некоторая рябь (хоть «рябь» — некрасивое слово, как сказал бы мой друг, очень-очень большой филолог), и тогда они оживают чудеснейшим образом, как, должно быть, оживает озеро от утреннего ветерка.

Я могу часами смотреть ей в глаза. В ее взгляде утопаешь, он неожиданно мягкий-мягкий, и возникает такое безволие и одновременно такая горечь, вроде как крупными квадратиками морской соли обметало губы; и в этой горечи, в этой робости, в этом безволии почему-то хочется затаиться, остаться, осесть на дно своего собственного редкого дыхания, как в детстве, когда, наплакавшись, я забивался в угол и желал только своей скорейшей смерти. «Вот тогда они увидят, — думал я обо всех своих родственниках, — вот тогда они поймут», — и становилось хорошо на душе, и перед мысленным взором немедленно возникало траурное шествие и всеобщая скорбь, и было почему-то очень сладко об этом думать.

А еще так же, как в детстве, хочется закутаться в одеяло, и чтоб оно возвышалось над тобой таким шалашиком, а внутри чтоб было живое, подвижное, почти осязаемое тепло; хочется сохранить это тепло, хочется, чтоб оно приютилось там навсегда. Может быть, для этого следует поддержать его как-нибудь в ладонях.

Но, конечно же, это невозможно, и тепло уходит в окружающий голый, простуженный мир, непрочный мир различных непрочностей, обмана и ожида-

ний, а потом в очах поселится безвременье. «Все мы из породы фей. Горе нас старит, а радость молодит», — говорится в одной очень старой и очень детской сказке, а за стеклом у нас беременные сугробы, и когда окончательно рассветет, они будут смотреть нам в окна, потому что живем мы на первом этаже далеко-далеко за Полярным кругом, в маленьком поселочке, в самой середине белого безмолвия, где сопки, березки-карлицы и выюги распускают по ветру свои седые волосы.

А еще, когда рассветет, то окажется, что вокруг множество следов, и я всегда ловлю себя на том, что ищу среди них свой. Свой и Майи. Меня почему-то всегда очень радует, если я их нахожу.

А следы за день оплывут под солнцем, а ночью подмерзнут, и их — эти маленькие свидетельства того, что в недалеком прошлом мы все-таки были на этом свете, — прикроет колючий снег.

Господи Боже ты мой! Сколько мы с ней еще упражнялись на ниве детозачатия! Невозможно представить себе, сколько мы упражнялись, сколько было ночей, лекарств, каких-то непонятных, немыслимых процедур! И ничего не осталось, кроме надежды.

У надежды шагреновая кожа. Она тает, вернее, жизнь обкусывает ее по краям. Словно мышка.

Помню, как Майя впервые предложила мне взять ребенка. Помню, как у нее при этом исказился голос и некоторые звуки едва-едва были слышны. Так бывает с музыкальным инструментом, в котором в самый нужный и ответственный момент западает клавиша и пропадает самый нужный, самый важный звук и слышится только трогательное — ти-и! Клавиша сделала все что могла, почему-то чувствуешь себя на стороне этой клавиши — ценишь ее последнее усилие. А еще у нее, у Майи, подрагивали кончики ресниц — пушистые кисточки.

Помню свое возмущение этим предложением, которое я, впрочем, тут же подавил, и вместо него в душе сейчас же народилась тоска, апатия, меланхолия и

еще что-то подобное — так бывает, когда одной тоски уже явно не хватает, — и я уже как о свершившемся подумал о том, что я — умный, красивый, с выразительным лицом — никогда не буду иметь ребенка, очень-очень на себя похожего, такого же умного, красивого и выразительного.

И я — у меня тогда что-то сделалось с голосом: пришлось перед тем, как начать говорить, сделать несколько сухих глотков — медленно выговаривая слова, попросил ее попытаться еще раз.

И мы попытались еще много-много раз, и все это довольно тяжелая, надо сказать, работа.

Иногда мне приходила мысль бросить Майю — ведь бросают же мужья своих жен. Бросить, развестись, сойтись с другой — уж она-то мне точно родит; а потом я вспомнил тот шрамик-лесенку, и то, как я его трогал, и то, как она при этом дышала, эта лесенка, этот шрамик, под моей рукой, — эта память останется у меня навсегда, на кончиках пальцев, на подушечках, — и сейчас же я ощутил всю свою несвободу. Конечно же, я не брошу Майю. Мы с ней связаны очень прочной ниточкой, а может быть, не одной, а множеством ниточек — серебристых, звонких паутинок: по ним передается боль. Убери боль — станет не хватать боли. Страшное ощущение.

— Ну, а все-таки — спрашивал я ее тогда, — возьмем мы ребенка, а что если ты родишь?

— Значит, будет два ребенка, — сказала она тихо, твердо, глядя в сторону, и я понял, что это уже все, что она уже не родит, и она сейчас же сделалась маленькой-маленькой, и ее захотелось взять на руки, покачать, утешить, сказать: «Да-да-да, пусть их будет двое».

А потом мы с ней долго ходили по различным станциям — не правда ли, какое неприятное, металлическое слово, оно вполне соответствует тому неприятному ощущению какой-то почти физиологической неопрятности, возникшему от всей этой процедуры, словно бы внутрь тебя вставили скользкий, холодный, кисловатый никелированный стерженец, и тот,

кто вставил, всегда вправе безо всяких уведомлений проверить, на месте ли он, вправе залезть, ощупать, а ты при этом просто присутствуешь как некий статист, чьими чувствами помыкают походя, которого словно бы не существует вовсе, о котором говорят в третьем лице, что лучше бы ему встать здесь или же пройтись туда. «Ну-ка, пройдитеесь, — вспоминают о нем наконец, но только лишь для того, чтоб добавить: — Ну кто же так ходит, поглядите-ка, он совсем не умеет ходить».

В этих инстанциях на какое-то время действительно перестаешь принадлежать самому себе и смотришь на себя как бы со стороны, отмечая, что у тебя очень напряжена спина, рот, право же, несколько кривоват, а руки должны быть не здесь, а скорее всего, вот тут, где ты их на самом-то деле и ощущаешь.

Там нам рассказали о документах — их оказалось ужасающее количество. А потом, после незначительных провалов в памяти, когда взор твой, подмечая какие-то мелкие, незначительные предметы: соринки, пылинки, задерживаясь, например, на усатой родинке говорящего с тобой чиновника, приотившейся у него на верхней губе и более всего напоминающей голову моржа, высунувшегося из лунки, да так и уснувшего в этой неудобной позе, — с удивительной легкостью мигает некоторые очень нужные события, следуя которым можно было бы постичь ускользающую логику этого томительно долгого дня, — мы очутились в доме ребенка, где заведующая — знакомая наших знакомых — показала нам помещения и детей. По коридорам бегала одинаково плохо выстриженная ватага двухлеток, и нянечки с младенцами на руках при виде нас пришли в неистово-птичье возбуждение и немедленно принялись тараторить, ловко перебрашивая младенцев с руки на руку, и заведующая в конце концов увела нас, находившихся несколько не в себе, в свой кабинет, где она говорила не умолкая, рассказывая о том, что совсем недавно одна женщина забирала девочку, а девочка уже большая, двухлетняя, и она так обвила ручонками шею женщины и так кричала: «Это моя мамочка за мной пришла!», — что

всем у них сделалось дурно, и заведующая еще долго что-то говорила, а мне уже очень хотелось на свежий воздух, подальше от этих мест, но ее лицо все время попадало в фокус моего зрения, а слух заполнялся ее «Вы знаете, вы знаете...» — она все рассказывала о том, что даже грудные понимают всё — улыбаются своим будущим родителям, ну, то есть не родителям, конечно, а тем, кто их будет забирать, — они все понимают и сразу же их отмечают.

Я не помню, как мы оттуда выбрались, только ночью у Майи была жуткая истерика, с рыданиями, с причитаниями, с детской неумемной икотой, с какими-то дикими совершенно обвинениями в мой адрес и тут же с объятиями и с затиханием в такт своим всхлипываниям.

Наверное, так женщина прощается с матерью, которая умирает в ней самой, так и не родившись.

Нечто подобное случалось с Майей и раньше, но никогда прежде это не проявлялось с такой силой, и тогда я, помнится, тоже ей что-то кричал изменившимся до неузнаваемости голосом, какой-то одной голосовой связкой, которая натягивалась у меня в горле, как ремешок, — я слышал ее как бы со стороны и в то же время чувствовал, как сильно она натягивается, — кричал что-то, наверное невероятно обидное, потому что в какой-то момент у Майи прекратились рыдания и она, широко раскрыв глаза, буквально вглядывалась в каждое мое слово; после чего я сразу же ослабел — руки мои повисли, и под коленями ощущалась отвратительная слабость, а еще через какое-то время мы уже согревали друг друга в объятиях — «ничего, ничего, все будет хорошо...»

А потом я ушел в море — я тогда, как у нас говорили, «работал на море», — а через несколько месяцев пришла телеграмма: «Поздравляю, родился сын».

И друзья очень, помнится, тогда обрадовались, пихали меня, ошалевшего, со всех сторон и говорили: «Ну вот, видишь, операция помогла», — и откуда они узнали об операции? Хотя, конечно, друзья — эта та категория людей, которая каким-то образом узнает то, что их-то как раз менее всего должно бы касать-

ся; и я, помнится, два дня ходил с глуповатой улыбкой и все спрашивал у себя, по-моему даже вслух: «А какой он? Да, да, интересно, какой он? Маленький, черпешкий, остроносешкий, худешкий или толстешкий?» И еще интересовали всякие глупости: что он ест, например; ах, да, они же сосут соску! Боже мой, ну конечно, молоко, кефир, жидкие каши. Интересно, сколько он весит? И я сейчас же помчался к нашему корабельному врачу выяснять, сколько должен весить нормальный ребенок, а друзья показывали на меня пальцем и говорили: «Смотрите, еще один сошел с ума». А я никого не слышал, я уже строил планы относительно того, как он у меня будет заниматься спортом и каким именно.

— Слушай, док! — приставал я к врачу. — Как ты считаешь: сначала гимнастика, а потом плавание или наоборот?

— Лучше наоборот, — улыбался док, хотя я о нем забывал в ту же минуту, даже не дождавшись ответа.

Мы с ним будем читать, плавать, бегать, ссориться, капризничать, мириться. Он будет обнимать меня за шею, а ночью будет требовать, чтоб я положил ему «ручку» на «головку», как требует это сын наших соседей, который без этой «ручки» отказывается засыпать.

Мы с ним будем возиться с цветами: у нас целый подоконник фиалок. Конечно, он сначала попытается выдирать их из горшков, но скоро поймет, что все это живое и огромности этого живого мира на подоконнике можно только удивляться; он узнает, что фиалки — нежные и благодарные цветы, они понимают человеческую речь и очень ждут от человека похвалы, их нужно нахваливать каждое утро, говорить: «Ах, вы мои хорошие, как вы чудесно цветете!», — и тогда они потянутся к тебе своими листиками. Я расскажу ему множество всяких удивительных историй о ленивых амариллисах, величавых рододендронах, о скромницах гортензиях, неженках глоксиниях, прелестницах примулах и еще о кактусах-эхинопсисах, которые требуют от хозяина, только чтоб он поместил их на солнце и ради Бога оставил в покое. Ой,

чтоб только я ему не расскажу! А потом он начнет задавать вопросы: «Почему это, почему так?», — и я ему буду отвечать — вот чудесное будет время!

Я ловил себя на том, что разговариваю сам с собой, лукаво над собой подтруниваю, тихонько смеюсь, хитренько улыбаюсь. Наверное, это и было счастье. Счастье в преддверии счастья.

Только иногда по ночам становилось произительно тоскливо на душе, и я понимал умом, что это не мой ребенок. Майя, конечно же, взяла его в том доме малютки, где мы с ней побывали, ведь я оставил ей все документы и свою доверенность. Наверное, более всего меня удручала мысль о том, что я обречен на неповторение, на физическое неповторение: у него не будет моей фигуры, моей великолепной груди, плеч, спины, рук, ног, ступней. Я не буду в нем узнавать себя маленького, и я буду застрахован от возгласов, услышанных стороной: «Смотрите, он стаптывает обувь ну совсем как отец!»

Но почему-то особую горечь доставляла мне мысль, посвященная тому, что я в течение огромного количества времени впустую истратил столько своего семени, в уникальности и драгоценности которого я ни секунды не сомневался. «У меня же такие замечательные задатки», — думал я сквозь косматые дебри все сильнее овладевавшего мной сна, и я уже начинал видеть множество женщин, качающих на руках младенцев, очень-очень на меня похожих, — забавно, не правда ли? — и еще я успевал подумать о том, что собственный ребенок вызвал бы во мне некоторое круглое чувство или, вернее было бы сказать, чувство чего-то круглого, мягкого, словно котенок, которого все время тянет держать в руках, перебирая шелковистую шерстку.

Как мне теперь представляется, чувство, владевшее мной тогда, когда я узнал, что стал отцом, усыновив ребенка, не собиралось, не формировалось во мне в то нечто круглое, бесконечно теплое, а, скорее всего, в уютное состояние успокоенности, остойчивости — из-за тех поселившихся во мне остреньких иголочек сомнений, неуверенности, страха наконец,

страха перед неизвестностью, перед собственной беспомощностью, перед самим фактом его рождения, рождения, как я сам себе говорил, «вне меня». «А вдруг? а вдруг? а вдруг что-нибудь?!» — пугал я себя и пугался, и все это той первой моей ночью, когда я засыпал отцом и страх прокладывал во мне свой путь плотной провололочкой, начиная с затылка, через левую сторону груди и далее, далее, к ногам.

Но тут я вспомнил одного своего товарища, можно сказать, товарища по несчастью, у которого была такая же беда, и то, как мы с ним, не сговариваясь, никогда не поднимали никаких «детских» тем и лишь при встрече в смущенных улыбках, а может быть, лишь в их тенях и еще в уголках рта, а вероятнее всего, где-нибудь на дне глаз, не желающих встречаться взглядами с другими глазами, направляющих взор свой в сторону на любые предметы чуть-чуть под большим углом, чем следовало, читалось, как нам казалось, с пугающей откровенностью, что мы все еще ждем, что надеемся, что все еще верим, хотя, может быть, в глубине души уже и не верим вовсе, но все еще хотим, но убеждаем, но заставляем себя; и еще в каких-то наших взглядах, мне думается теперь, читалась боязнь, настороженная боязнь вопросов и излишняя готовность к ответу, что все, мол, идет нормально, все так, как задумано, куда нам спешить; и еще вспомнил, как я однажды увидел, как он смотрит на ребенка, возившегося с кубиками на полу, — мы как-то были с ним вместе в одной компании, там у хозяев был маленький ребенок: очень долгим, внимательным, хочется сказать, длинным взглядом; вспомнил и подумал: «Нет, нет, нет, все хорошо. Хорошо, что мы взяли этого парня».

И тогда уже я заснул совершенно счастливым и даже, по-моему, смеялся во сне.

ПОТЕРЯ РАВНОВЕСИЯ

УМРИ, ВАЛЕРА!

Лишь человек, крыса и таракан способны безмятежно шляться по подводной лодке. Это безобразие творится до тех пор, пока вечно занятая Фортуна не поставит на них свою жирную точку.

Когда на Земле вылупился первый подводник, сонный мир уставился на этот говорящий стручок и начал медленно изумляться. И было от чего — поворожденный плодился со скоростью тасманской крысы.

Мир перестал изумляться в тот самый момент, когда чаша весов с новым чудом природы перевесила сборную всех сторожей, посыльчиков и могильщиков.

Клянусь яйцами бронтозавра! Это последний плод иссохшей эволюции. Пасынок случая. Полночный каприз лохматого Хаоса. Тонконогий Атлант. Отпыние снизу его будут терзать фурии, сверху на него будут гадить гарпии. Клянусь яйцами бронтозавра!

За два метра по карте от оливковых рощ Эллады, которую мы тут приплели вместе со всем предыдущим не поймешь к чему, подводник Валера взялся за ручку двери отдела кадров, болезненно скривился и вспомнил всю свою жизнь.

Реликтовое — это имя вместо маминного посыл Валера на флоте — в процессе дум наклонило голову. В середине этого великолепного отростка завиднелась лысина, очерченная гепетическим циркулем, гладкая, как колено Валеры. Валера замер и дал себя рассмотреть: крупный офицер лет пятидесяти, отвислые плечи, до колена все грудь, из носа вечно чего-то торчит, скорбно обмякший рот и шея галапагосской черепахи.

Самое замечательное место на лице у подводника — это его подводные глаза — выцветшие глаза плакальщицы: они наполняются влагой под гидравлическими ударами судьбы.

Из замечательных глаз Валеры струился взгляд дворняжки, мечтающей о хозяине, пока его прогоркая жизнь вспоминалась и пелась цветными скачками мимо.

Он видит себя дитем, шлохающим цветы, курсантом, офицером... А как он поступал в адъюнктуру учиться на ученого! Он бегал с блестящими глазами, задыхался, скользил на поворотах, собирал характеристики, потел в передних, становился сладким, бросался фотографировать свой мозг в рентгеновских лучах на предмет отсутствия лишних пустот, говорил: «Так точно!», сдавал анализы и одну научную работу.

А потом, когда все было готово, ему сказали: «Хватит! Хватит поступать в адъюнктуру». Его качнуло, развернуло, прислонило-держуло, но он устоял на ногах. Его взгляд искал по стенам, шарил и вопрошал — и не верил.

Всем становилось неудобно, нехорошо становилось, всем становилось так нехорошо, что хотелось, чтоб Валера умер. Но Валера уцелел и понял: ударь его мул копытом в глаз — он выживет!

Скоро все прошло, улеглось, устоялось, и как только раны затянулись, он захотел в академию.

Все кивнули, что он достоин, и его жилы получили новую кровь. Он опять хохотал с блестящими глазами, был интересен и себе, и людям, прилипал к стульям, опять отнес свой мозг под рентгеновское облучение, собирал себя и бумаги, ставил на них впопыхах, не раздеваясь, печати и учил две несовместимые вещи — устав и математику.

— Ну, когда? — протягивал он руки в отделе кадров, вылизывая глазами.

— Скоро, — говорили ему, не поднимая глаз.

И он жил. Каждый день жил.

— Ну как там? — переминался он снова в отделе кадров, все собрав в академию и продав кое-что ненужное из вещей.

— Ну как там? — переминался он, подмигивая и хихикая, демонстрируя здоровье и хорошее настроение.

— М-да, — сказали ему, утомленные его хорошим настроением, и бросили его документы в стол — авось пригодятся.

— Ну что, Валера (м-да!), опоздал ты, опоздал. Что делать? Ну, ничего! Лучшая академия — это флот!

Валера не расслышал тогда: у него что-то случилось со слухом, потому что он продолжал подмигивать

и хихикать. Наконец дошло, он справился с хихиканьем, но продолжал все еще, взбрыкивая плечами, помигивать. И вот — о, тягостная минута! — он вздохнул, и его уши поймали предсмертные хрипы академии из стола.

Были потом другие места, были другие переводы, он хотел стать преподавателем, он вбегал в помещение и кричал: «Я уже преподаватель! Мне предложили! Там что: написал лекции — и свобода!» — и убегал писать лекции. Но место то как-то вскоре подошло, а лекции сгнили. Потом он собирался стать начальником курса, командиром роты...

Пять лет он не брался за ручку двери отдела кадров. Пять лет! За это время страна выполнила и перевыполнила! (Елки зеленые!)

— Раз-ре-шите? — Валера не узнал свой голос и вполз. Зачем-то же его все-таки вызвали! Он покрылся испариной предчувствия. Сердце прыгало и стучало по пищеводу.

— А-а-а... Валера, — улыбнулся ему отдел кадров среди бумаг через стол, — заходи, заходи, садись, наш перспективный офицер, хе-хе...

Валера не сел, он боялся не встать.

— Вот! Переводим тебя в институт, в Ленинград, приказ с квартирой, науку вбок задвигать, — улыбнулся еще неоднократно отдел кадров, — будь она не ладна!

— А когда? — Валера тупо ворочал языком.

— А как соберешь документы, характеристики, печати — ну, ты сам знаешь. Иди готовься, — и отдел кадров, не видя уже Валеру, нагнулся и нырнул в свои бумаги.

Тот вышел, не помня как, и прислонился к стене. Сердце подобралось ко рту и тюкало в барабанных перепонках. Обманут, врут, обманут! И вдруг вспыхнула, хлынула радость, весенний ветер, цветущая вишня, охапки тюльпанов, горькая свежесть свободы, навстречу пошла жена в розовом старом халатике.

Валера сильно вздохнул. Может быть, слишком сильно, потому что коридор с мерцающими лампочками вдруг задвигался, накрепился пабок и улетел.

Свет померк. Валера, роя ногами, заскользил по степочке и совершенно уже не услышал топота и ку-термы.

Бедняга, прости тебя Господи!

Радость приступом взяла его сердце.

ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ

Как же все-таки на севере начинается весна? Ах, да-да-да, она начинается с огромного солнечного зайчика, который однажды утром, вдруг зацепившись за вершину сопки, надолго там остается. Или еще появляются вороны — основательная, могучая птица, воздушный акробат.

Они появляются парами, потом у них начинается нежное синхронное плаванье в небесах, а затем и большая морская чайка, прозванная за свою прожорливость бакланом, начинает кричать: «И-я-и-я-и-я!» — конечно же, и ты, кто же сомневался?

А летом на верхних болотцах можно найти скромницу морошку на тонкой ножке и ягель — серебристый и светло-зеленый, почти желтый, превращающий скалы и валуны в королевские коралловые рифы. Он расстилается упругим ковром, да таким плотным, что, кажется, нигде, насколько хватает глаз, ни былинки, ни соринки — все так чисто, и валуны все на своих местах, будто здесь только и должны быть, и вода в озерах, озерцах, ручейках, лужах то стоит, то сочится, перетекает, пропитывая мох писквозь, — она такая необыкновенная, что все время хочется напиться, — и вероника, брусника, черника, голубика — все они там, где нужно, именно там, где и должны быть.

А небо вдруг голубое, а потом откуда-то пабежала тучка, и от нее легла тень, а потом солнечные лучи пробиваются наконец, и длинные солнечные трубы потянулись к земле, их много-много, целый пучок.

А осенью березки словно взрываются желтым цветом, а рядом — красная листва облетающей черники с множеством голубых глаз-ягод и стоят молодые гри-

бы — толстые, насупившиеся мальчишки — как на все это наступить?

А природа уже успокоилась, словно кошка, которая, несмотря ни на что, все же вывела своих котят, и они у нее выросли — можно отпускать.

Все это видится человеку, засунутому, как матрешка, в несколько железных оболочек: сперва в один корпус, потом еще, потом — оболочка отсека, а затем уже пост — тесная конура, и все это притоплено в бесконечном океане, на глубине, скажем, в сто пятьдесят метров, и в какой-то момент глубина может сделаться больше, и еще больше, и он будет погружаться вместе с этой железной дурищей, которая почему-то плавает и угрожает чему-то. А она будет, погружаясь, исчезать наподобие монетки, которую бросили в воду и которая, прежде чем утонуть, успевает всплунуть в глубине несколько раз.

А человек сидит в кресле внутри этого страшилища и, закрыв глаза, вызывает видения весны, лета, осени. Только зиму он не вызывает, потому что когда он придет с моря домой — дай-то Бог, конечно, — будет зима, и он выпрыгнет в двадцатиградусный мороз, и он будет ходить полупьяный от этой свежести, будет шляться по пирсу, улыбаться всему и всем и спрашивать у всех: «Ну, как наши дела?» — не дожидаясь ответа.

Он так будет ходить до тех пор, пока ему от холода просто не станет больно, и тогда он снова нырнет в свою железную матрешку, скатится по трапу и забьется в тесную конуру — на свой пост — и положит руки на теплые приборы, чтобы согреться, а потом повернется и прижмется к ним спиной.

ПОТЕРЯ РАВНОВЕСИЯ

А вы знаете, когда подводники теряют почву изпод ног? Вернее, они, конечно же, теряют под собой палубу. Хотите знать, как они себя при этом ведут? Сейчас расскажу.

Все это происходит тогда, когда на полном ходу заклинивает большие кормовые горизонтальные рули на погружение. Их как бы закусывает какая-то неведомая сила, и тогда лодка — почти десять тысяч тонн — железа и людей — бросается в глубину. Это немного напоминает бег с горы, когда ступил, а под ногами земли вдруг не стало, и ты летишь вниз, и тебя встряхивает так сильно, что темнеет в глазах, и хотя ты не успел испугаться с самого начала, осознаешь себя собою только с некоторого момента, когда начинаешь барахтаться и бороться с незакрепленными ящиками, которые валятся откуда-то сверху вперемешку с документацией на тебя и друг на друга.

Но вот ты вырвался, выбрался, зацепился руками за трубопроводы и повис, а вокруг кричат все — и ты только теперь вспоминаешь, что ты в центральном посту, и теперь только различаешь команды: «Обе турбины полный назад! Пузырь в нос!» И так же, как все, каким-то десятым чувством осознаешь, что команда дошла и обе турбины, завывая, как стая гиен, пережевывая при этом что-то свое там, у себя внутри, превозмогая собственную инерцию, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее действительно раскручиваются назад на полную катушку.

И кто-то уже дал «пузырь в нос» — выстрелил воздухом в носовые цистерны главного балласта, — и нос явно сделался легче.

Лодка вздрагивает, но все еще движется, а потом все же останавливается, замирает, зависает на какой-то одной ей только известной границе, и все замирают вместе с ней, и у всех на лице одна и та же гримаса, одно напряжение, и оно такое, будто напряжение человеческих лиц обязательно поможет лодке вырваться из цепких лап глубины, куда можно улететь камнем, где раздавит, сомнет, смешает со всякой дрянью.

Но вот лодка совсем уже пошла назад — все вздыхают: «Уф!»

Она выровнялась — все задвигались, задышали, зашелестели.

Глубина отпустила, лодка всплывает — и у всех отлегло. Почему-то в этот момент смеются над любой глупостью.

— Мать моя женщина! — кричит механик. — Да я же совсем промок!

И все хохочут во весь голос. А механик словно и не замечает веселья — все стирает и стирает с лица пот ладонями, и лишь только он проводит ладонью по лицу, оно тут же снова серебрится от пота.

СОН

Когда лодка еще только строится, в ней выделяют специальные закуточки. Их отгораживают щитами и делают двери как в купе. Вот и получилась каюта на четверых или на шестерых — все зависит от того, какое расстояние до подволока: полки в два или три яруса, одна над другой, тесно, столик посередке, а сбоку — узкие шкафчики под одежду.

Иногда места не хватает, и одежду вывешивают в форточку — вот она у изголовья второй койки, открыл ее — и ты уже у борта, на кабельных трассах, откуда веет неожиданным холодом, пылью и будущей опасностью. Хочется поскорее закрыть ее — и под одеяло, а над лицом, в двадцати сантиметрах, — потолок или брюхо верхней койки.

Лежать совестно и тревожно. Кажется, ты крадешь у кого-то свой сон — люди работают, стоят на вахте, а ты спишь; и еще: в этом положении ты беззащитен, уязвим — для того чтобы вскочить, все-таки потребуются какие-то секунды, а за это время многое может произойти. Так что сразу и не уснуть. И в то же время очень хочется спать.

А еще спят сидя: прильнув к чему-нибудь не очень острому затылком, устроив голову так, чтоб она оказалась зажатой между двумя приборами, чтоб не шевелилась, не падала.

Так спят по тревогам, когда несколько раз за ночь поднимает длинный звонок и ты должен — всякий раз — вскочить, примчаться на пост и там уже доложить в центральный: «К бою готов!», — а потом устроиться и спать до отбоя тревоги.

Спят, сидя за столом: на стол кладут стопку вахтенных журналов и на них голову, прижимаются щекой, и журналы от щеки нагреваются, становятся уютными, теплыми...

Спят стоя, когда по несколько суток не сомкнуть глаз и тут где-то тебя оставили в покое — забыли, наверное, — тогда надо упереться во что-нибудь лбом; сознание быстро гаснет, отлетает, словно листик в почву, и в этот самый момент, когда ты готов упасть, оно возвращается, ты подхватываешь себя в последний миг, но только для того, чтобы снова устроиться и позволить ему, сознанию, снова погаснуть.

Иногда верхние вахтенные не успевают очнуться и падают по обледелому корпусу лодки в воду и в воде уже, проспавшись, изо всех сил плывут — в одежде, с автоматом — к штурм-трапу, пока окончательно не намочила меховая куртка, а то не выгрести.

Спят на вахте у приборов, между получасовыми докладами в центральный о том, что «отсек осмотрен, замечаний нет», когда вдруг в глазах заплясали-заплясали солнечные пятна и ты начинаешь размышлять о том, что надо бы для сбора груш взять лестницу у соседа; и ты действительно берешь лестницу, и ставишь ее, и забираешься наверх. Первую грушу стоит попробовать там, наверху: обтираешь ее руками — укусил, а она сочная, но тут лестница складывается, и ты валишься вместе с ней, летишь куда-то, ударяешься и просыпаешься в тот момент, когда это происходит, и жалеешь только о том, что все-таки не запомнил сладости той первой сорванной груши...

ЗВУКИ

Иногда мне ночью снится лодка. Она идет под водой. Она снится мне тогда, когда я очень устаю за день. Сновидение всегда одно и то же: я иду из кормы в нос, из отсека в отсек, и в каждом меня встречают знакомые звуки. В 10-м — шелест вала гребного винта. Этот шум успокаивает до тех пор, пока не

включился насос рулей; веселый, чуть придурковатый, он включается внезапно, нехстати, он раздражает. «Клац-клац-клац», — включилась помпа. Громкая, бесцеремонная — ей нет никакого дела до того, что вы в отсеке, она прекрасно обошлась бы и без вас — клац-клац-клац...

В турбином, внизу, тонко и сильно, почти на границе слуха, свистят турбины, звенят насосы — шум такой, что всегда недоумеваешь, как здесь люди могут нести вахту четыре часа.

В реакторном, на проходной палубе, переключаются воздушные клапана. Они делают это так, будто произносят имя «Саша» — ссс-ша! — а в конце переключения — удар, после которого долго поют трубы, а в орту — привкус пержавеющего железа.

В носовых отсеках поют вентиляторы. А в кают-компаниях можно услышать каркающий голос классика марксизма-ленинизма. Он записан на пленке, и его крутят матросам. У них политзанятие, прослушивание голосов. А лица у всех одуревшие, и губы поджаты, как гузка у курочки Рябы, которая только что снесла золотое яичко.

Звуки на лодке неприятны, но с ними спокойней. Прекратись они — и наступит тишина. Тишина атакует. Она тревожна. Кажется, будто что-то должно произойти: люди просыпаются, лохматые головы высываются из дверей, все спрашивают, не случилось ли чего... Только теперь слышно, как за бортом переливается вода, и сейчас же вспоминается, что ты все-таки засунут в снаряд, а он утоплен на глубине 20—30 метров, а под ним — несколько километров до грунта. Неприятная штука.

При погружении железо корпуса обжимается и скрипит. Звук — то ли стеклом по стеклу, то ли с невероятной силой сминается жесткая, сухая кожа.

При падении аварийной защиты реактора воют останавливающиеся механизмы, хлопают двери кают, переборки, топот ног.

Под водой этих звуков хватает. Не хватает гула весенней улицы, трепета листвы, чириканья воробьев. Иногда эти звуки записывают на пленку и крутят в кают-компаниях во время отдыха. Но все это не то. Почему-то все время хочется узнать, что там снаружи, за

пределами прочного корпуса. Когда это желание непреодолимо, отправляешься к акустикам. Они слушают океан. Океан трещит, свистит, квакает.

— Что это? — спрашиваешь у них.

— Дельфины.

— Дай еще послушать, — надеваешь наушники поудобней — сейчас будет полный букет звуков — и в тот же миг просыпаешься.

О МОЛИТВАХ

Я давно хотел написать о том, как молятся подводники. Раньше, конечно, этого никто не делал на виду у всех, но я уверен, что по ночам, уже в койке, лежа, про себя, тихо-тихо, чтоб не подслушали твои мысли, молились все. Молились о родных, о близких, просили у Бога для них здоровья, счастья. Конечно, никто не знал ни одной молитвы, но слова приходили сами, и они были такие простые, например: «Господи, помоги им всем — жене, детям. Сделай так, чтобы они были здоровы. Господи, и чтоб они встретили меня с моря, чтоб радовались мне, и чтоб я, конечно же, пришел домой целым и невредимым, и чтоб все у меня было хорошо». И еще молились о всяких земных делах — до тех пор, пока молитва не переходила в бессвязное бормотание и пока человек не засыпал.

А еще очень страстно молились, когда выходила из строя материальная часть. Например, я молился, когда останавливалась кислородная установка — та самая, что вырабатывает под водой кислород. И если она вдруг ни с того ни с сего встанет, то еще как взмолишься, даже взвоешь. «Господи! — говоришь тогда. — Я все проверил, все разобрал, все промыл, все прочистил. Почему она не работает? Ну, почему? Надоумь меня, Господи, ведь по отсекам уже недостает кислорода. Эти проклятые стрелки на газоанализаторах поехали вниз. Просвети меня, вразуми, ну где я что-то проглядел. Помогите мне, Господи, ну пусть она заработает». А потом сидишь тихо и тупо смотришь в

приборы и на те механизмы, которые ты разбросал и которые, если их собрать вместе, да еще при этом найти неисправность, снова заработают, и по отсекам пойдет такой пужный кислород, и можно будет встать под раздатчик и поймать лицом тоненькую прохладную струйку. От нее на зубах остается привкус металла. Говорят, в чистом виде его вдыхать не очень-то и полезно, но когда все исправил и запустил установку — нет лучше запаха, и ты пьешь его, улыбаешься; но пока не нашел, что же там произошло, ты мрачнее тучи, ты кричишь про себя: «Господи! Ну, сделай же что-нибудь! Ну, хоть что-нибудь! Если она сейчас работает, я обязательно поставлю в церкви свечку, самую дорогую, нет — пять свечек, самых толстых!»

А потом наступает тишина, и она такая, словно ты один на всем свете, а потом что-то случается, даже не ясно что, но ты точно знаешь, что что-то произошло, потому что вдруг начинаешь понимать, что нужно делать, чтоб она заработала, — просто само в голову приходит, честное слово, — и ты торопишься, торопишься, быстрее-быстрее — собираешь, скручиваешь, обжимаешь, находишь потом кнопку — поехала, родимая, — и следишь за тем, как оживают манометры, растет давление — пошел кислород! «Фу ты, Господи!» — выдыхаешь ты и подставляешь под струи, пахнущие кислым металлом, свое лицо.

А в отпуске обязательно ставишь свечку в церкви — толстую и самую дорогую. А потом ставишь еще и еще — столько, сколько обещал. Целых пять. Так хорошо! И выходишь на свежий воздух, и чувствуешь, будто сделал что-то очень важное, очень нужное, и все это до следующего выхода в море.

АРШИН МАА АЛАН

— Ты не боишься?

— Нет.

— Так куда же ты все-таки едешь, в Баку или в Армению?

— Сначала в Баку — там теща с тестем, а потом — в Армению, в горы. Из Баку идет поезд в Кафан. Это

городок на границе. Оттуда автобусом до Каджарана — есть такое местечко в армянских горах.

— А зачем ты туда едешь?

— Да... как-то я давно собирался... — говорил я, а сам думал: «Действительно, какие могут быть горы, когда два народа затаились, как два зверя, и следят друг за другом. А в глазах у них смерть. Не следует ходить между ними, когда у них такие глаза».

В Баку теперь тихо. Я звонил теще, и она сказала: «Тихо. Уже был Сумгаит и весь этот ужас — теперь тихо». Помню, как Валентина — жена приятеля, бакин-ка — рассказывала мне, как при свете дня насильовали беременную на балконе. При этом она, рассказывая, покраснелась, подхихикивала и говорила: «Ой, что они с ней вытворяли, что вытворяли!..», несколько раз спросила: «Но ведь это интересно, правда? Ужасно, конечно, но интересно, правда?», и я кивнул: интересно, конечно; пужно было что-то делать, и я кивнул и тут же сглотнул: рот наполнился слюной. Меня тогда поразило не то, что она говорила, а то, что она подхихикивала в тех местах, где естественной была бы обычная для вдоха остановка. Она подхихикивала, а внутри у меня, глубоко за солнечным сплетением, словно разошлась какая-то перегородка и затопило все мерзостью, густым холодком. Наверное, это и был ужас.

Сейчас лето. Сейчас в Баку тихо, душно, знойно, а в январе будут сжигать заживо. Когда впервые узнаешь об этом, как-то даже не знаешь, как себя при этом вести, что говорить, куда бежать, сумятица в мыслях, в движениях, душа попадает в какую-то тесную капсулу. Я потом ловил себя на том, что я опасался азербайджанцев на улицах Ленинграда. Я их узнаю, так как родился в Баку, отличаю их издали по разлапистой, основательной походке, по глазам, чуть узким, с припухшими тяжелыми веками, по одежде, скажем по красным мохеровым шарфам, по пухлятым шапкам, по синеве щек, по тяге к стадности и только потом по говору. Пусть даже они одеты во все европейское, все равно что-то есть, что-то да вылезет, ну, положим, в туфлях, — лакированно-остроносо-плетеное, что-то неевропеизируемое, пошное, рожденное промежуточным состоянием вышедшего из деревни и не пришедшего еще в город человека. Они проходили мимо, а меня кидало в такой жар, что, казалось, я сейчас задохнусь, и во мне

опять расползалась та перепонка. Я ничего не мог с собой поделать. Я убеждал себя... но ужас, ужас...

Во дворе дома, где жила моя теща, лежали тополя: их повалил ветер, сильный бакинский порд. Я люблю этот ветер, ветер моей родины; он отнимает жизнь у тополей, но он несет жизнь городу, утопающему в духоте. Упавшие тополя, превратившиеся со временем в голые бревна, складывали у невысокого заборчика детского сада, там они лежали годами непременным атрибутом дворового ландшафта, на них залезали играть дети, отчего эти бревна, бывшие тополя, поминутно превращались то в лошадок, то в паровоз, то в ракету, то в запутанные джунгли. В январе из них сложили большой костер. Соседского двенадцатилетнего Андриюшку, приятеля моего сына, еле успели выдернуть из огня; и еще подгоняли бензовозы, окружали и поливали, поливали бензином, прямо из шланга, и семьями, семьями, семьями... а потом в город вошли танки. В танках — молодые водители, молодые водители — молодые танки...

Крайняя сущность дерева — горит, крайняя сущность веревки — душит...

Я прилетел в Баку прохладной летней ночью. При выходе из самолета на трап сразу наталкиваешься на стену запаха, и даже не запаха, а его предощущения, ты еще не понимаешь, что это, а внутри уже все сжимается, и ты с тревогой смотришь вперед, потом становится ясно — пахнет плотно, липко, и во всем твоём напряжении виноват именно этот осознаваемый не сразу запах керосина. Еще он чувствуется в метро, где каменные полы моются опилками, смоченными в его грязноватом растворе; запах... точнее было бы сказать так: я уже в самолет садился с синдромом волнения, внутри меня жило уже предощущение этого неприятного чувства, прообраза страха, то есть как бы электрическая цепь, включающая его, уже была готова, собрана и опробована, и достаточно было, может быть, только одной молекулы этого горючего, легкого вещества, чтобы процесс лавинообразно начался.

Когда я написал этот абзац, я поймал себя на том, что что-то меня в нем не устраивает. Да, да, очень часто встречается слово «запах». Я стал искать ему более точную замену — «дух», «вошь», «воища», «смад» — нет, все не то, именно «запах». Оказалось, что к этому слову невозможно подобрать синонимы. Вероятно, оно

означает для человека очень серьезное состояние — состояние «нахождения в запахе», соседства с веществом, о котором не забыть.

У входа в аэропорт — рыхлая, жирная каша из встречающих. Хочется миновать ее побыстрее, хочется пробиться — продаться — никого не задеть, и тебя чтоб никто не задел, а потом — узкая клетка, где выдают багаж, где ты стоишь, плотно прижатый к чьей-то спине, с раздражением вдыхаешь вполгруды запах чужого дорожного пота и высматриваешь свой чемодан среди груд спеленутых картонных коробок.

Меня не покидает чувство тревоги, оно живет во мне и как бы помимо меня заставляет ловить и анализировать тысячи деталей и примет, оно заставляет вглядываться в окружающие лица, держать в фокусе подходящего человека, отмечать в мельчайших подробностях пластику его движения, выражение его глаз, лица, особенности движения его рук и ног. У зрения появилась еще одна особенность — оно стало объемным.

— Здравствуйте, ваши документы.

Это патруль.

Ночью до города можно добраться только на такси, автобусы не ходят. Комендантский час до пяти утра. Шоссе перегорожено военными рогатками.

— Ваши документы!

При описании этой поездки я все время буду сбиваться на телеграф, на прямую речь; фраза как бы сама укорачивается, уплотняется, трассируется — глаголы заменяются тире, это не зависит от меня, эта судорожная торопливость начинает жить во мне сразу же, как только я вспоминаю те летние бакинские дни, предвестники диких, страшных событий. Тогда жизнь, увиденная мной в Баку, напомнила чей-то отвлеченный репортаж, скорый, без знаков препинания. Тире. Точки. Минимум слов.

Ехать до города минут тридцать-сорок. Дорога с обеих сторон обсажена оливковыми деревьями, эльдарской сосной, кипарисами и туей — пышные клочки зелени, которыми она выложена с обеих сторон. За зеленью — голая желтая глина с заброшенными нефтяными вышками, с нефтяными озерами пролитой, грязной нефти, с выступающими на поверхность белыми соляными пятнами. Военный патруль через каждые два-три

километра. Очень неуютно себя чувствуешь, когда тебя проверяют через два-три километра.

— А авиабилет у вас есть? Предъявите, пожалуйста... ста...

Авиабилет является пропуском в почное время. Машина аккуратно притормаживает перед каждым контрольно-пропускным пунктом. Если машина постарается его объехать, по ней будут стрелять. После Сумгаита здесь больше всего боятся курсантов военно-морского училища: они стреляют и не промахиваются. Я учился в этом училище. В 1975 году я вышел из него офицером. Это хорошее училище. Через десять лет после выпуска мои однокашники вернутся в него и станут преподавателями. Во время сумгаитских событий их сделают командирами рот и взводов.

В 1920 году 11-я армия во главе с Кировым вошла в Баку. Они шли из Астрахани пешком, босые, голодные, оборванные, они шли днем и ночью. Когда они вошли в город, пачавшаяся было армяно-тюркская резня прекратилась. В Баку есть площадь Одинадцатой армии с монументом в середине, и среди революционной голытьбы там угадывается фигура революционного местного феллаха, а бабушка моя — коренная бакинка — говорила, что 11-я армия целиком состояла из русских и украинцев.

Вот и теперь русский парень-десантник в свете фонаря долго рассматривает мои документы.

— Из Ленинграда? Земляк. Как там в Ленинграде?

В 1920-м 11-я армия шла пешком из Астрахани и успела, а от Баку до Сумгаита всего тридцать километров, и там безнаказанно резали трое суток...

Моя бабушка трижды попадала в резню: в 1905-м, 14-м и 20-м, — и всякий раз резня, побушевав несколько дней, прекращалась: либо отцы армянской и тюркской общин договаривались друг с другом, хоронили своих пылких юношей, обещая друг другу не мстить, либо в город входили войска, либо солдаты частей регулярной турецкой армии, пограбив, понасильничав, потаскав за волосы армянок при мышинном затаивании тюркского Баку, через три дня вешали на фонарных столбах своих же слишком рьяных мародеров.

В 20-м году 11-я революционная армия успела и прекратила резню даже при полном отсутствии революционных феллахов, а через 70 лет резня шлялась

пьяной бабой по Сумгаиту и заглядывала с отвратительной ухмылкой в окна роддомов, школ, больниц, и только на третьи сутки туда послали курсантов военно-морского училища, которые там сразу же и совершенно озверели, а задолго до резни рабочие-армяне на сумгаитских заводах по госзаказу вытачивали ножи и пики. «Что мы делаем?» — спрашивали они. «А вам не все равно? — отвечали им в заводоуправлениях. — Работайте, вам за это деньги платят». И они работали, а потом увидели эти пики и ножи в руках нападающих — их подвозили на самосвалах и сваливали в кучу перед беснующейся толпой. Так рассказывали мне старые сумгаитские рабочие, чудом уцелевшие, потерявшие семьи, кров, работу и смысл этой жизни, а я смотрел на них и видел только их набрякшие руки и пустые глаза на потерянных лицах.

Во время резни была парализована «скорая помощь». Машины «скорой помощи» останавливали, шофера и врача выволакивали и силой вливали обоим в глотку по бутылке водки, а если стоял на ногах, то и по две. Водки было сколько угодно.

— Это звери, это не люди! — говорил мой товарищ, азербайджанец, который в те дни проезжал через Сумгаит на машине. — Останавливают и говорят: «Дай бензин». Они людей заперли в автобусе и хотели их вместе с автобусом сжечь.

— И ты дал?

— Они звери. Скажешь: «Не дам» — и тебя сожгут. Я сказал: «Сами отливайте, у меня бензина очень мало». Они возились-возились, так и не смогли достать — у меня там устройство: никто, кроме меня, бензин не отольет.

...Курсантов военно-морского училища привезли в Сумгаит на автобусах и сгрузили. Мой друг с детской кличкой Мурик, капитан третьего ранга, сидел потом передо мной и рассказывал, что внутриности у ребенка похожи на внутриности кузнечика. Мурик волновался и все повторял: «Как у кузнечика, как у кузнечика...» — «Знаешь, в детстве ловили кузнечиков и резали их, очень похоже... — говорил он все это, глядя в точку. — Очень похоже, очень...» Потом он показал мне палку — черенок от обычной штыковой лопаты:

— Сначала у нас в руках ничего не было, выгрузили на детские внутриности и усмиряй как хочешь, а у

них у всех ножи, потом вот эту штуку выдали. Очень помогает. Ребята сначала как увидят мертвеца, женщину особенно или ребенка, — так всё: половина стоит плачет, половина — блюет, ясно, пацаны, потом привыкли. Остановили одного чурека: «Выворачивай карманы», — а там: золотые сережки с кровью — из ушей рвал. Мы таких сначала милиции сдавали, а потом как увидели, что она их за углом отпускает, так сами судить стали: возьмем в круг — и палками, палками, чтоб больше не встал. Палки не успевали менять, за день измочаливались. Налетаем, всех к стене мордами, ножи долой, ноги на ширине плеч, руки на стену. Не понимает? Палкой взмахнул — и зубы врассыпную.

И Мурик, мой трепетный друг, меломан, над целовкостью которого мы столько раз подшучивали в нашем курсантском детстве, делает несколько яростных выпадов этой палкой, а я улыбаюсь, мне хочется его обнять, прижать, успокоить, чтоб только прекратить весь этот кошмар.

Я не помню, когда возникло это давнее чувство жалости к Мурику. «Жалость унижает жалеемого» — тривиальная формула; я сказал ее себе, чтоб чем-то заполнить пустоту, возникшую из-за поисков примет, включающих в человеке машинку жалости. Какие они, эти приметы? Веночки на руках? Беззащитный человеческий пушок? Вены-веночки... что-то должно было ее включить; ты как бы готов претворить в себе жалость, ты готов ее исполнить по первому уколывшему тебя признаку, потому для включения этой машинки достаточно даже маленькой пылинки, на тебя упавшей.

Мурик у нас ходил в строю танцующей походкой. Он в леккомнате один слушал пластинки, и во всей его фигуре угадывалась тогда какая-то напряженность, готовность к принятию насмешки. В курсантстве мы готовы были осмеять кого угодно. Это была такая роевая жизнь — жизнь роем, где все, что высывалось, тут же безжалостно уничтожалось. Впрочем, вряд ли это можно было назвать жизнью, иногда казалось, что жизнь у нас начиналась только тогда, когда мы вылетали за забор, в увольнение, когда за несколько часов нужно было прожить как бы неделю: нужно было схватить булочку, мороженое, кино, девушку. «Правда, вкусная булочка?» — говорили мы друг другу и кидались к мороженому. Так бывает, когда в незнакомой

темной комнате неожиданно зажигается свет. Взгляд хочет схватить сразу все и все сразу запомнить и впитать и мечется с предмета на предмет.

Мурик был из военной семьи. Папа у него был офицером. Папа спился — умер — бросил маму.

— Ваши документы?

Я подсчитал: от аэропорта и до дома нас проверяли пять раз, машина крутит по улицам, патыкаясь на военные рогатки, а в свете фар мелькают лица — пухлые, детские лица патрулей; улицы словно умерли — они темные, пустые, как штольни, горят фонари, и деревья нависают над дорогой, и какое-то время кажется, что мы движемся в огромной серо-зеленой породе. Скоро ландшафт поменяется и вдоль дороги, словно вбитые штыри, встанут кипарисы, и свет фар будет поминутно выхватывать из темноты сотни их мохнатых лап, подпятых вверх. Ветер хозяйничает на улицах Баку; он то взметает пыль, то разгонит бумажки, то подхватит с дороги газету и с размаху набросит ее на кусты, как рубаху.

Дом, где живет мать моей жены, — старая хрущевка: крепенький, всепрощающий; ему еще предстоит увидеть, как через окна будут выбрасывать восьмидесятилетних старух, как будут взламывать им двери и как они будут ползать, вымаливая свое право на жизнь. У старух очень крепкие руки...

Для меня теперь слово «резня» сконцентрировалось в отвлеченный от его смысла звук, но тоже длинный, вибрирующий, отвратительный.

Он звенит в ушах. Звук этого слова тактилен до того, что хочется зажать уши. Зажимаешь их, а звук не уходит. Я ловил себя на том, что хочу заткнуть себе ладонями ушные раковины. Если нельзя уйти от физиологии звука, то можно хотя бы изменить его тональность, сделать менее горячим.

Я представил себя на месте этих старух, когда ломают двери твоего жилища, а ты сидишь, не в силах пошевелиться, и, вздрагивая, ждешь следующего удара, сокрушающего хлипкую дверь, и результатом этой иллюзии была самая натуральная тошнота — я ощутил ее по испарине, по частому, судорожному сглатыванию и мелкой пляске желудка.

Приехали. Машина осторожной черепахой влезает во двор, знакомый с детства, подползает к подъезду и останавливается. Я даю шоферу пятнадцать рублей, о которых мы договорились; оценив боковым зрением сумму, он кивает, скрывая вождедение, равнодушно берет их и, уже забыв обо мне, первню обернувшись, готовится подать машину назад. Я вылез из машины и вошел в подъезд, поднялся на второй этаж по пыльным ступенькам узкой лестницы, мимо загаженного подъездного окна и постучался. Дверь тут же, быстро открылась, торопливо впустила меня и с шумом захлопнулась. Меня ждали.

У тещи с тестем трехкомнатная квартира. Она досталась им нелегко. Дом строился от завода, и те, кому положены были квартиры, участвовали в этом строительстве, а когда дом был почти что готов, пронесся слух, что его отбирают, и все сразу поверили, потому что у нас обычно отбирают в самый последний момент. Будущие жильцы вселились в недостроенный дом и заняли оборону. Слухи подтвердились; явились какие-то администраторы, они долго бродили по квартирам и говорили, что «так получилось», что «надо освободить», но «зато в следующий раз...» а люди не выселялись, они уже росли в этот дом, вцепились в него так, как могут вцепиться в дом только наши люди, и начальство сдавалось.

Три душевые комнаты с низкими потолками, со скрипучим паркетом, с малосенькой прихожей, с крохонькой кухонькой, с совмещенным санузелом; в большой комнате — гостиной — элементарная мебель с выставкой посуды, хрусталем, бутылками, книгами — синоним благополучного быта, в обеих спальнях — четверка стонущих от старости деревянных кроватей, на окнах — сетка от комаров; есть еще два балкончика: один — открытый всем ветрам, другой — застекленный, там есть лежак, на котором прохладно в душевые ночи.

Теща с тестем прожили в этом доме тридцать лет. Старое жилье успокаивает. Я лежал на кровати, смотрел в окно, увитое виноградом, и думал, что, может быть, мои страхи напрасны.

Утром от неприятного чувства тревоги не осталось и следа, поезд на Кафан отходил поздно вечером, меня

покормили моей любимой яичницей с помидорами, и я отправился побродить по городу; я хотел заглянуть в училище — там старые друзья и бассейн, а я стараюсь не пропустить ни то ни другое, побывать на бульваре, побродить по центру, по старым местам, посмотреть, всё ли, так сказать, на месте. Меня всегда огорчает, если что-то исчезает с привычного места. Я думаю, что изменения привычного неприятны потому, что прежде всего меняют ландшафт. Изменение ландшафта чревато пересмотром воспоминаний, укоренившихся в памяти, сформировавших ее. Они оскорбительны изменением привычного, то есть уютного.

Училище наше расположено на левом рого бакинской бухты, если стоять лицом к морю. Это местечко называется — Зых, училище на Зыхе. Скажите так — и вам всякий покажет к нему дорогу. Я знаю в нем все тропки, все входы и выходы. Если меня не пустят через ворота, а такое в нашем королевстве может быть запросто, я, как настоящий офицер военно-морского флота, перепрыгну через забор. Помню, как в курсантстве мы просто перелетали через этот забор. Училище со всех сторон окружено рощей оливковых деревьев — мы ее называли «пампасы», — там встречаются фиговые и тутовые деревья. Как только ягоды созревали, мы выбирались на выпас. Прямо перед училищем море и мыс Султан, там стоял дивизион учебных катеров, там мы ходили на шлюпках, на веслах и под парусом; влево, за оливковой рощей, будет соленое озеро; соли там столько, что ни за что не утопешь: можно часами лежать на поверхности воды, раскинув руки. Там все время лежали какие-нибудь толстые тетки: почему-то считалось, что соленые ванны способствуют похуданию. Они лежали, а волны покачивали их, как огромные желтые подушки. Мы не купались в соленом озере, нам не надо было худеть, мы бежали дальше, на «дамбу», где был дикий пляж, там в море от берега действительно уходила дорога на насыпи, которая должна была когда-то что-то с чем-то соединять, она-то и называлась дамбой. Все это было давно заброшено, дорога вела в никуда, и мы бегали в это никуда в самоволку купаться, и хотя было видно, что мы курсанты, наши командиры и преподаватели, загорающие вместе со своими дочками и матронами, никогда не пытались нас изловить, это считалось дурным тоном и вряд ли бы по-

правились женам и дочкам. При нашем появлении дочки волновались, жены поглядывали одобрительно, и начальству ничего не оставалось, как только, закрыв глаза, млеть на солнышке. Солнце, плавки и лифчики — вот она, истинная демократия. Мы ею наслаждались. Мы располагались поближе к красивым дочкам и, вроде не замечая их, делали заплывы, потом самые нахальные из нас знакомились, а самые целомудреннейшие надували грудь, напрягали мускулы и косили глазом. «Так ли все это теперь?» — думал я тогда в полупустом автобусе.

Матрос проверил мои документы и позвал дежурного. Я объяснил, что я выпускник этого училища 1975 года выпуска и мне хочется пройти в родное училище на кафедры. «Позвоните дежурному по училищу», — произнес он. «Черт побери! — сказал себе я, — когда же у нас научатся хоть в мелочах брать ответственность на себя!»

Дежурный по училищу молчал в трубку ровно столько, сколько потребовалось ему, чтоб взвалить ответственность на себя, потом он, сгибаясь под ее тяжестью, сдавленным голосом сообщил мне, что училище в боевой готовности и пропустить он меня не может. Пока он молчал, я уже принял решение: в нашем древнем заборе столько разных дыр, что при желании можно было бы, наверное, прошить его насквозь, а о том, что «они» пребывают в «боевой готовности», я и без них догадался: в кустах я заметил передвижную радиостанцию.

Ну что ж! Через пять минут я, не утруждая себя поисками дыры, запросто перелез через стену. Помнится, был у нас в училище адмирал, по приказанию которого все заборы сверху изгадили мазутом. По мнению этого флотоводца, это должно было отучить нас от походов за «рубежи». Даже облавы устраивались: строились роты, и всем приказывали показать ладони, на ладонях искали мазут; мазут — всегда мягкий, липкий, всегда горячий; мало того, что темного цвета, он отлично нагревается на солнце; он еще и окисляется, оттого-то он теплый всегда, даже мягкой южной зимой, — очень удобная штука, для того чтоб метить заборы. Прежде чем перелезть, я внимательно осмотрел забор — как бы не вляпаться: про адмирала давно забыли, а вот мазут кое-где еще остался.

Летом в училище пусто: курсанты частью на практике, частью в отпуске, остатки приведены в «боевую готовность» — где они сидят, один Бог знает. В училище что-то изменилось: здания осели, раздались, все это в зримых, осязаемых формах; переключились на спортивной площадке ушли в мягкий асфальт, раньше я мог достать до них, только подпрыгнув изо всех сил, теперь — запросто подошел и взял рукой; молодые деревья подросли, а старые, за артавильоном, срубили, там росли корабельные сосны, и солнце протыкало воздух до самой земли, а земля была устлана чуть подопревшей хвоей, а высоко над головой шумели вершины, и в воздухе носились фитонциды, парочки молекул которых вполне достаточно для ощущения свежести, — теперь здесь одни пины — что-то будут строить — все перерыто, и я вспоминаю, что в нормальном флотском организме, а училище — организм, должно быть все перерыто; кучи мусора лежат не там, где всегда, каждый новый начальник своим устным приказанием переносит эти кучи с места на место, и по смене местоположения куч — местоположения мест — можно отследить смену руководства; рубку дежурного по факультету закрыли — теперь там склад, и большего оскорбления для рубки дежурного, по-моему, не придумать; люди бродят везде незнакомые; предметы и вещи — чужие, непринимаящие, может быть, поэтому я и ощущаю себя здесь чужим?.. Я оторвал листик оливы и пожевал: рот наполнился горечью. Она не такая, как я ожидал, может быть, я просто отвык?

Побродив по училищу, я натолкнулся на Мурика, обнялись, поговорили, сходили в бассейн, и Мурик проводил меня до забора.

Нет-нет-нет, нечто есть в этом городе, что кроме муриковских рассказов о сумгаитских ужасах заставляет искать приметы так внятно ощущаемой тревоги; что-то неуловимое носится в воздухе, временами попадает на глаза, но прежде чем ты успеваешь ухватить, понять, оно исчезает навсегда. Какие-то приметы огромной, всеобщей обиды. Эти приметы единичны, повторяемы и в силу этого постоянны. Они ускользают, они так похожи на мысли, которые тоже появляются и исчезают. Я начал запово всматриваться в город, когда ехал в автобусе в центр; я хотел попасть на бульвар и к Дому правительства. Там, перед этим Домом, после

сумгаитских событий митинговали, жгли костры, на которые пустили многолетние деревья с бульвара, и тысячи скандировали: «Карабах! Карабах!» Восточная толпа более всего напоминает колонию насекомых; так же как и насекомые, она имеет свой суммарный разум, тут нет одиночек, тут организм, способный аккумулировать обиду, раздражение, наконец — злобу; решение на действие созревает в толпе медленно, толпа переливается, лоснится, растекается, отростки ее вбираются внутрь, тело густеет, сжимается — совсем как амеба от крупинок соли, толпа созревает, и для ускорения этого созревания то в одном месте ее, то в другом будут вспыхивать вопли, выкрики, призывы, которые ускоряют все дело, словно катализаторы.

От Зыха до центра автобус идет через «черный город» — там старые нефтеперерабатывающие заводы, и воздух основательно оснащен памятной с детства, физически царапающей носоглотку вошью. Здесь водятся люди. Вернее сказать, водились — сейчас на улицах как-то очень пустынно. Люди здесь водились: рождались-жили-умирали и еще к тому же работали на заводах. Люди с серыми лицами. Земля в пятнах прогорклого мазута, деревья — жалкие, чахлые, пыльные уроды, дома — черные, низкие, безглазые, не потому, что нет окон, а потому, что стекла залеплены серой грязью. Недавно закрыли кислотный завод, и дышится легче, раньше кислота летала по воздуху, и люди в автобусах кашляли.

В «черном городе» есть парк имени Низами, «кислородная подушка» здешних мест, с вековыми акациями, увитыми лианами, с щебетом птиц, с качелями, с танцплощадкой, с агробистанцией. Все это давно заброшено, но по инерции все это еще растет и цветет. Парк Низами — место грандиозных драк, район на район, когда дрались просто так, с дикостью, со слепой яростью, велосипедными цепями, палками, легко раскраивающими черепа. Где-то я читал, что загаженность воздуха делает человека чудовищем. Может быть, и так, этого здесь хоть отбавляй, и агрессивность «черного города» ко всему живому чувствовалась всегда: здесь даже голуби дрались насмерть. Бог с ним.

Немноголодые — вот что поражает на улицах Баку. Людей очень мало: там, где раньше текли людские реки, теперь — ручейки, и люди одеты не так пестро, как

раньше, мало девушек и детей, люди не улыбаются. Еще одна примета: из метро исчезли нищие. Одно азербайджанское племя, презираемое самими азербайджанцами, живет исключительно подаянием: мужчины не просят, зато просят женщины, они расстилают на каменных плитах тряпки и раскладывают детей, у них очень ценится детское уродство — маленькие руки и ноги, все это тут же выставляется как хороший товар. Раньше они неплохо зарабатывали, сейчас их почти нет. Я видел только однажды нищенку в метро, видел, как к ней подбежала молодая азербайджанка и стала ей говорить, что азербайджанскому народу стыдно просить подаяние. Та испуганно собирала вещи, в другое время она бы огрызнулась или, в лучшем случае, пропустила все мимо ушей. Сейчас боится, новая жизнь.

А вот на бульваре все по-прежнему: те же цветы, то же солнце, морская гладь, эстакада, уходящая в море метров на сто, тот же запах кочующего на волнах мазута. Следы разрушений, которые принесли городу зимние митинги, уже скрыты; взамен спиленных деревьев посажены новые.

Если идти вверх по улице, оставляя справа Сабуничинский вокзал, то скоро попадешь в район, населенный армянами: улицы Камо, 1-я и 2-я Кандапирская. Когда-то я здесь родился в четырехэтажном доме-крепости. Сейчас здесь много безжизненных окон. Арменикенд — «армянская деревня» — так называется этот район: двух-, четырех-, пятиэтажные дома-квадраты, с высоко поднятыми над землей окнами первых этажей, с окнами узкими, с глубокими подоконниками, с решетками на окнах — настоящих бойницах; дома из тяжелого камня с двориками в середине, с огромными, тяжелыми железными воротами, запирающими дворы наглухо, — настоящие крепости. Кроме домов-крепостей здесь немало и «самостройка» — это местный бидонвиль. Когда-то до двадцати тысяч человек жило в Баку в этом прибежище. Люди не хотели ждать светлеющего день ото дня светлого будущего, они захватывали землю, складывали из кирпича одноэтажные домики, окружали их каменным забором, подводили воду, газ, свет и сажали во внутренних двориках инжир и виноград. Светло-рыжая глина очень плодородна, только поливай — и вырастет сказочный урожай персиков, винограда, граната, инжира, абрикосов. Только поливай.

А воды нет. Даже для питья. Особенно летом. Но во дворе можно вырыть колодец, вода будет немного солоноватой, но ничего, жить можно.

Арменикенд. Сразу же после Сумгаита здесь ожидали нападения. Надежд на милицию было мало, и на защиту домов-крепостей встала самооборона. Пытались атаковать лишь однажды — голые до пояса, крепкие, как кегли, молодые люди с бритыми головами, вооруженные ножами и ружьями, под зелеными знаменами пророка. Они собрались, сбились в кучу, и куча, опьяненная водкой и анашой, визжа по-звериному, двинулась на притихшие армянские дома. Навстречу им вышли обороняющиеся. Загремели выстрелы, зацелкали пули, анаша, вскипев вместе с водкой, мгновенно испарилась из бритых голов, и погромщики бросились врассыпную.

В январе выстрелы загремят здесь снова. Многие к тому времени уже уедут — обороняющихся будет мало, а нападающих — много, и пойдет гулять по дворам-крепостям, визжа на одной высокой ноте, скверная гостья — резня. Резать будут спокойно и основательно, не забывая при этом насиловать.

На Востоке долгов процесс превращения в мужчину. Здесь подолгу живут семейными кланами, где все решает глава семьи — отец; «папа сказал», «папа решил», «папа дал деньги», «папа женил», «папа выбрал мужа» — все решает папа; жизнь не инициирована, эти люди взрослеют с так и не осуществленным личным выбором, поэтому здесь так навязчиво часты разговоры о мужском достоинстве: «киши сян» — «ты мужчина» — лучшая похвала, «сян киши доильсян» — «ты не мужчина» — худшее оскорбление, отсюда постоянные поиски в себе мужского начала, отсюда — высокая аттрактивность, и даже если этот вечный юноша кидается на нож, в подогретом состоянии, на глазах у товарищей, — происходит почти по-детски реализация мужского выбора, выбора неинтеллектуального, но витального: ты якобы готов мужественно умереть, презирая смерть. (А если готов умереть, значит, готов и убить.) Правда, когда собственная смерть подступает вплотную, включаются совсем другие механизмы, но смерть беззащитной жертвы, но безнаказанность при этом — от этого раздуваются ноздри и дышится так шумно.

Здесь у человека нет внутренней жизни, здесь мало кто читает книги, нет как бы внутреннего чтения и в силу этого — внутреннего языка, а значит, здесь никто в европейском смысле не думает, нет мысли, а там, где нет мысли, есть много эмоций, непередаваемых на язык слов, а физическое упрямство вполне сходит за душевную стойкость.

Культе женщины на Востоке тоже есть, это культ матери; матери, но не жены. Молодые девочки, пришедшие в чужую семью, тут же становятся рабынями: их презирают, ими помыкают. Когда девочка-жена рождает, становится матерью, это не добавляет ей уважения: те, кто будут ее уважать, еще очень малы. Женщина становится культовым существом тогда, когда ее сыновья достигнут совершеннолетия. К этому времени и отец начинает относиться к ней с почтением, к этому времени он уже полностью реализован в семье как отец: произошла смена поколений. Правда, «папа» всегда готов одним взглядом привести «маму» в трепет. В автобусах старые азербайджанки, закутанные в жару в черные шелковые платки, резво вскакивают, чтоб уступить место старику в бараньей шапке. Это делается инстинктивно. Здесь живут инстинктами.

От долгого хождения по размякшему асфальту захотелось к морю, и я поехал на пляж. Я попал на пляж под вечер. Доехал, как обычно, до станции метро имени товарища Азизбекова, а там автобусами можно добраться в Пиршаги, Мардакьяны, Бузовны, Бильгя — выбирай. Пляжи дикие и полудикие. На солнце — 50°C, вода — 28°C, лежать и загорать — Боже сохрани, покроешься волдырями, выскочил из воды — сразу под навес, пока бежишь — темнеешь. Каспийское море. Я родился рядом с ним, и поэтому оно кажется мне одним из самых лучших наших морей.

Я люблю плавать и могу это делать по несколько часов подряд, и однажды, еще в училище, поплыл с мыса Султан до острова Нарген, что на входе в бакинскую бухту. У поворотной вешки — на нее ориентируются корабли — я обернулся и посмотрел на город, раскинувшийся как бы по краям чаши. Он неожиданно красив со стороны моря, жаль, что утони я сейчас, он все равно будет таким же красивым и все же равнодушным. У пловца, когда он в море несколько часов подряд,

иногда начинаются видения, и его собственные мысли обретают новую реальность, становятся зримыми, осязаемыми, и в этом состоянии уже невозможно отличить, где явь, а где бред, и человек, в сущности, не замечает, как тонет. Это вяжущее, засасывающее чувство усталости, когда хочется полежать на волнах, увидеть подрагивание своего воображения, и я знаю, как пужно из него выходить; для этого пужно твердить самому себе: «У меня еще много сил, у меня еще очень много сил» — и плыть, плыть вперед. Только бы не судорога: дикая боль идет от икр вверх, в один миг ударяет в голову, и кажется, что в мозг впиваются тысячи иголок, и ты начинаешь барахтаться так, будто никогда до этого не умел плавать. Ноги тонут сразу, а ты еще на поверхности взбиваешь пену. Бесплезно, свернувшись в воде в клубок, растирать деревянные ноги, бесплезно колоть их булавкой, даже если она у тебя имеется: она долго не входит в мышцу, а когда входит, судорога отпускает только на мгновение. Правда, средство есть: надо, насколько это возможно, забыть о боли и плыть на одних руках, вот только губы, искаженные гримасой, с трудом смыкаются, в рот попадает вода, а воздух болезненным комком где-то за грудиной проталкивается в легкие. Выдержишь — доплывешь.

А есть еще то, что среди пловцов именуется, пожалуй, слишком романтично «зовом бездны», это когда через какое-то время далеко от берега начинаешь ощущать море как живое существо, и ты будто ползешь по его телу — жалким микробом, а потом начинаешь чувствовать глубину сотен метров, представляешь себе, как долго можно опускаться до дна. Плынешь и всматриваешься в воду под собой, в зеленоватое отчужденное пространство, и холодок подползает под сердце: этот холодок под сердцем, дрожащий, слабенький, мерзкий, рожденный замиранием какой-то единственной внутренней точки, растекающийся, расползающийся по телу, с каждым вдохом все более заполняющий все закоулки до явственного ощущения омерзительной полноты, — это и есть тот самый «зов»; а еще боишься, что кто-то подплывет или всплывет какая-то рыба огромная, что-то детское есть во всем этом. Для себя я давно решил: лучше плыть и ни о чем не думать, рыбам не до тебя, акул в Каспии нет, а тюлени сами тебя до смерти боятся. Однажды рядом со мной всплыл

толененок, он так напугался, что выдохнул «Уф!», толкнул воду лапами, нырнул и исчез — это было далеко от берега, и когда я вылез из воды, меня обступили возбужденные аборигены. «Ты видел! да? — кричали они. — Тюлень!» — «Видел», — говорил я. «Он маленький, далеко уплыл, давай поймаем!» — «А зачем?» — «Убьем!» — «Зачем?» — «Надо убить!» — «Зачем?» Мы друг друга не понимали: я не понимал, зачем надо убивать (вернее, делал вид, что не понимаю), а они не понимали, как можно не убить, если можно убить. В этом их желании поймать и убить есть что-то от детского: поймать, оторвать голову, посмотреть, что внутри, выбросить. Здесь не любят животных, в азербайджанских домах вы не встретите собак, кошек и прочую живность. Милое слово «собака» — здесь одно из самых бранных восточных ругательств. Бродячую собаку мальчишки будут с азартом преследовать и бить камнями и палками. Взрослые на страдания животного смотрят равнодушно и уж совершенно спокойно режут корову и барана.

Жена позвонила из Ленинграда:

— Ну как там? Спокойно? Правда? Танки на улицах есть?

Я сказал, что танков не видел, а вот патрули имеются: два милиционера — два солдата, все с дубинками; пляжи тоже охраняются; солдаты раздеты до плавок, ходят по двое. Я их отличаю сразу: ходят по маршруту, в воду не лезут, дистанция сто метров.

Армия патрулирует, а армян быют. В их же собственных дворах. Нападения единичны. Их следует ожидать между 21-м и 23-мя часами. Почему именно в эти часы? Потому что в остальное время просто жарко и все скрываются в домах, а вечером выходят посидеть на лавочку перед домом, подышать. Нападающие появляются небольшой шайкой. Хорошо одеты, высокие, сильные. Нападающие не ошибаются: во дворах всегда есть наводчики. Быют мужчины. Удар наносится сзади, по голове, чаще палкой, потом следует торопливое, остревелое избиение ногами упавшего человека, и нападающие исчезают, их всегда ждет машина.

— Так, значит, все-таки едешь?

— Поеду.

— Э-э-э... нехорошо там. По дороге турки вагоны бьют.

— Но ведь там же сейчас в основном азербайджанцы едут.

— А какая им разница?

Тесть и теща у меня армяне. Во время сумгаитских событий они неделю не выходили из дома. Хлеб им приносили соседи. Армянам в Баку хлеб не продавали или продавали, предварительно на него плюнув. В январе и русским будут торжественно плевать на хлеб. Многие русские уезжали еще с лета.

— Мы во вторую очередь пойдём, — говорили они армянам, — сначала вас выгонят, потом за нас примутся. Бить не бьют, но скоро начнется.

Когда-то вечерний Баку был очень красив. Особенно летними вечерами. Было что-то праздничное в его петоропливом вечернем увядании — этаким арабский праздник прохлады; днем город плывет в мареве, а вечером все оживает, люди идут по бульвару, улыбки-фонтари-фонтаны... Так, во всяком случае, было. Сейчас Баку очень торопится: прохожие огни, машины — все это движется в ускоренном темпе, и кажется, все это движение в любой момент готово к резкому изменению своего направления. Люди более всего напоминают овчарок: при встрече они скидывают голову и какое-то время внимательно рассматривают подходящего.

Вокзал — суетлив, горяч, бестолков и благоухает вонью; как всегда, неизвестно, с какого пути отправляется поезд, как всегда, выясняется, что он уже десять минут стоит перед тобой, но нигде не обозначено, что именно он отправится до Кафана.

— Ничего, ничего, — говорят посылщики, — садитесь, этот пойдет.

В кафанском поезде собраны самые плохие вагоны: они разбиты, без стекол, в купе — запах устоявшейся кислятины человеческих лежек, в туалетах — дикие, разбитые корыта унитазов. Мухи, по-моему, кочуют из Баку в Кафан и обратно и чудесно размножаются по дороге. На верхней полке я нашел хорошо сохранившийся скелет курицы. Скелет полетел в окно. Поедем с открытым окном, от духоты и зловония за 16 часов можно околоть. До отправления минут двадцать, а вагон все еще пуст. Интересно, идет ли именно он до Ка-

фапа, или я сел не туда? Я прошелся по вагону и в одном купе обнаружил пассажирок — это армянки: видно по светлым волосам, по одежде и по тому, что они говорят на русском языке, азербайджанки говорили бы по-азербайджански. Армянки пугаются моего неожиданного появления и успокаиваются, как только я заговариваю по-русски. Они сообщают мне, что точно — этот поезд идет до Кафана. Я возвращаюсь к себе и усаживаюсь у окна. Раньше этот состав был битком набит армянами и азербайджанцами. Сейчас и те, и другие ездят только по острой необходимости. Хорошо бы, чтоб в моем купе вообще никто не ехал. За десять минут до отхода поезда появляются мои попутчики — трое азербайджанцев.

Я сидел у окна и наблюдал за ними: двое — толстые, шумные, потные, в тесных костюмах и галстуках, не смотря на жару, один лысый, другой с волосами, третий — худенький, небритый, похожий на студента. Все говорят на азербайджанском языке, и говорят они на нем с какой-то первой гордостью, радостно и торопливо кивая при ответах. Увидев, что я не понимаю, спросили по-русски:

— Извините, а вы кто по национальности?

После этого все трое разом застыли, и тут я понял, что вся эта их радость должна была просто скрыть напряжение, теперь уже разлившееся по купе.

— Русский, — ответил я с усилием. Оказывается, очень трудно говорить, когда собеседник так напряжен.

С этого момента всякий разговор с новым человеком на пути между Баку и Кафаном будет начинаться с этого вопроса. То, что я замешкался с ответом, от них не укрылось; услышав, что я русский, они выдерживают паузу, склонив голову набок, словно проверяют звучание фразы.

— А зачем вы туда едете? В командировку?

— В отпуск.

Напряжение не спадает. На меня смотрят с нескрываемым интересом, с сомнением переглядываясь. В этом переглядывании есть нерешительность, но это нерешительность перед нападением.

— У вас там родственники?

— Друзья.

Пауза, пауза...

— Ваши друзья — армяне?..

— Да.

Напряжение, кажется, достигло своего пика. Я заметил, что во время напряжения шея у вопрошающего становится чуть-чуть толще. Наконец лысый спрашивает:

— А сами вы, извините, откуда будете?

— Из Ленинграда.

— А как вы относитесь к тому, что сейчас происходит в НКО?

— ...

— А кем?

— ...

Тут они не выдерживают и начинают сразу все:

— ...армяне ...Они всех купили на свои деньги! Вот вас в Баку кто-нибудь тронул?

— ...

— ...и не тронет! Вот в соседнем купе едут женщины-армянки, и их никто не трогает, а если б азербайджанские женщины ехали в Армении, их бы выбросили из вагона. В Ереване уже ни одного азербайджанца не осталось, а в Баку сколько армян живет, и их не трогают и не тронут.

— ...

— Нет! Просто мы — мирный народ! Мы не армяне! Они — не мирные люди! Вы знаете, мы же с ними родственники! Да, многие породнились, а теперь мы к ним не ходим.

— ...

— А кем вы работаете?

— ...

— Они резали наших детей! Уши резали, нос, голову! Знаете, в Карабахе после землетрясения французы-спасатели нашли трубу, заваренную с двух сторон, разрезали ее, а там азербайджанские дети! Французы увидели это и сразу уехали, не стали им помогать.

— ...

— ...э-э-э ...эти армяне всех купили. У них, знаете, сколько денег? Мешки! Сейчас в НКО забастовки, никто не работает, а деньги все получают. Откуда у них деньги? Вы знаете, и в Сумгаите всё делали армяне.

— ?..

— Да-да, они ходили и резали армян. Один армянин зарезал четырех человек. Знаете, какие они жестокие?

Как фашисты! А наши даже прятали армян под кроватями.

— Ты знаешь, — говорит тот худенький, небритый, может быть студент, переходя в запале на «ты», — их три миллиона, а нас — семь! Мы, весь парод как один, встанем и пойдем и умрем за нашу землю! Как один человек, — говорит он и поднимает вверх руку со сжатым сухопьющим кулачком, и глаза его горят, и мне вспоминаются те, лысые, голые по пояс, крепкие, как кегли, которые штурмовали с пеной на губах армянские кварталы.

Поезд отошел в полночь, говорили мы до трех, а потом они выяснили, что у меня жена — армянка, и замолчали, сказав перед этим что-то друг другу. Они смотрели в пол и улыбались, словно сожалели о потраченном на меня времени, качали головами и говорили: «Нет-нет, ничего, не бойся», — а я говорил, что не боюсь. «У нас есть азербайджанская пословица, — сказали они, — кто твоя жена по национальности, такой ты человек и есть. Нет, нет, ничего, не бойся».

Мы легли спать. Окно в купе оставалось открытым, и, прежде чем заснуть, я успел подумать: «Сейчас завернут тебя, Саия, в одеяльце и выкинут в окошко, и никто тебя в этой степи не найдет». А мимо окна с грохотом летела ночная степь, черная степь без огней, тело мое моталось на узенькой полке, а в голову лезло: «Завтра будет утро, утро будет завтра...»

Утром я проснулся чуть позже моих ночных собеседников. Я открыл глаза и увидел, что эти милые люди, так любезно оставившие меня в живых, уже вертикальны, выглядели они пожеванно и хмуро, на меня — никакого внимания, я перестал их интересоваться, переговаривались они вяло, односложно.

Прощались мы вполне мирно, с шутками:

— Передай привет своим друзьям-армянам.

— Обязательно передам.

Я спросил, где они работают. Двое оказались работниками обкома, а третий, тот худенький и небритый, собиравшийся еще вчера идти всем народом, оказался служителем муз — выпускником института культуры.

Дальше в купе я поехал один. За окном бежала серая холмистая пустыня с клубками колочек; иногда проскакивали деревья, каналы, канавы, низкие домиш-

ки, запутавшиеся в зелени, загаженные станции, гуси, лошади, отары овец и виноградники — все это быстро продергивалось мимо скачущей лептой и надолго замечалось все той же клочковатой пустышей. Равнинный Азербайджан — богатейшая земля, лежащая в беспорядочном хламе, — моя родина.

Состав снижает скорость и медленно ползет вдоль заграждений. Это граница с Ираном. С нашей стороны — два ряда колючей проволоки на столбах с сигнализацией и пограничные заставы, со стороны Ирана — та же голая равнина без признаков жизни и лишь где-то на горизонте встают холмы; на одном из них белыми камнями выложен портрет Хомейни. Он смотрит в нашу сторону. Ни пограничников, ни заграждений. «Тах-тили-тах, тах-тили-тах», — стучат колеса, и меня бьет о стенку вагона. Пути так изношены, что кажется, что поезд когда-нибудь с них соскользнет, как бусинка с палочки, — как здесь до сих пор не было крушений?

На одной из станций выяснилось, что от Мицживана в Кафан пойдут только четыре вагона: пассажиров нет, так какой смысл гонять пустые вагоны? Смисла никакого нет, мне пришлось срочно перебираться в соседний вагон, я помог перетащить вещи женщинам-армянкам из соседнего купе. Чего только у них не было: ящики, ящички, посуда, зеркала, стекла, рамы, карпизы, узлы, коробки — все, что осталось от нажитого. Вот зеркало, старое зеркало, посмотрите, какое хорошее, как бросить, жалко, всю жизнь жили в Арменикенде, знаете, там наверху, э-э... дом был, двор был, виноград был, всё бросили, а что делать, завтра придут — убьют. А здесь она купила маленький дом, курочки есть, огород, приходите в гости обязательно.

Армянки оживают — в вагоне только свои, улыбаются, разглаживают лица ладонями, скоро конец их мучениям, скоро их встретят мужья. Мужчины боятся ездить по дороге Баку—Кафан, могут убить, поэтому весь скарб перевозят женщины, немолодые, сухопюккие женщины. Когда они тащат на себе узлы, на их худых, цыплячьих шеях вылезают все жилы, а мужчины боятся ездить: могут убить.

Потом они рассказывали про Сумгаит, про нападение на роддом, как младенцев выкидывали в окна, разрывали, отрезали им головы. Все это рассказывается

быстро, почти скороговоркой, переходя с русского на армянский, и я уже половину не слышу, опять нарастает этот ужас, страх, Господи, как от него уйти? Я покрываюсь гусиной кожей, мне просто холодно, холодно, трясет. Очень хочется, чтоб они замолчали. Конечно, они не очевидцы и рассказывают только с чужих слов, но когда они это говорят, я верю сразу, и у меня глаза начинают вылезать из орбит. Господи, ад не под землей, он на земле, а люди — чудовища.

В купе входит мужчина. Он садится, долго слушает — толстый, старый, с большим животом, с большой головой. Он включается в разговор и говорит, что во всех армянских поселках готовили такую же резню, как и в Сумгаите, но здесь армяне были готовы — ждали их. А они пронохали и не пришли. Трусы. Могут резать только женщин и детей, да и то, когда десять на одного. Нет, их тоже надо было резать: здесь в Кафане и в Ереване. Когда они почувствуют силу, резня прекратится, а если их сейчас не порезать, то они еще сделают резню. Надо показать силу. Когда они почувствуют силу, резня прекратится.

Я ловил себя на том, что то, что он говорит об ответной резне, мало меня возмущает. Скорее всего, я просто устал от дороги, от всех этих разговоров, от ненависти. В какой-то момент я перестаю его слушать, я начинаю наблюдать за его лицом, за его влажным ртом; у него движется только рот, а в остальном он неподвижен: неподвижны глаза, руки, сложенные на бедрах, неподвижно тело — этакая гора мяса и сала. Я замечаю, что он небрит и как-то очень волосат, что волосы растут у него даже на лбу, под глазами, на пальцах рук, торчат из ушей, поздрей, бровей. Какое-то время он еще говорит и говорит про резню и про то, как было бы хорошо, если бы армяне тоже... потом он замолкает и молчит, потом, неожиданно вздрагивая, вздыхает — длинно, тихо, как-то неожиданно тихо для такого большого тела. Женщины тоже молчат. Все устали.

Когда поезд подходит к Кафану, все снова оживают, на лицах сразу улыбки, все хватают сразу узлы и тащат их к выходу, говор, лучезарность, руки, вцепившиеся в узлы и чемоданы, прощание, пожелания всего хорошего, например здоровья; поезд останавливается, дернувшись напоследок, и говорящая людская колбаса

выдавливается к выходу, чтоб исчезнуть в двери и из моей жизни навсегда.

Кафан. Маленький, пустынный вокзальчик с буфетом — туалетом — залом ожидания. Когда-то здесь было оживленно, сейчас — пусто. Кафанские азербайджанцы уезжали отсюда огромными семьями, от мала до велика, с такими же узлами и зеркалами, с какими армяне уезжали из Баку, — перевозка рухляди с места на место. Что может быть нелепее этих узлов и чемоданов, старых, облезлых, когда люди, бросив все, едут в никуда, когда рушится мир, когда в душе стариков поселяется ноющая пустота, а в душе молодых — злоба, но они цепляются за эти свои кастрюли — последние осколки прошлого, они прижимают их к себе, как бы защищаясь этими осколками от зияния будущего.

— Зачем живет такой народ!

Говорящий, армянин-буфетчик, вскидывает руку знакомым жестом, ладонью вперед, он только что отказался продавать минеральную воду двум азербайджанцам, случайно зашедшим в буфет перед отходом бакинского поезда, и теперь ораторствует:

— Ненавижу этих турков! Ненавижу! Зачем живет такой народ! Зачем? Грязные, пятнадцать детей имеют. Это наша земля! Разве Азербайджан раньше был? Они, турки, тупые, только улицы могут подметать. Надо взять один раз атомную бомбу и всех убить! Наши ученые ее уже делают. Да! Делают!

Произнесено по-русски и специально для меня. Полная безграмотность при уважительном и даже трепетном, со счастливым сияньем, отношении к своим ученым — академикам, выдающимся армянам, которые в конце концов изобретут бомбу и ахнут ее с улыбкой облегчения на проклятый Азербайджан из последних сил.

Я не стал ничего ему говорить ни об известных истинах, ни о том, что не он дал жизнь азербайджанскому народу и не ему ее отнимать. Разговоры бесполезны. Я видел, что все его лицо от лба до подбородка при одном только упоминании о «турках» обрастает, как щетиной, яростным презрением, губы топорщатся, обнажая крупные зубы, отлакированные слюной.

В Каджаране мне показали сожженный сарай. В нем заживо сожгли корову с теленком. Владелец ее был азербайджанцем, он был женат на русской. Ко-

рову сожгли ночью, она ужасно мычала. «Как плакала», — говорила мне тетя Тамара. Азербайджанец взял жену и уехал на следующий день. Детей у них не было. Дверь квартиры он оставил открытой настежь. Из вещей он ничего не взял.

После сумгаитских событий кафанские армяне со всего города толпой охватили и выдавили семьи азербайджанцев на вокзал, где эти семьи жили потом по нескольку суток, дожидаясь своей очереди на поезд. Армяне стояли плотной стеной, играл оркестр, и ни один азербайджанец не мог покинуть пределов вокзала. Уезжая, азербайджанцы продавали армянам-соседям за бесценок своих коров, баранов, кур, гусей, кровати, мелкую утварь, свои дома и огороды — за бесценок, а где-то и просто так: только возьмите, не пропадать же коровам. Ослов выпустили на волю, армянам они не нужны. Зимой эти животные погибнут от бескормицы и мороза, сейчас они ходят на выпас сами, возвращаются по привычке в брошенные дворы, роются в мусоре.

Я заходил в один такой азербайджанский двор; армяне, приехавшие из Баку, их не занимают: городской житель не знает, что ему делать с землей. Во дворе колодец, дрова, забытые алюминиевые миски, брошенные старые одеяла и щемящая тоска. Из Кафана уезжали дворники, мусорщики, рабочие-шахтеры, феллахи, продававшие самые дешевые овощи и фрукты, из Баку уехали каменщики, врачи, инженеры, учителя, портные и ювелиры. Эти людские потоки перетекли из государства в государство, чтоб осесть в них и никогда больше не восстановиться в своем прежнем качестве.

Кафан, маленький, вытянутый городок, копошащийся у горных подножий, с аллеями, клумбами, фонтанами, с многоэтажными домами-дебилами, этакими морскими губками из розового туфа, присосавшимися к розовым скалам; Кафан, торгующий на базаре, неуступчивый, упрямый в ценах, продающий-покупающий, глубоко восточный, без примеси христианства городок, с мусульманскими повадками-ухватками, ленью, с больницами-магазинами, до боли похожими на лобые больницы-магазины из предместьев Баку; Кафан, разлапистый, небритый по утрам, пахнувший свежеснятыми с ноги туфлями, сидящий целыми днями у дороги на

корточках, дурно одетый, посящий в жару пиджаки, но посящий их так, что в наклоне полы пиджака задираются, рубашка выдергивается из штанов, обнаруживая кусок голой поясницы: Кафан, не читающий книг, не думающий, живущий суммарной жизнью, напоминающей бытие растений; Кафан, убожество которого глядит изо всех щелей.

В центре Кафана, у пересечения всех дорог, на каменном стержне вознесен и посажен каменный памятник Давид-беку на лошади — знаменитому армянскому царю, воевавшему с турками. Лошадь и Давид-бек распластались по воздуху. Давид-бек увековечен в кирзовых сапогах, и лошадь у него выглядит очень натурально. Я шагнул под памятник, вскинул голову и посмотрел на это произведение со стороны копыт. Лошадиные гениталии были изображены с большим мастерством: умело включенные в композиционное единство, они более всего напоминали пулемет «максим», выкатившийся из пулеметного гнезда. Вот я и в горах. Кавказские горы, сверху напоминающие брошенную наземь медвежью шкуру, слишком огромную для того маленького пространства, что ей отведено, а потому бугрящуюся хребтами, ограниченную вытертыми, лысыми изломами, сбегаящую волнами холмов, с лоснящейся шерстью — плотными лесами, с проблескивающими среди ветвей ручейками, стекающими, как пот.

Душный, воняющий подмышками автобус за час дотащил меня от Кафана до Каджарана — махонького городишки, зажатого в складках гор, где рядом с пятиэтажными домами притулились сараи с живностью, где по голым горным склонам разбросаны огороды с цветущей картошкой, с ползущей вверх по частоколу фасолью лоби — любимой здешней едой, где по дорогам бродят коровы, ослы и телята, где отары овец запруживают улицу и движутся под окрики чабанов, под свирепые оскалы кавказских овчарок, где цветущий чабрец наполняет все твое существо сладким дурманом, где кизил, ежевика, орех словно наперегонки наползают на склоны, где, вдыхая воздух, хочется петь, где живет тетя Тамара, сестра моей тещи, с которой мы ходим собирать травы, и ее сыновья Марут и Мартун, которые называют меня братом.

Тетя Тамара любит все живое независимо от национальности, а с сыновьями тети Тамары на национальные темы я не говорил: хорошие, добрые люди, в стае они будут действовать по законам стаи.

Через три дня, набродившись с тетей Тамарой по горам, набрав охапками травы, я уже сидел в пустом вагоне вместе со старым шахтером-азербайджанцем, смотрел в окно и слушал его петоропливые жалобы. Он хорошо говорил по-русски. Люди не виноваты. Так получилось. Такая жизнь. Зачем я еду в Баку? Разве там моя родина? У человека родина там, где могила его матери. Кто теперь ходит на могилу? Кто ее поправит?

У этого шахтера серые, безжизненные глаза и огромные руки-совки. Он выглядит не человеком, а приспособлением к угольному комбайну: кажется, что он стоял рядом с ним и этими руками-совками подхватывал породу. Я угостил его чаем из чабреца, он оживился.

— Знаешь, какое это лекарство? Силу дает. Никакой таблетки не надо. Это пей — всегда будешь здоров. Сам собирал? Э-э, горы, горы, где теперь горы...

Вагон заполнялся пассажирами. Чем дальше от Армении, тем их становится больше. Я залез на верхнюю полку и лег там. Вечером я получал постель. Я заплатил за постель и за себя, и за старика-шахтера и отнес ее ему. Раньше на Востоке было так принято: поговорил с человеком — сделай ему приятное. Старик расчувствовался.

Впервые за эту поездку мне стало спокойно и хорошо*.

* Это повествование возникло из разговоров с моим другом.
— *Авт.*

Оглавление

О службе в двух словах	5
Материальная часть	73
Фонтанная часть	155
Минуя Делос	219
Потеря равновесия	245

Покровский, Александр
«...Расстрелять!» Часть вторая и прочие части:
Рассказы и повести. — СПб., ИНАПРЕСС, 2000.
— 288 с.

ISBN 5-87135-121-2

Без бурлескных рассказов Александра Покровского невозможно представить ландшафт современной словесности. Новое слово, новый юмор, новые ситуации...

Все это «проберет» не только бывалого волкодава-подводника, но и простого штатского персонажа, не потерявшего чуткость к извивам и чутье на закруты великого, могучего, соленого и прожженного родного языка.

Читая Покровского, мы плачем, радуясь, что еще живы, — и смеемся тому, что пока еще способны плакать по этому же поводу.

АЛЕКСАНДР
ПОКРОВСКИЙ
«...РАССТРЕЛЯТЬ!»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ И ПРОЧИЕ ЧАСТИ
Рассказы и повести

Сдано в набор 17.04.00. Подписано в печать 24.08.00.
Формат 84×108/32. Гарнитура «Балтика».
Печать высокая. Усл. печ. л. 15,12. Уч.-изд. л. 14,3.
Тираж 6000 экз. Заказ № 1635.

Издательство ООО ИНАПРЕСС.
СПб., Невский пр., 74,
e-mail: inapress@vicom.ru
ЛР № 062759 от 04.07.98.

Отпечатано с диапозитивов в ГПП «Печатный двор»
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

QUEENS BOROUGH PUBLIC LIBRARY



0 2284 4448364 5

Без бурлески
сказов Алекса
кровского невозможно
представить ландшафт со-
временной словесности.
Новое слово, новый юмор,
новые ситуации...

Все это «проберет» не
только бывалого волкода-
ва-подводника, но и про-
стого штатского персона-
жа, не потерявшего
чуткость к извивам и чу-
тье на закруты великого,
могучего, соленого и про-
жженного родного языка.

Читая Покровского,
мы плачем, радуясь, что
еще живы, — и смеемся
тому, что пока еще спо-
собны плакать по этому
же поводу.

ISBN 5-87135-121-2



9 785871 351215

LL
Lit. and Languages
89-11 Merrick Boulevard
Jamaica, NY 11432
(718) 990-0763

090104

